

А.И. КУПРИН





А. И. КУПРИН
Портрет работы художника
А. Яр-Кравченко

А. И. КУПРИН

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

~~12938~~
инв-3043



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Вступительная статья *И. В. Корецкой*

Подготовка текста и примечания *П. Л. Вечеславова*

А. И. КУПРИН

Критико-биографический очерк

Произведения А. И. Куприна, выдающегося писателя-реалиста XX века, крупного мастера русской прозы, пользуются признанием и любовью широких читательских масс в СССР и за рубежом.

Певец простого человека, Куприн выступал в условиях царской России с горячей и страстной защитой людей труда от гнета капитализма, от притеснений самодержавного строя. Заветы великой русской литературы с ее «...демократизмом... проповедью человечности... глубоким интересом к жизни народа... упорными поисками всеобщей, всеосвещающей правды» (Горький) плодотворно осваивались Куприным. Его стремление следовать традициям Л. Толстого и Чехова было особенно прогрессивным в дни засилья декадентства и «чистого искусства».

Творческий расцвет Куприна закономерно связан с эпохой 1905 года. Острота обличения порядков самодержавной России, критика буржуазии, изображение рабочих, их социального протеста, равно как и сила художественного дарования, выдвинули Куприна накануне первой русской революции в ряд лучших писателей критического реализма. В 1905 году он был одним из самых видных соратников Горького в лагере передовой литературы.

Любовь к своей стране и народу, столь ярко проявившаяся в ту пору, определила и конечный итог противоречивого пути Куприна. На склоне жизни писатель осознал великую правоту Октября и вернулся из эмиграции в Советский Союз. Искренний и честный художник, Куприн понял, что только в стране социализма человек, который «пришел в мир для свободы и счастья», по-настоящему счастлив и свободен.

Александр Иванович Куприн родился 26 августа (8 сентября) 1870 года в г. Наровчатке близ Пензы в семье мелкого чиновника. Рано оставшись без отца, он провел безрадостное «казенное» детство сперва во Вдовьем доме в Москве, где находилась его мать, затем в Разумовском благотворительном сиротском пансионе. Впоследствии в рассказах «Беглецы», «Река жизни», «Травка» Куприн вспоминал «поруганную» жизнь в приюте, «обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж», всеобщую «безличность и безгласность».

Десяти лет Куприн был отдан во 2-ю московскую военную гимназию, реорганизованную вскоре в кадетский корпус с суровым солдатским режимом и телесными наказаниями. Порывистый, горячий, непокорный мальчик, каким мы видим Куприна в автобиографической повести «Кадеты», много претерпел от жестоких корпусных порядков. С детства Куприн возненавидел насилие, стал чутким к чужому страданию.

Осуждением произвола и мечтой о свободе проникнуты первые стихотворения Куприна-кадета (1884—1887). Они показывают, что, несмотря на изоляцию от внешнего мира, неизбежную в условиях царской военной школы, Куприн знал о происходящих политических событиях и горячо сочувствовал освободительному движению. Накануне приговора по делу народовольцев, 14 апреля 1887 года, написаны «Сны», одно из самых взволнованных стихотворений юности Куприна; в нем он обличает «гнусное, страшное дело» казни и клеймит палачей. Политически заострена «Ода Каткову» (1886) — сатира на всесильного царского сатрапа, злейшего врага народной свободы.

Но в обстановке усиления реакции гражданственные мотивы в юношеской поэзии Куприна приобретают пессимистическую окраску. О павших борцах, о поверженных идеалах говорит он в большинстве стихотворений 80-х годов («Слезы бесплодные», «Песня скорби», «Новый год», «Три времени» и др.). Геронческий образ борца с врагами народными, который гибнет в неравной битве («Боец»), как бы олицетворяет для Куприна судьбу революционного народничества. Возможно, что стихотворение «Боец» написано в память народовольцев и, в частности, Д. В. Каракозова, с семьей которого Куприн общался летом 1886 года.

В 1888 году Куприн поступил в московское Александровское военное училище. Здесь он написал и анонимно опубликовал свой первый рассказ «Последний дебют» (1889). Этот рассказ о красоте и силе чувств простого человека предвосхитил тематику многих произведений Куприна.

После окончания училища, в августе 1890 года, Куприн в чине подпоручика был направлен в 46-й пехотный Днепровский полк, стоявший в Волочiske и Проскурове Подольской губернии. Будни захолустного городка, быт и нравы одичавшего заштатного офицерства, провинциальных мещан описал он впоследствии в рассказах «Дознание», «Поход», «Прапорщик армейский», «С улицы», «К слапе», «Полубог», в повести «Поединок» и во многих других произведениях.

Весной 1893 года Куприн едет в Петербург держать экзамен в Академию Генерального штаба. В академию он не попал, но за время пребывания в столице сумел установить литературные связи. С осени 1893 года Куприн начал печататься в журнале «Русское богатство».

Разноречивые тенденции раннего творчества Куприна проявились уже в произведениях 1893 года. В рассказе «Лунной ночью» молодой писатель с увлечением изображает «потемки души», изнанку человеческих чувств и поступков. Роковые страсти, самоубийства, преступления нагромождены в рассказе «Впотьмах».

Совсем иной характер носит написанный в том же году на основе личных впечатлений Куприна-армейца рассказ «Дознание» («Экзекуция»). Вместо скроенных по трафарету мелодраматических злодеев, персонажи «Дознания» — солдат-татарин, забитый и бессловесный; тупое, жестокое офицерство; честный интеллигент, колеблющийся между служебным долгом и сочувствием к угнетенному, взятый писателем непосредственно из жизни. В этом своем первом военном рассказе Куприн выступал против палочной дисциплины и притеснений малых народов в царской армии.

Рассказ «Дознание» свидетельствовал о вступлении Куприна на путь критического реализма. Однако на этом пути ему пришлось преодолеть воздействия декадентской и натуралистической литературы. В новеллах 1894—1897 годов — «Безумие», «Ужас», «Аль-Исса», «Каприз», «Наталья Давыдовна», «Святая любовь» (включенных в 1897 году в сборник «Миннатуря») — Куприн отдал дань характерным мотивам, образам и приемам упадочного искусства. Выявляя уродливое, патологическое в душевной жизни и поступках людей, подчеркивая беззащитность человека перед властью слепого случая, «роковых мгновений», рисуя его рабом инстинктов, изображая любовь как смертоносное наслаждение, а женщину как жестокое, хищное существо, молодой Куприн подражал отчасти поздним рассказам Мопассана («Орля», «Он?», «Денщик», «Кто знает?»), отчасти — произведениям русских и западных декадентов.

Влияния декадентской литературы были преодолены Куприным в процессе более широкого знакомства с жизнью родной страны, когда, уйдя из армии, писатель сам очутился в положении безра-

ботного бедняка. Густо населенный торговый и промышленный Киев, где Куприн поселился с осени 1894 года, поразила его кричащими социальными контрастами. Здесь он впервые увидел, как велика армия «детей свирепой нищеты». Работа газетного фельетониста прибавила к армейским впечатлениям новые наблюдения над жертвами жизни и над хищниками буржуазного мира. С 1894 года Куприн стал сотрудничать в киевской ежедневной печати, а затем в житомирских, одесских, ростовских, поволжских газетах. Фельетоны, судебная хроника, рассказы, передовые статьи, стихи, очерки, театральные рецензии — таков диапазон газетчика Куприна. Многие из этой пестрой продукции, нередко печатавшейся под псевдонимами, не учтено и затеряно, но дошедшее позволяет воссоздать направление газетной работы Куприна.

Ряд острых социальных зарисовок дан в цикле очерков «Киевские типы» (1895—1896). Представители «приличного общества» и киевские босяки — воры, попрошайки, мошенники-лжесвидетели, в изображении Куприна равно заражены жадной наживы, нетрудовой психологией, паразитизмом. Намечается в очерках критика мещанства, обывательщины («Квартирная хозяйка», «Певчий» и др.).

«Тупость ума, чувств и нервов мещанина», которому нужна «кровавая драма, сенсационный скандальный процесс, взаимная травля газет», который заполняет сомнительные «Эрмитажи» и «Мавритании», увлекается спиритизмом и неспособен воспринимать Пушкина и Толстого, разоблачает Куприн в фельетонах «Спиритические сеансы», «Загадочный смех», в заметках «Калейдоскопа». В рецензии на первую постановку в Киеве пьесы Толстого «Власть тьмы» Куприн отстаивает народность как основу подлинного искусства. В статье «Солнце поэзии русской» и в двух очерках о проведении пушкинского юбилея он противопоставляет казенным чествованиям Пушкина искреннюю любовь народа к великому поэту.

Большое место в фельетонах Куприна занимает критика местного киевского управления, где купцы-толстосумы заняты проектами о превращении «городского пустыря в Булонский лес», в то время как «окраины тонут в грязи и во мраке». О чем бы ни писал Куприн-фельетонист: о богоугодных заведениях, которые содержатся хуже, чем при гоголевском Землянике, об эксплуатации детей, о конке, — он, подобно Горькому — Иегудиилу Хланиде, всегда отстаивает интересы бедноты, обличает «хозяев».

Куприн не только горячо сострадает жертвам жизни (рассказы «Миллионер», «Чудесный доктор», «Пиратка» и др.), он показывает в «маленьком человеке» незаметные на первый взгляд высокие моральные качества — самоотверженность, благородство, человечность.

Мелкий чиновник Бурмин хлопочет об устройстве сада для детей бедняков. И хотя его больной ребенок умер, не увидев травы и солнца, Бурмин утешается тем, что его идея детского сада осуществилась (рассказ «Детский сад»). Изнуренные подземной каторгой шахтеры в рассказе «В недрах земли» сохраняют крепкую товарищескую спайку, проявляют героизм и самоотверженность. В столкновении с представителями «верхов» моральное превосходство оказывается на стороне маленького человека. Скромный художник смело противостоит меценату-самодуру (рассказ «Картина»), девушка-просительница гордо отклоняет наглое предложение сановного сластолюбца («Просительница»), обличает «благодетелей» жалкий нахлебник, в котором проснулось поруганное достоинство («Кушетка»). Конфликт бедняка с людьми светского общества отражен и в таких значительных произведениях раннего Куприна, как «Первый встречный» и «Прапорщик армейский» (1897).

Осуждение эксплуататорского порядка выражено средствами «эзопова языка» в сатирической сказке «Собачье счастье» (1896). И общее настроение социального оптимизма, и персонажи этой сказки (дог-анархист, благоразумный либерал-пудель, проповедующий покорность хозяевам, и противостоящий им дворовый пес, носитель активного протеста) сближают ее с горьковскими аллегориями.

Жизнь Куприна в 1895—1900 годы особенно разнообразна и пестра. Стремясь, по собственному выражению, «видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем», Куприн много колесит по России, охотно меняя профессию, образ жизни, окружение. Он служит в технической конторе в Москве, управляет имением в Ровенском уезде, работает в кузнечной мастерской на сталелитейном заводе в Донбассе, помогает псаломщику в сельской церкви, организует спортивное общество в Кневе. Терпя нужду и голод, он грузит тяжести с артелью носильщиков, играет в театре г. Сумы, участвует в землемерных работах в Рязанской губернии.

Наиболее интересной и плодотворной для молодого писателя оказалась поездка по Донецкому угольному бассейну весной 1896 года. Куприн осматривает железодельные и рельсопрокатные заводы, спускается в шахты, детально знакомится с технологией проката, с доменным и мартеновским делом. Интересуясь положением рабочих и стремясь приблизиться к заводской среде, он поступает кладовщиком на один из заводов Русско-бельгийского общества. Приехав в Донбасс с записной книжкой корреспондента киевских газет, Куприн увозит оттуда не только увлекательно и живо написанные очерки о южной промышленности («Юзовский завод»,

«В главной шахте», «Рельсопрокатный завод»), но и замысел большой повести. Это был «Молох», появившийся в декабрьской книге журнала «Русское богатство» за 1896 год.

В повести «Молох» Куприн выступил с гневным разоблачением бесчеловечной сущности капитализма, показал его острые противоречия, обнажил неприглядную изнанку буржуазного «процветания».

Куприн был в те годы первым, кто сумел создать типический образ самоновейшего капиталиста (роман Горького «Фома Гордеев» появился лишь в 1899 году), и одним из первых писателей, показавших коллективный протест рабочих хотя бы в форме стихийного бунта. В этом прежде всего и заключалось выдающееся значение «Молоха».

Повесть Куприна впервые в литературе тех лет отразила типические черты перехода капитализма в империалистическую стадию: появление заводов-гигантов с мощной техникой и многотысячными армиями рабочих, нашествие иностранных хищников, полонивших богатые русские недра, рост могущественных акционерных обществ и финансовых компаний, а также все усиливающаяся реакционность русской буржуазии. Проникнутая острой ненавистью к капитализму, повесть противостояла легально-марксистской идеализации буржуазного прогресса. Современный промышленный капитализм Куприн уподобил Молоху — кровавому божеству древности, требующему бесконечных человеческих жертв.

Судьба героя повести, молодого инженера Андрея Боброва, говорила о том, что в царстве Молоха нет места свободному труду, творчеству, личному счастью. Бобров не хочет быть участником капиталистической эксплуатации. С ужасом и болью видит он страдания рабочих, стыдится того, что вынужден служить буржуазии.

Человек тонкой душевной организации и слабой воли, у которого всякий факт произвола вызывает острое душевное страдание, Бобров близок героям «гаршинского» склада. Но Бобров выступает не против отвлеченного мирового зла, как герой «Красного цветка», борется не с «вечными язвами», как чеховский Васильев из посвященного Гаршину рассказа «Припадок», — он протестует против конкретных форм угнетения и обличает эксплуататоров.

Критика Бобровым капиталистического порядка, при котором «работа в рудниках, шахтах... и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть», заражала современников своей искренностью и страстностью. Но в объяснении причин социального зла герой Куприна беспомощен и слаб. Бобров

предвзято отрицает всякую индустрию, всякую механизацию и технику как враждебную человеку силу.

Олицетворением Молоха-капитализма становится для Боброва заводчик-миллионер Квашнин, глава акционерного общества. Капиталисты у Чехова или у Маммина-Сибиряка владеют одним «делом» — фабрикой, предприятием. Квашнин — представитель новейшей монополистической промышленности, в его руках — группа металлургических объединений с десятками тысяч рабочих и гигантскими прибылями. Матерый враг рабочих, Квашнин готов демагогически обещать им «алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день». Заигрывает он и с технической интеллигенцией. Но хотя Квашнин и говорит о всенародном благе и общечеловеческом прогрессе, он глубоко презирает трудовые массы и возвеличивает как «сверхчеловеков» лишь крупных капиталистических хищников, которых называет «солью земли». Ницшеанские речи Квашнина в честь промышленников и финансистов как «избранных нации» предвосхищают идеи горьковского Маякина. Приписывая буржуазии исторические заслуги, Квашнин и Маякин стремятся обосновать ее право на политическую власть.

Стремясь вызвать отвращение и ненависть к живому Молоху, Куприн сознательно преувеличивает, сгущает отвратительные черты его облика. Средством типизации здесь становится сатирический гротеск. Квашнин — «рыжее чудовище», не человек, а «грязный жирный мешок, битком набитый золотом», существо колоссальных размеров, с голосом, «как труба нерихонская». В сцене ночного пожара Боброву начинает казаться, что это едет не Квашнин, облитый красным дрожащим светом факелов, «а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество...» Атмосфера всемогущества, которой окружен Квашнин, чувствуется еще до его появления на заводе. Служащие железной дороги готовят ему прием, какого не удостоиваются «принцы крови», трепещет заводская администрация, ожидая грозного надсмотрщика; в глазах встречающих Бобров читает «тревожный страх дикаря, взирающего на своего идола». Подчинилась идолу и юная Нина Зиненко. Она соглашается на брак с прихвостнем Квашнина Свежевским, чтобы стать любовницей самого патрона. Бобров напрасно идеализировал Нину: воспитанная в мешанской среде, она без колебаний предпочитает его искреннему чувству миллионы Квашнина.

Сумбурный, болезненный протест Боброва, типичного «не героя», решившегося на единоборство с Молохом-Квашниным, быстро гаснет. В отличие от народников, считавших передового интеллигента единственной силой в борьбе с царящим злом, Куприн показывает

его банкротство перед лицом социальной опасности. Повесть завершилась сценой стихийного выступления рабочих. Молча движется к заводу огромная черная толпа, вооруженная камнями; словно исполинский костер, горит подожженный восставшими лесной склад. Вся картина нючных беспорядков напоминает те стихийные бунты, которые прокатились в Донбассе в начале 90-х годов и о которых Куприн мог слышать, объезжая заводы.

Горячо сочувствуя борьбе рабочих, Куприн не поднимается, однако, до осознания их грядущей победы. Восхищаясь трудовыми подвигами рабочих, он показывает их в «Молохе» как отсталую массу, способную лишь к стихийному бунту, а не к упорным классовым битвам.

Осуждая капитализм, уродующий людей физически и нравственно, Куприн не перестает мечтать о чистом, неиспорченном, гармоничном человеке. В «Молохе» ощутимо влияние толстовской критики капитализма; это влияние Толстого сказывается и в идеале «естественной» жизни. Своего положительного героя писатель ищет далеко за пределами буржуазно-собственнического мира. Обитатели глухих углов Полесья, птицеловы и охотники, вольные бродяги, чье существование слито с жизнью природы, становятся любимыми героями молодого Куприна. Вслед за «Молохом» Куприн пишет повесть «Олеся» (1898), в которой и воплощает впервые свой идеал «естественного человека».

Поэтический образ юной Олеси, безыскусственно прекрасной, как сама природа, привлекает своей цельностью. Выросшая в лесной глуши, она живет в мире народных сказок и поверий. Город с его непонятными чудесами ей чужд и страшен, и даже любовь к горожанину не может заставить ее расстаться с лесным привольем. Не только редкая и своеобразная красота привлекает в Олесе, но и вся непокорная, свободолюбивая натура. По сравнению с ее проникновенной, тонкой любовью чувство героя повести, городского интеллигента, выглядит эгоистичным и мелким.

Показывая преимущества «естественного состояния» перед убогой, тусклой жизнью людей буржуазной цивилизации, Куприн близок молодому Толстому, автору «Люцерна» и «Казakov», произведения, особенно любимого Куприным. Ему были дороги те темы, воплощение которых Толстой считал важной задачей художника: «...изобразить образцового человека — человека-дикаря, не тронутого и не испорченного цивилизацией, и поставить этого человека в соприкосновение с так называемым культурным обществом». Роднит раннюю

повесть Куприна с произведениями молодого Толстого и общее настроение «языческого» восторга перед природой, прославление земной, чувственной радости бытия.

Но судьбы «естественного» начала Куприн и Л. Толстой оценивают по-разному. Л. Толстой связывает здоровую мораль, чистоту, цельность нравов с патриархально-крестьянским укладом. У Куприна «дети природы» стоят вне каких бы то ни было социальных рамок. В оздоровительную силу деревенского уклада Куприн не верит. И Олеся и конокрад Бузыга — отщепенцы крестьянской среды. О несовместимости вольного житья с положением крестьянина говорят и любовно написанные образы купринских охотников (Талимон, Ярмола и др.).

Губительное для сына природы столкновение с миром городской культуры впечатляюще изобразил Куприн в рассказе «Черный туман». Герой «Олеся», опустошенный и разочарованный горожанин, тянется к природе и ее людям; в «Черном тумане», напротив, молодой провинциал устремляется в поисках счастья в столицу. Неистощимое «степное здоровье», талантливость и энергия помогают ему пробить себе путь. Но ему трудно свыкнуться с казенным Петербургом. В сырые, промозглые ночи мечтает он о солнечном небе Украины, о ее людях. Растратив силы, герой умирает от туберкулеза, проклиная злое «черный туман» погубившего его города.

Завзятый охотник, страстный поклонник и знаток природы, Куприн только в ней видит животворящие силы, нередко недооценивая значение преобразующей человеческой деятельности. Воспевающая в рассказах о животных прекрасную, невинную жизнь зверей и птиц, писатель как бы стремится напомнить о той «норме», от которой отделился нынешний городской человек («Барбос и Жулька», «Дух века»).

Зоркий глаз Куприна умеет видеть незаметную другим, тонкую, сложную, многообразную жизнь животного мира. В его картинах русской природы, в лесных пейзажах, в этюдах об охоте художник тесно слился с натуралистом, со следопытом, исходившим не одну сотню верст по лесам и глухим пущам. «Природа у Куприна живет своей жизнью, не считаясь с человеком, — писал Воровский, — скорее человек подчиняет ей свои настроения». Не случайно переживания юной любви Олеси возникают в дни бурного пробуждения весны, и обе эти мелодии сливаются в одну мощную «языческую» песнь во славу природы с ее тайнами и чудесами.

К концу 90-х годов Куприн, получивший известность писатель, особенно тяготился своей работой в провинциальной прессе. Побывав весной 1899, 1900 и 1901 годов в Ялте, куда Чехов, как магнит, притягивал литераторов, художников, артистов, Куприн познакомился с Львом Толстым, артистами Художественного театра, а также с демократическими писателями — Телешовым, Елпатьевским, Гариным, Найденовым. Там же произошла столь значительная для Куприна встреча с Чеховым и Горьким, определившая на многие годы работу молодого писателя. В 1901 году Куприн подарил Чехову «с чувством большой робости» свой первый сборник «Миниатюры». Под непосредственным наблюдением Чехова создавался Куприним рассказ «В цирке» — эта, по выражению Чехова, «свободная, наивная, талантливая вещь», впоследствии высоко оцененная Львом Толстым.

Развитие Куприна-реалиста шло в условиях бурного общественного подъема начала 900-х годов. Героническая Обуховская оборона, знаменитая Батумская демонстрация, массовые политические стачки показали, что «рабочий класс России поднимался на революционную борьбу с царской властью»¹. Плодотворное воздействие пролетарской идеологии и нарастающей революции испытало и демократическое искусство. Возглавленное Горьким объединение прогрессивных писателей — товарищество «Знание» — с 1904 года стало выпускать сборники, «стремящиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы»². Завоевав популярность у демократического читателя, сборники «Знания» содействовали подъему освободительных стремлений в широких слоях общества. Куприн, вступивший тогда в полосу своего творческого расцвета, стал видным участником собираемой Горьким «литературной дружины».

Горький знал Куприна задолго до личного знакомства по его работе в киевской прессе и даже, как свидетельствует В. Г. Короленко, предлагал в 1895 году поручить ему редактуру «Самарской газеты». Сблизился с Горьким Куприн в начале 900-х годов, в условиях революционного подъема в стране.

Осенью 1901 года Куприн приезжает в Петербург, где руководит беллетристическим отделом популярных в то время журналов «Мир божий» и «Журнал для всех». О политических настроениях Куприна этого периода свидетельствовал рассказ «Убийцы» (1901), где писа-

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 28.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 380.

тель, присоединяясь к протесту прогрессивных сил мира, выступил против «отвратительной, несправедливой» войны англичан с бурами. Изображая зверства английского карательного отряда, действующего в тылу у буров, Куприн обличал британских колонизаторов, претендующих на мировое господство. Литературно-общественная позиция Куприна в начале 900-х годов определяется резко критическим отношением к буржуазной интеллигенции, которая, боясь/растущего революционного подъема, открыто поворачивала к реакции. Сообщая в письме к Чехову об организации петербургского религиозно-философского общества, Куприн изобличает «мракобесие отцов церкви, истерические кривляния Мережковского и ехидное смирение Розанова». Куприн с возмущением пишет о мистических радениях части столичной интеллигенции «под председательством преосвященного Сергия, с благословения обер-прокурора Святейшего Синода».

Непримиримо относится Куприн и к упадочному искусству. В сатирической пьесе «Грань столетия» он остроумно пародирует поэтические приемы декадентского импрессионизма. В рецензиях этих лет он выявляет вредные влияния декадентства в современной беллетристике. Самокритически оценивает теперь писатель многие из своих ранних произведений. Он отказывается от предложения Чехова послать Л. Толстому свой сборник «Миниатюры», считая, что в нем «очень много балласту». Тщательно отбирает Куприн рассказы для первого тома своих сочинений, изданного в начале 1903 года «Знанием», гордясь тем, что сможет «выйти в свет под таким флагом».

В предреволюционные годы пересматривает Куприн и свой идеал «естественного состояния», осознавая его ограниченность. Не только попрание естественных потребностей человека видит теперь писатель. Он понимает, что в условиях царской России трудовое большинство страдает от экономического и политического бесправия, от национального гнета. Отказ от идеализации «детей природы» определил содержание рассказа «Болото» (1902), заостренного против толстовской апологии патриархального уклада. Жизнь в лесной глуши, вдали от цивилизации и техники, поэзия «седой», «дедовской» старины оказывается при ближайшем рассмотрении страшным прозябаньем, косной спячкой, рождает пассивность и фатализм. Вымирающая от болотной малярии семья лесника Степана как бы символизирует общую деградацию разоренной, голодной, темной деревни. Рабская покорность крестьянина своей участи ужасает героя рассказа, студента Сердюкова, обнажает перед ним вред непротивленства, заставляя его протестовать против «болота» деревенской темноты. Финал рассказа с аллегорической картиной зари, в лучах которой

тает болотный туман, стирает впечатление тоски и беспросветности. Несмотря на гибельную власть болота, близится рассвет, наступает новый день с «ликующим торжеством победы».

В условиях нараставшего в стране революционного движения против царизма усиливается и политическое звучание критики действительности у Куприна. Своими обличительными рассказами о царской армии, о реакционном чиновничестве и мещанстве писатель участвует в общей борьбе передовых демократических сил «против всяких крепостнических учреждений, против абсолютизма, сословности, бюрократии»¹, в борьбе, которую в эпоху подготовки революции В. И. Ленин считал политической задачей огромной важности.

В прошлом офицер, Куприн главный удар направил против реакционной военщины, расширив тем самым круг изображения русской жизни писателями-«знаньевцами». Военные рассказы Куприна обличали классовое неравенство, тюремный режим для нерусских национальностей, телесные наказания и другие феодально-крепостнические пережитки в царской армии, узаконенные самодержавным строем.

Отношение народа к царской армии обобщено в типическом образе Луки Меркулова (рассказ «Ночная смена»), рядового из крестьян, который воспринимает царскую солдатчину как бессмысленное, непонятное и жестокое насилие. Непосредственность переживаний и чувств Меркулова, его простодушно-недоуменное отношение к своей судьбе усугубляет ощущение совершаемой несправедливости.

Бессмыслицу тогдашних армейских порядков отразил рассказ «Поход» (1901) с его картиной тяжких ночных маневров, во время которых измученные солдаты сбиваются с ног и ранят друг друга штыками. Паразитическая психология, бытовое разложение офицерства изображены в рассказе «С уллицы». Равнодушие большинства царских офицеров к судьбам страны и народа, которое разоблачал Куприн, оказалось пагубным в дни русско-японской войны, когда армия терпела поражения на фронтах, а в столице могли безнаказанно орудовать японские шпионы вроде героя рассказа «Штабс-капитан Рыбников».

Обличение пережитков абсолютизма сочеталось в предреволюционном творчестве Куприна с острой критикой буржуазии, шедшей на сделку со старым порядком. Типические черты русского империалиста, его шовинизм и звериная ненависть к демократии воплощены

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 272.

в сатирической фигуре нефтепромышленника Завалишина из рассказа «Корь» (1904).

В произведениях 900-х годов Куприн продолжил начатый в «Молохе» показ уродливых нравов царства «чистогана». Мечтая об «освобождении человеческого чувства от цепей рабства и пошлости» (Воровский), Куприн все чаще говорит о том, как гибнет любовь, которую душит брак по расчету, унижает адюльтер, пародирует проституция. В рассказах «Жрец» и «Хорошее общество» Куприн показывает, что носителями морального разложения являются представители «верхних десяти тысяч», скрывающие под личиной светских приличий пороки, болезни, разврат, вырождение.

В рассказах о театре и цирке Куприн заострил мысль об упадке, измелчании искусства в современном обществе, о его растущей зависимости от денежного мешка. Непосредственно зная быт русской театральной провинции конца 90-х — начала 900-х годов, Куприн реалистически изображал горькую участь актера, страдающего от безработицы и конкуренции между театральными предпринимателями.

Подневольное положение артиста отражено в ярком, полном драматизма рассказе «В цирке». О кабальных условиях актерского труда много говорила и публицистика и художественная литература в начале 900-х годов. Судьба горьковского актера, ставшего человеком «дна», постоянно грозила рядовому труженику сцены в тогдашней России. Одинокая, необеспеченная старость заставляет престарелых актеров довольствоваться подачками купца-благотворителя («На покое»). Нужда, зависимость от хозяина театра, от рецензента, от городских меценатов толкает молодых актрис на путь проституции («К славе») или отдает их под власть тупого и жестокого «собрата по искусству» («Лолли», «Allez!»).

Правдивость театральных рассказов Куприна не раз отмечали Чехов и Л. Толстой. Чехов одобрял рассказ «На покое», созданию которого он помогал своими советами. Отмечая обличительную силу и высокое художественное мастерство рассказа «Allez!», Л. Толстой оценивал его как одно из лучших произведений Куприна.

В период подготовки революции 1905 года, когда консервативное мещанство мешало подъему освободительного движения, разоблачение идеологии и практики обывателя стало важной задачей передовой общественности и литературы. В отличие от многих «знатков», видевших в косном обывателе неодолимого врага, Куприн правильно оценил социальные судьбы мещанства. Как ни прочно

засилье мещанства, как ни тесен его союз с властью, его неминуемо спесет своим течением мощная и свободная «река жизни».

Реакционного обывателя Куприн разоблачал средствами юмора, гротеска, сатиры. Вредоносная политическая роль мещанства убедительно раскрыта в рассказе «Мирное житие» (1904). Удалившийся на покой гимназический учитель Наседкин коротает свой старческий досуг в писании доносов на вольнодумных жителей города. Сатирический эффект рассказа — в контрасте показного благочестия, внешнего добродушия Наседкина с его деятельностью шпиона, доносчика, ростовщика. Прочтя рассказ, В. Г. Короленко высоко оценил фигуру «доносчика по призванию». Художественную силу образа Наседкина отметил Лев Толстой. Считая актуальным разоблачение обывательщины как резерва реакции, Горький поместил «Мирное житие» во втором сборнике «Знания».

Критическое отношение к реакционному мещанству формировалось у Куприна под горьковским воздействием. Позже, в очерке «События в Севастополе», Куприн подчеркнет особенное значение горьковских «Заметок о мещанстве», укрепивших его в оценке мещанина как пособника контрреволюции.

Развитие гуманизма и демократических идей, усиление общественной критики в произведениях начала 900-х годов повлияли и на жанровые особенности купринского рассказа. Отказываясь от ранней новеллы-миниаютуры с «интригующим» сюжетом и неожиданной «фейерверочной» концовкой, где интересны не столько персонажи, сколько причудливая ситуация, Куприн, продолжая линию «Молоха», идет к рассказу со значительными реалистическими характерами и социально насыщенными конфликтами.

Столкновение простого человека с представителями «верхов» давало простор сатирическому показу буржуазии и мещанства, помогало разоблачать хищничество «хозяев», их гнилую мораль. Характерной для купринской новеллы становится такая развязка, в которой происходит не только возвышение маленького героя, но и обязательное посрамление богача, представителя знати, светского общества (рассказы «Без заглавия», «Прапорщик армейский», «Белый пудель» и др.). Рассказ «Конокрады» (1902), где вор Бузыга сталкивается с деревенскими богатеями и с собственнически настроенным мелким крестьянством, где характер героя выявляется в остром конфликте с враждебным ему окружением, говорил о стремлении Куприна следовать Горькому как мастеру драматической новеллы.

Стремясь создать полнокровные реалистические характеры людей из народа, Куприн от наблюдения отдельных черт психологии идет

и развернутому отображению внутреннего мира человека из народа. В рассказе «Ночная смена» тема критики царской армии раскрывается преимущественно через показ внутренних переживаний рядового Меркулова. Но сознание героя здесь еще не развито, социальные стремления дремлют, поэтому и картина его внутренней жизни выглядит статично.

В годы революционного подъема Куприн обращается к изображению «задумавшегося» над противоречиями жизни среднего человека. Уже рассказ «Болото» (1902), в котором небольшой повествовательный материал насыщен социально-философским содержанием, свидетельствовал о появлении в творчестве Куприна новеллы, в основе которой лежит идеологический конфликт. Как и во многих рассказах Чехова («Враги», «Дуэль», «Княгиня», «Гусев» и других), здесь отржены не только личные столкновения людей, но и борьба непримиримых общественных взглядов, принципиальный спор об отношении к действительности. Этот идейный спор героев (который определяет сюжет, композицию, детали рассказа) получает у Куприна большую политическую остроту. В написанном накануне революции 1905 года рассказе «Корь» в лице студента Воскресенского и капиталиста Завалишина сталкиваются представители враждебных общественных групп русской предреволюционной действительности — передовая интеллигенция и черносотенная буржуазия. Демократический интеллигент проявляет напористость, берет инициативу спора в свои руки, обличая в лице Завалишина реакционность буржуазии, ее готовность служить престолу, ее фальшивый патриотизм.

В рассказе «Болото» столкновение отживших истин с новыми освободительными идеями происходит в душе одного героя. Противоположные убеждения представляет один и тот же человек, только взятый в разные моменты его идейной эволюции. Подобный процесс перестройки сознания демократического героя, внутренний мир «пробуждающегося» человека Куприн развернуто покажет в «Поединке».

1905 год Куприн встретил как сложившийся, зрелый художник-реалист, по плечу которому было не только критическое изображение отдельных сторон действительности, но и создание широкого полотна, обобщающего типические явления современной ему жизни. Еще в начале 900-х годов Куприн задумал большую повесть об армии, тогда же написал отдельные этюды к будущей картине, но, не удовлетворенный ими, уничтожил.

Вновь приступить к работе над «Поединком» в 1904 году Куприна подтолкнула русско-японская война. События на Дальнем Востоке и вызванное ими громадное усиление революционного бро-

жения внутри страны повысили обличительный заряд «Поединка» и придали ему большое политическое значение.

«...Самый закостенелый инструмент поддержки старого строя»¹ — царская армия была показана писателем во всей неприглядности ее диких нравов, отживших традиций, кастовой замкнутости.

Армейцы «Поединка» далеки от всего, что не связано с интересами карьеры и профессии. Типичен для этой среды и старый кадровик Слива, который за всю свою жизнь «не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме официальной части «Инвалида», и его подчиненный, поручик Веткин, для которого Пушкин всего лишь «какой-то шпак» (штатский). Лишенные духовных запросов, культурных потребностей, все эти Бобетинские, Лещенко, Липские — не более, чем обыватели в мундирах, свыкшиеся со скукой жизни, «однообразной, как забор, и серой, как солдатское сукно».

Сонную одуру полковых будней офицеры «Поединка» разнообразят кровавыми избиениями солдат, издевательствами над штатскими, пошлым флиртом, безобразным пьянством. «О, что мы делаем! — восклицает в тоске Ромашов, — сегодня напьемся пьяные, завтра в роту — раз, два, левой, правой, — вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом?»

Обличая кастовый дух, антиобщественные настроения царского офицерства, Куприн сблизился с передовой публицистикой того времени. Незадолго до «Поединка» против мертвящих традиций царской военной касты выступал в печати В. Г. Короленко.

Основной причиной деградации офицерства Куприн считал его идейно-политическую отсталость, отрыв от родины и народа. Открыто мечтающие о свирепых, кровавых битвах Осадчие и Агамаловы охотно пойдут в карательные отряды. Даже для смиренного, мягкотелого поручика Веткина усмирение рабочих лишь нормальное исполнение обязанностей: «Ро-ота, пли! — и дело в шляпе».

Писатель-гуманист, Куприн показал в «Поединке» ужасающее положение солдата. Несмотря на формальное запрещение телесных наказаний, солдат «били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю» «за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке...» Со страниц «Поединка» вставала забитая, покорная солдатская масса, обнаруживалась «полная беззащитность солдата из крестьян или рабочих... вымогательство, битье...», как указывал Ленин, характеризуя царскую армию предреволюционных лет².

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 261.

² Там же, т. 4, стр. 390.

Обобщением солдатской участи становится судьба безответного и жалкого рядового Хлебникова, доведенного казарменной каторгой до попытки самоубийства.

В повести «Поединок» Куприн правдиво отразил состояние царской армии тех лет, о которой Ленин писал в дни Порт-Артура: «Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью... в современной войне»¹.

Шестой сборник «Знания» с «Поединком», посвященным Горькому, вышел в свет в мае 1905 года, в дни разгрома царского флота в Цусимском проливе, когда возмущение политикой царизма охватило всю страну. Появление повести имело огромный общественно-политический резонанс. Современники находили в «Поединке» объяснение событиям дальневосточного провала. О новом произведении Куприна писали все газеты. Имя Куприна летом 1905 года было самым популярным писательским именем. Переведенная еще в рукописи на иностранные языки, повесть Куприна уже в 1905 году стала известна немецкому, французскому, польскому, итальянскому читателю.

Вокруг политически острых картин повести разгорелась полемика. Консервативная военщина на страницах «Русского инвалида», «Военного голоса», «Разведчика» и других официозов обвинила Куприна в клевете на русскую армию. Ополчились на «Поединок» и штатские черносотенцы: обличение военной бюрократии в повести Куприна перерастало в отрицание всего самодержавного строя, завершалось призывом к свободе от сословного и классового гнета. Черносотенные «Московские ведомости» писали после выхода «Поединка» Куприна и «Страны отцов» Гусева-Оренбургского, что «сборники «Знания» вычеркивают у нас из списка жизнеспособных одно сословие за другим». Декадентские «Весы» призывали бороться с «развращающим» влиянием «Знания». Охранительная печать единодушно объявила Куприна «последышем» Горького.

Действительно, годы 1903—1906 явились временем наибольшей близости Горького и Куприна. В письмах этих лет Куприн часто говорит о Горьком, восторженно приветствует поэму «Человек», ставшую манифестом «знаньевцев». Осенью 1904 года Горький и Куприн вместе работают над составлением сборника воспоминаний

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 35.

о Чехове, и Горький отмечает общность их переживаний: к горечи утраты примешивается возмущение против пошлости, коснувшейся светлой памяти Чехова. «Сильно, очень сильно поправились Вы мне Вашей глубокой, искренней скорбью о Чехове! — писал тогда Горький Куприну, — почувствовал я в Вас хорошую душу... почувствовал хорошего товарища, и как-то сразу явилась во мне уверенность, что Вы будете крупным, чутким писателем».

В 1905 году Куприн, по предложению Горького, участвует в «Нижегородском сборнике», изданном «Знанием» в пользу социал-демократической партийной кассы. Имя Куприна соседствует с именем Горького в сатирических журналах «Жупел», «Адская почта», во многих благотворительных сборниках. Присутствовал Куприн и на чтении Горьким пьесы «Дети солнца» в «Пенатах», участником которого были тогда зарисованы И. Е. Репиным. Куприн был первым, выступившим в печати с разбором и высокой оценкой этой пьесы Горького.

Горький проявлял большой интерес к работе Куприна над повестью «Поединок». Куприн долго не решался приступить к созданию крупной вещи. «И только влияние Алексея Максимовича, знавшего план задуманного Куприным романа, заставило его, отбросив колебания, начать писать «Поединок», — вспоминает М. К. Куприна-Иорданская. Из переписки Куприна с издателем «Знания» К. П. Пятницким, которому, по мере написания, посылались главы «Поединка», видно, что Куприн получал от Горького конкретные указания, не раз советовался с ним по поводу повести. Прочную связь с Горьким в процессе создания «Поединка» Куприн закрепил и в посвящении его Горькому и в известном письме к нему, написанном накануне выхода в свет шестого сборника «Знания», где объяснял «все смелое и буйное» в повести горьковским воздействием.

В письме к Е. П. Пешковой, написанном до выхода в свет «Поединка», Горький отозвался о нем с большой похвалой. Прочитав повесть Куприна, В. В. Стасов назвал ее жемчужиной. А. В. Луначарский посвятил «Поединку» специальную статью, опубликованную вскоре после появления шестого сборника «Знания».

Высокая оценка повести Куприна представителями передовой общественной мысли объяснялась тем, что актуальное и важное содержание оцеталось здесь с высокой художественностью. «Поединок» явился высшим достижением критического реализма в демократическом искусстве эпохи первой русской революции.

Выйдя за рамки военной темы, повесть Куприна вобрала в себя важные социальные, политические и этические проблемы своего

времени. На пути идейного и духовного роста героя, протестующего правдоискателя, вставали вопросы о причинах классового неравенства и путях освобождения от гнета, о взаимоотношениях личности и общества, о связи интеллигенции с народом, о смысле жизни и назначении человека.

Отражая процесс политического пробуждения простого человека, Куприн обнаружил большое мастерство изображения «дialeктики души», его внутреннего роста.

Поначалу косная армейская среда подавляет «иовичка» Ромашова. Мы видим, как гаснут в душной атмосфере казармы стремления юноши к осмысленной, полезной людям жизни. Робкий, конфузливый поручик с его нелепыми мечтаниями и запинаящейся речью, который трепещет перед сильными мира сего и втайне завидует их блестящей, беззаботной жизни, походит на приниженного «маленького человека», изображенного Куприным в произведениях 90-х годов. В первых главах повести готова повториться излюбленная тема Куприна-гуманиста: естественное, здоровое начало в человеке искажает уродливая социальная среда.

Но если в 90-е годы Куприн не видел выхода для своего героя, то позднее, в период революционного подъема, писатель находит путь к освобождению простого человека — порвать тенета классового, имущественного, кастового угнетения. Ведущим в сюжете становится показ сопротивления героя реакционной среде, показ растущего в нем возмущения бесчеловечной действительностью.

Конфликт Ромашова со средой сопровождается столкновением старого и нового в его сознании. Начиненный предрассудками, наввно-романтическими представлениями, эгоистическими намерениями «старый» Ромашов вступает в разлад с «новым», стремящимся осознать свое место в борьбе за освобождение народа.

Все увереннее и смелее противопоставляет себя Ромашов своему окружению — омещанившимся офицерам, болтающим о чести и долге, грубому и тупому полковому начальству. Он вступает за татарина-рядового Шарафутдинова и попадает под арест. Прежде Ромашов эгонистически мечтал лишь о личном успехе, теперь больше всего волнует его солдатское горе, судьба многих тысяч «забитых Хлебниковых». Он мучительно думает над вопросами социального неравенства, общественного устройства, разделения труда.

Начавшийся в Ромашове духовный и идейный подъем обрывается его гибелью, спровоцированной блюстителями нравов военной касты. Но финал «Поединка» не звучал пессимистически, как это было в «Молохе», где герой остался жить, сломленный гнетом социального зла. Ромашов гибнет, вступив на путь сопротивления ненавистному

миру, и это сообщает всему произведению, несмотря на ряд мрачных картин, оптимистическую перспективу.

В показе сложной душевной жизни прозревающего человека, многообразия его переживаний, борьбы разнородных чувств Куприн опирался на достижения психологического реализма Льва Толстого, создателя образов Иртеньева, Левина, Нехлюдова, мастерски изображавшего процесс высвобождения сознания из плена предрассудков. Но пути правдоискателей у обоих художников различны. Уничтожение социальной несправедливости Ромашов не связывает с требованием религиозно-нравственного самоусовершенствования, как это делал Нехлюдов. Конфликт «прозрения» открывал обоим художникам простор для развернутой критики действительности: к авторским обличениям присоединялся теперь голос героя, с глаз которого спала пелена и обнажила фальшь и несправедливость окружающей его жизни. По непримиримости и силе критика царской армии в «Поединке» близка к толстовским обличениям самодержавного государства. Но, будучи прогрессивной в условиях войны с Японией, критика Куприным царской военной машины перерастала в ошибочное отрицание всякой войны. Не умея объяснить происхождение войн экономическими и политическими причинами, Куприн обличает милитаризм с позиций все того же «естественного человека», отвергающего всякое убийство. Единственным средством против растущего милитаризма герой Куприна ошибочно считает пассивно-анархический протест низов.

Подобно героям Л. Толстого, Ромашов несколько не идеализирован автором, а показан в противоречиях, в переплетении положительных черт и слабостей, смешных сторон, прозаических деталей. Перед Шурочкой Николаевой, с ее острым умом, бойкой речью, энергичной, волевой натурой, он и вовсе ступенькается. Но преимущества героини оказываются мнимыми. В ходе сюжета обнаруживается и убожество ее запросов и крайний эгоизм. Тяготясь выпавшей ей на долю провинциальной жизнью, Шурочка рвется в столицу ради светских успехов, «блеска и поклонения», то есть обычных «идеалов» полковой дамы. Окончательное разоблачение героини «Поединка» наступает тогда, когда обнаруживаются размеры жертв, приносимых ею эгоистическим целям. Ради сохранения репутации мужа, чью карьеру она хочет поставить на службу своему успеху, Шурочка спокойно обрекает на смерть любящего ее Ромашова.

Мастерская лепка образа Шурочки была отмечена А. В. Луначарским, который советовал критикам вглядеться в этот «любопытный, совершенно живой и бесспорно интересный женский тип». Не-

сомненно, что Шурочка с ее сильной волей и ничтожными страстями задумана как антипод Ромашову, безвольному и слабому, но овеянному высоким идеалом альтруизма и человечности.

Тяготения к революции, куда его звала ненависть к миру насилия и глубокие симпатии к угнетенным, сочетались у Куприна с неумением осознать пути революционного гуманизма. Эти противоречия обусловили ряд ошибок в положительной программе «Поединка».

История отношений Ромашова к солдату Хлебникову показывала, что Куприн осознал в условиях революционной эпохи несостоятельность сострадательного гуманизма. Об этом свидетельствует и фигура Назанского, выступающего с обличением христианско-толстовской морали, противопоставляющего ей «новые» принципы социального поведения. Назанский — наиболее противоречивый образ в творчестве Куприна. Этому второму герою повести писатель передает немало дорогих для него самого идей. Назанский настроен радикально. В его речах против царской армии, против одряхлевшего самодержавия, в его предчувствиях «огромной, новой, светозарной жизни» слышен голос самого Куприна. Но наряду с этим программа Назанского содержит ряд ошибочных положений.

Идеал Назанского — анархически понятая, неограниченная свобода человеческой личности. Если передовой герой Горького стремился будить в угнетенном борца, то Назанский, воспевая личность, зовет ее не к социальной борьбе, а к индивидуалистическому обожествлению всех чувств, желаний, потребностей. «...Кто вам дороже и ближе себя? — говорит Назанский Ромашову. — Никто! Вы — царь мира... Вы — бог всего живого. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит вам. Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится...»

Осуществление свободы личности Назанский также понимает как анархист, продолжая даже в дни революции сеять иллюзии вольности без борьбы. В те годы, когда Горький звал массы к борьбе, к сплочению, разоблачал вред анархо-индивидуализма, ведущего к «разобществлению личности», Куприн сочувственно рисовал героя, воспевавшего уход человека из общества (в одном из вариантов «Поединка» Ромашов совершал такой «протестующий» уход). Индивидуализмом проникнута и этическая проповедь Назанского. В своей критике христианского братства людей Назанский доходит до отрицания всякой общественной деятельности, всякого коллективизма и солидарности. Главное для человека, по мнению Назанского, — возможность жить, то есть дышать, чувствовать, мыслить.

Поэтому всякая жизнь, по мнению Назанского, лучше смерти, и жизнь всякого человека драгоценна. Этот крайне двусмысленный вывод купринского героя оправдывал, против его воли, примирение с действительностью.

Анархо-индивидуалистические мотивы «Поединка», рассказа «Тост» и ряда других произведений Куприна отражали анархические настроения в среде мелкобуржуазной оппозиции в 1905 году, псевдореволюционность и вред которых раскрыли труды Ленина и Сталина, направленные против анархизма.

По своим жанровым особенностям «Поединок» близок психологической повести Чехова. Герой «Поединка», мелкий городской интеллигент в армейском мундире, человек рядовых способностей, средних интеллектуальных данных, близок чеховским персонажам, равно как и обстановка, его окружающая,— глухая окраина, заштатный городок, обыватели с их дикими нравами и узко собственническими интересами. Близко Чехову и то ироническое отношение автора к герою, которое чувствуется в первых главах «Поединка». У Чехова так обрисованы Вершинин или Петя Трофимов, которые, с одной стороны, симпатичны автору своей человечностью, высокими идеалами, мечтой о будущем, и вместе с тем смешны мягкотелостью, пассивностью, неумением перейти от прекраснодушных мечтаний к делу. Но мучительные поиски смысла жизни у чеховского героя, человека переломной эпохи 80-х годов, были исторически более правомерны, чем у героя «Поединка» в начале века, когда передовая интеллигенция в действительности нашла свое жизненное призвание в революционной борьбе.

Продолжая традиции русской классической литературы в жанре психологической повести, «Поединок» с его гуманизмом и реализмом противостоял декадентской психопатологической повести и прежде всего повестям Л. Андреева, для которого погружение в болезненную, искривленную психику своих героев было своеобразной формой бегства от действительности.

«Поединок» значительно воздействовал и на дальнейшее развитие военной повести в русской демократической литературе (Вересаев, «На войне», 1906; Г. Эрастов, «Отступление», 1906, и др.).

30 июля 1905 года на вечере в Териоках, устроенном Горьким для сбора средств в пользу Петербургского комитета РСДРП и бастующих рабочих Путиловского завода, где Горький читал поэму «Человек», Куприн выступил с чтением отрывков «Поединка». Монологи Назанского, особенно остро звучавшие после недавних событий в армии и флоте, вызвали бурное одобрение слушателей.

В условиях растущего брожения в армии и флоте после восстания на «Потемкине» «Поединок» получал все большее распространение. Передовая часть офицерства увидела в повести призыв к «полному оздоровлению всей русской жизни», как говорилось в адресе Куприну от военных Петербурга. Чтение глав «Поединка», предпринятое автором осенью 1905 года в воинских частях, имело прямое агитационное значение. Овациями встретили моряки Севастополя монологи Назанского, клеймившие оторвавшуюся от народа паразитическую часть офицерства. На одном из чтений «Поединка» в Севастополе Куприна приветствовал лейтенант Шмидт.

В Севастополь осенью 1905 года Куприна привлекла новая волна революционного подъема в черноморском флоте. В середине ноября восстали судовые и береговые экипажи. Центром движения стал крейсер «Очаков», с борта которого лейтенант Шмидт призвал флот ко всеобщему выступлению.

В. И. Ленин придавал огромное значение севастопольским событиям. «Теперь армия бесповоротно отпала от самодержавия»¹, — писал он 15 ноября 1905 года в газете «Новая жизнь» по поводу очаковской эпопеи.

Вследствие слабости большевистских организаций в черноморском флоте героический «Очаков» был разгромлен царскими войсками.

Куприну пришлось стать очевидцем этой зверской расправы. Он лично участвовал в спасении уцелевших матросов, прятал их на ксиспиративных квартирах, устраивал под видом сезонных рабочих на винограднике, обманув бдительность полиции. В корреспонденции «События в Севастополе» Куприн, в противовес официальной информации, нарисовал потрясающую картину расправы царских опричников с героическими повстанцами. С болью и гневом писал Куприн о том «костре из человеческого мяса», в который превратил адмирал Чухнин мятежный крейсер. Зажженный артиллерией корабль продолжали обстреливать с берега, «по катеру с ранеными... стреляли картечью», «бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами... людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками». В лице Чухнина, который «входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноге», Куприн заклеил душителей революции.

Поместившая статью Куприна газета «Наша жизнь» была закрыта, Куприн административно выслан из Севастополя, против него было начато судебное дело о «возбуждении в на-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 36.

селении ненависти» к «представителю правительственной власти», по которому Куприн впоследствии понес наказание.

Сочувствие героям революции и ненависть к ее палачам, принизившие статью о Севастополе, отразились и в других произведениях Куприна 1905—1906 годов. Гневно протестовал Куприн против контрреволюционного террора в рассказе «Сны», написанном в декабре 1905 года, в дни разгрома вооруженного восстания в Москве. В заключительных строках рассказа писатель высказал горячую веру в близкое торжество свободы. Во второй статье «Памяти Чехова», написанной к первой годовщине смерти писателя, Куприн связывает наступление революции с цепью поражений самодержавия в русско-японской войне. Рассказ «Тост» славит героев революции, которые «умирали на виселицах и под расстрелом» и «отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости — умереть за свободную жизнь грядущего человечества». Революционное насилие, призванное сокрушить старый мир и уничтожить рабство, воспевают аллегория «Искусство».

В этих произведениях, проникнутых ожиданием революции, ее пафосом, купринская проза приобретает публицистическую остроту, звучит подобно ораторской речи. Место автора-рассказчика, сдержанного повествователя, заступает страстный обличитель и проповедник. Струя «гражданственного лиризма» ощущалась уже в «Поединке», в монологах Назанского. Вспомнив в статье о Чехове его «благоуханный, тонкий, солнечный язык», Куприн прямо отстаивает необходимость новых форм в искусстве: «...теперь... наступает время великих, грубых, дерзновенных слов, жгущих, как искры, высеченные из кремня». По мнению Куприна, назначение искусства революционной эпохи не только в том, чтобы творить эстетические ценности, не только правдиво изображать мир, как он есть, но призвать к революционному действию, показать его герою, воспеть радость освободительной борьбы («Искусство», 1906). В своих эстетических требованиях Куприн опирается теперь не на Чехова и Толстого, хотя воздействие их мастерства сильно ощутимо в «Поединке», а на Горького, творца нового, героического искусства. Ряд художественных особенностей купринской прозы революционных лет — ее высокий эмоциональный накал, повышенная экспрессивность, гиперболические контрастные образы — роднит ее с революционной романтикой Горького и его аллегорическими произведениями 1905—1906 годов («Товарищ», «Мудрец», «Сказка»). Монолог председателя в «Тосте» близок по форме авторской речи в поэме «Человек». Но идейное содержание поэмы Горького и купринской утопии различны. Девиз «Человека» — «вперед и выше» — чужд героям «Тоста», ко-

которые при социализме тоскуют о досоциалистических временах героики и борения.

Художник общедемократического направления, Куприн не смог воплотить революционную идею в реалистических характерах. Тема революции звучит у него обычно как тема будущего. В двух статьях «Памяти Чехова» Куприн по-чеховски проникновенно говорит о красоте грядущей жизни: «Мы вздохнем радостно могучим воздухом свободы и увидим над собой небо в алмазах. Настанет прекрасная, новая жизнь, полная веселого труда, уважения к человеку... красоты и добра». В рассказе «Тост», верно предугадывая существенные черты этой прекрасной новой жизни будущего — раскрепощение труда, победу над силами природы, высокий уровень науки, техники, художественного творчества, — Куприн пишет образы революционеров отвлеченно романтическими красками. Это «люди с горящими глазами», «герон с пламенными душами», которые в «священном безумии кричали: «Долой тиранов!» и «обагрели своей праведной горячей кровью плиты тротуаров». «Орлятами», взлетевшими к «пылающему солнцу свободы», называет Куприн революционеров в рассказе «Река жизни» (1906). Этим истинным героям, бесстрашио глядевшим в лицо смерти, Куприн здесь противопоставлял одного из тех случайных попутчиков революции, которые под давлением полицейских репрессий изменяли революционному долгу. Осуждая предательство как самое тяжкое преступление, которое «заживо умерщвляет человека», Куприн показывает интеллигента-ренегата как представителя безвольного, дряблого, трусливого поколения, рожденного реакцией 80-х годов.

Обличение политического ренегатства, столь актуальное в условиях начавшегося спада революции после подавления декабрьского вооруженного восстания, становится темой ряда произведений Куприна. В опубликованных за границей в 1906 году стихотворных «Стансах» Куприн клеймит интеллигенцию, которая не оправдала надежд революционного народа, которая бежит с поля битвы, чтобы сохранить «покой позорный» и «право жить в свином хлеву». Отповедь предательству лежит и в основе аллегории «Демир-кая» (1906), революционный смысл которой подчеркнул В. В. Воровский. В рассказанной здесь легенде разбойник прощен не за покаяние, а за убийство предателя.

Однако даже в произведениях, созданных в разгар событий 1905 года, понимание революции Куприным противоречиво и сбивчиво. В утопии «Тост» общество будущего названо «всемирным анархическим союзом свободных людей». Как «ужасный вулканический взрыв» изображена революция в рассказе «Река жизни».

Не видя созидательных сил революции, Куприн приветствует ее лишь как бурю, очищающую мир от скверны старого.

В период политической реакции 1908—1911 годов усилились колебания Куприна между прогрессивно-демократическими взглядами и настроениями анархо-индивидуализма. Разделяя общую участь мелкобуржуазных попутчиков революции, Куприн в условиях спада революционного движения переживал кризис своего радикализма. Из факта временного поражения революции писатель сделал неверный вывод о тщетности освободительной борьбы. Куприн оказался среди тех из бывших «знаньевцев», у которых колебания между демократической и либеральной тенденциями завершились в конечном счете победой этой последней, что привело к аполитизму, к отказу от постановки острых и значительных социальных проблем.

В годы кризиса демократической литературной группировки «Знания» Куприн не был с Бунным, Андреевым, перешедшими в лагерь реакции. Но он уже не занимал места на линии передовой литературы, не раз поддавался веяниям упадка, утратил связи с Горьким, выходил из сферы революционных влияний.

Вредно воздействовала на Куприна и активизация реакционной буржуазной литературы после подавления революции, когда на свет вышли «...декаденты всех мастей, отрекавшиеся от народа, провозгласившие тезис «искусство ради искусства», проповедовавшие безидейность в литературе...» (А. Жданов). Куприн не только внешне порывает с прогрессивной литературой, перейдя из «Знания» в «Шиповник» Л. Андреева, участвуя в альманахе «Жизнь» Арцыбашева, но и сам пишет ряд произведений, представлявших измену «знаньевским» принципам.

Возмущение Горького вызвал рассказ Куприна «Морская болезнь», где, по словам Короленко, «физиология выпячивается до порнографии». Нездоровая эротика сочеталась здесь с принижением облика социал-демократа, подобно тому как это было в произведениях Арцыбашева и Сологуба. Отрицательно встретил Горький и безидейный, поверхностный рассказ «Ученик» (1908), после которого «Знание» перестало печатать Куприна. В свете борьбы Горького против аполитичного индивидуалистического искусства становится понятным его неодобрительный отзыв о рассказе «Суламифь», где чувственная любовь воспевалась как единственная непреходящая ценность.

Тем не менее Горький, как явствует из его переписки, продолжал считать Куприна наиболее талантливым среди бывших «знаньевцев». Реакционные влияния и срывы не определяли всей

практики Куприна. За время с 1907 по 1917 год писателем были созданы отдельные художественно ценные произведения, в которых ему удавалось сохранить гуманистические взгляды, демократические симпатии, удержаться на позициях критического реализма.

В ряде рассказов 1907—1908 годов Куприн продолжал облачать царскую военщину и бюрократию, протестовать против натиска реакции.

Уничтожающий сатирический портрет армейского буяна и тупицы дан в рассказе «Свадьба» (1908). Подпрапорщик Слезкин, который «презирал науку, литературу, все искусство и культуру... хотя не имел о них никакого представления», который в ожидании погромов и «усмирений» развлекается дикими хулиганскими выходками, напоминает солдафонов «Поединка». Обличительная сила рассказа напугала царскую цензуру; против Куприна было возбуждено судебное преследование.

В остроумном рассказе «Исполнины» Куприн нарисовал гротескную фигуру реакционного педагога из бывших «либералов». Сожалел о «старом, добром времени, когда розга и правдивость шли рука об руку», учитель Костыка злорадно лепит единицы Пушкину, Гоголю, Лермонтову «за осмеяние предрержавших властей» и в бешенстве срывает со стены портрет Щедрина. Политически заострена сатира «Механическое правосудие» (1907). Злобствующий бюрократ-черносотенец, придумавший автоматическую розгу для школьников, надеется использовать ее во всероссийском масштабе «для войск, волостных правлений... студентов... и бастующих рабочих», но сам становится первой жертвой своего изобретения. Как отклик на реальные политические события возникли и две сатирические сказки Куприна — «О Думе» и «О конституции» (1907), где зло высмеян кадетский парламент.

Обличение типичных для царского строя социальных уродств с помощью сатирического преувеличения в духе традиций Шедрина, путем острой пародии, выгодно отличало Куприна от некоторых «знатьевцев», вроде Чирикова, склонявшихся к натурализму и трактовавших типическое лишь как наиболее распространенное, обыденное, примелькавшееся.

В дни разгула контрреволюционного террора Куприн присоединил свой голос к протесту всех прогрессивных сил русского общества. Гневно и страстно выступал писатель против «липкого кошмара реакции», нависшего над страной (рассказы «Сны», «Бред», «Убийца»). Но сила купринского протеста ослаблялась надклассовым, отвлеченным гуманизмом. Куприн протестовал не столько против казней революционеров, сколько против насилия вообще

(подобно тому, как это сделал в те же годы Л. Толстой в статье «Не могу молчать!»). Противоречиво отразились события русско-японской войны, революции и черносотенного террора и в известном рассказе Куприна «Гамбринус» (1907). С большой художественной силой показал здесь писатель пробуждение маленького человека под влиянием освободительной бури, пронесшейся над страной. Скрипач Сашка, любимец низов большого портового города, последовательно проходит те мытарства, которые были уготованы ему, бедняку-еврею, в условиях царизма, а также те новые злоключения, которые несли народу события русско-японской войны и политической реакции. Но Сашка не только терпит, он и протестует, бесстрашно противостоит черносотенцам. Сцена массового пения «Марсельезы» в «Гамбринусе» становится праздником подлинно народного, зовущего к борьбе искусства. Попав в тюрьму по «политическому делу», маленький скрипач становится калекой. Но Куприн стремится примирить своего героя с жизнью. Держа свистульку изуродованной рукой, Сашка снова играет народу свои песни. Рассказ, сильный своим протестом против террора, завершился примирительной, аполитичной концовкой о вечной, неистребимой силе искусства.

В рассказах о контрреволюционном терроре в последний раз ярко проявились симпатии Куприна к освободительному движению. Чем дальше шло наступление реакции, тем чаще слышались в произведениях писателя ноты пессимизма, разочарования в общественной борьбе. Написанный в 1908 году рассказ «Попрыгунья-стрекоза» проникнут страхом перед возможным взрывом народного протеста, боязнью справедливого суда, которого не миновать «праздноболтающей» интеллигенции. Главной мыслью рассказа становится признание страшной оторванности образованного общества от народа, причем вина за этот отрыв возлагается на народ. Крестьянство здесь изображено как темная, косная, не поддающаяся культурному воздействию масса. Занесенная снегом, окруженная «столетним бором, где водятся медведи», глухая деревня словно символизирует непроходимую дикость всей крестьянской жизни.

Теми же мрачными красками пишет Куприн деревню и крестьян в близком по настроению рассказе «Мелюзга» (1907). Неуч-фельдшер, цинично обманывающий мужика, да ничтожный, опустившийся, бессовестно небрежный к своему делу учитель оказываются здесь единственными «носителями культуры». В условиях «идиотизма деревенской жизни» интеллигенция неминуемо деградирует и идейно перерождается, становясь в злобную оппозицию к народу. Тенденционно подчеркнувшие в крестьянском быту только

проявления отсталости и невежества, не отметившие черт пробуждения деревни под влиянием событий 1905 года, оба эти рассказа Куприна близки произведениям Бунина о крестьянстве. Образ интеллигента, ужаснувшегося деревенской темноте, разочаровавшегося в положительных возможностях крестьянской массы, также свидетельствовал, что Куприн здесь оказался в плену тех ложных представлений о крестьянстве, с которыми боролся в условиях междуреволюционного десятилетия Горький, противопоставивший им в повести «Лето» реалистические картины деревенского пробуждения.

Чуждый среде революционного пролетариата, далекий от революционного крестьянства, не увидевший верной народным массам интеллигенции, напуганный разгулом реакции, Куприн высказал неверие в социалистический идеал. В фантастическом рассказе «Королевский парк», получившем энергичную отповедь на страницах дооктябрьской «Правды», Куприн не только сеет иллюзии добровольного отказа верхов от власти, не только изображает социализм как царство скуки и застоя, но считает неизбежным анархический бунт человечества против высших форм общественного устройства. Подобные ложные представления о перспективах социализма отразились и в рассказе «Искушение» (1910).

Пессимистическим итогом завершилась фантастическая повесть «Жидкое солнце» (1912). Ученый, открывший новый мощный источник энергии, умышленно губит свое изобретение, чтобы не позволить буржуазии «употреблять жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы». Но эти верные мысли о превращении научных открытий при капитализме в орудие агрессивной войны, острая критика новейшего монополистического капитала, разоблачение захватнической политики империалистических стран не могли не снижаться конечным выводом о неизбежности буржуазного строя.

Незнание Куприным путей социальной перестройки направляло его интересы в мир индивидуалистических переживаний. Еще устами Назанского в «Посединке» Куприн воспел любовь к «недосягаемой, необыкновенной женщине» как единственное содержание и цель всей жизни. Эту исключительность любовного чувства, которое вытесняет в человеке все другие стремления, поэтизирует рассказ «Гранатовый браслет» (1911). Понимание любви как переживания индивидуалистического, уводящего от жизни было ошибочным. Но тем не менее «Гранатовый браслет» стал значительным явлением в литературе тех лет. Своего героя с его возвышенным, самоотверженным, жертвенным отношением к женщине Куприн выдвинул

в противовес типичному для декадентской литературы образу хищника и аморалиста. Рассказанная с проникновенным лиризмом купринская «повесть о безответной любви» противостояла писаниям Арцыбашевых, Каменских, Винниченко, которые воспевали половой разврат под видом «культы личности»¹.

В «Гранатовом браслете» Куприн еще раз с большой силой рассказал о красоте души простого человека и осудил прогнивший и бездушный мир «верхов». Положительные возможности демократического героя выявляет Куприн и в ряде других произведений 1910-х годов. В повести «Жидкое солнце» «умственный пролетарий» Диббл, представитель простых людей Англии, с его любовью к человечеству и верой в силу науки, противопоставит скептику лорду Чальсбери, который в итоге своего пути приходит к расизму и человеконенавистничеству.

Горячим протестантом против «окуровщины», обличителем собственника-мещанина выступает лесничий Турченко в рассказе «Черная молния» (1913). Искренний патриот и деятельный общественник, Турченко не только мечтает о свободном будущем своей страны, он по-своему старается приблизить его активной культурнической работой. Турченко насаждает леса, борется за сохранение зеленых массивов, учит крестьян лесоводству и орошению земель, укрепляет кустарниками речные берега и мечтает о «большой, неограниченной власти над лесами». Как и чеховским Астровым, им движет благородный пафос перестройки природы, стремление облегчить и украсить жизнь: «Ах, если бы мне да рабочие руки! — мечтает этот одинокий энтузиаст. —...через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы урожайность хлебов на пятьдесят процентов... в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире... Можно увлажнить посадкой леса и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес!»

Но призывы энтузиаста не получают поддержки. Постепенно Турченко осознает, что главный враг его смелых планов не только общественное равнодушие и косность обывателя, но и право собственника, власть частного предпринимательства, в условиях которой осуществление мероприятий всенародного масштаба является невозможным. Мучительно переживая неудачу своего культурничества, задыхаясь в обывательской трясине, купринский герой пессимистически смотрит в будущее, не зная пути к подлинному преобразованию жизни.

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 97.

Турченко с его общественной инициативой, с критическим отношением к существующему порядку явился исключением среди образов позднего Куприна. Положительные герои рассказов «Святая ложь», «По-семейному», «Каждое желание» с их безразличием к общественной жизни и жертвенными добродетелями напоминают «маленьких людей» в раннем творчестве Куприна.

Однако, как ни ограничены в своих возможностях демократические герои позднего Куприна, сочувственное изображение их свидетельствовало, что и в эти годы, когда декаденты прославляли разнузданного аморалиста или изломанного мистика, Куприн сохранил верность миру простых людей, великодушных и человечных.

Неслучайно именно в 1908—1911 годы писатель создает своих «Листригонов», цикл очерков о крымских рыбаках, где воспевают кипучую жизнь отважных тружеников моря. Настоящие герои — мужественные сердца, простые души — только у людей труда, — как бы напоминал Куприн этими очерками.

Стремление противопоставить себя литературе декаданса проявилось также и в эстетических высказываниях Куприна — в его рецензиях, письмах, статьях по русской и западноевропейской литературе. Декадентство во всех его разновидностях вызывает резко отрицательное отношение Куприна. С издевкой пишет он о художниках-импрессионистах, которые заполняют выставки изображениями «голых женщин зеленого цвета с фиолетовыми волосами». «Идиотские картины появились у нас на стенах, — жалуется герой рассказа «Мученик моды», — представьте себе разбивную яичницу, в которую взяли и вылили фунт малинового варенья. Это «Элегия с-dur». Зависимость современного искусства от вкусов пресыщенного буржуа вскрыта в стихотворении «Диссонансы» (1915), где Куприн высмеивает содержание и приемы поэзии эгофутуристов, пародируя причудливые ритмы и безвкусные тропы северянинских «поэз».

Калечение модернистами русской речи, этой «простой, здоровой и радостной музыки», было особенно ненавистно Куприну, чей язык попрежнему оставался классически чистым, простым. В ответ на заумное словотворчество декадентских «мэтров», Куприн зовет слушать народное слово, в котором видит единственный источник слова литературного.

Великий русский язык и русскую классическую литературу Куприн оценивает как свидетельство духовной мощи и нравственных сил народа. Тьма реакции не может погасить светочи, зажженные великими русскими писателями. «И глядя на них сквозь черную ночь, когда наша многострадальная родина раздирается злобой,

унынием... и унижением, мы все-таки твердо верим, что не погибнет народ, родивший их, и не умрет язык, их воспитавший», — писал Куприн в статье «Наше оправдание», посвященной памяти Л. Толстого.

О продолжавшейся творческой связи с Толстым-художником свидетельствовал рассказ «Изумруд». Посвященный «памяти несравненного пегого рысака Холстомера», «Изумруд» близок своему образцу и по теме и по художественным приемам. Куприну здесь удалось проникнуть во «внутренний мир» животного, воспроизвести его «психологию», мастерски передать обаяние первозданного, живого существа. «Изумруд» уступает по своей обличительной силе толстовскому рассказу. Но вся судьба «прекрасного жеребчика» в рассказе Куприна служит уликой против погубившего его фальшивого и корыстного общества людей.

Обаяние толстовского мастерства явилось для Куприна темой яркого рассказа «Анафема» (1913). Безыскусственное, гениально простое слово автора «Казаков» очаровывает даже того протодьякона, которому пришлось предавать анафеме «отпавшего от христианской веры боярinna Льва Толстого». Издеваясь над комедией «отлучения» Толстого и пародируя церковную службу, Куприн устами героя рассказа пропел «многая лета» великому художнику, бросая смелый вызов церковникам-мракобесам. «Анафема» была запрещена цензурой, а тираж поместившего ее журнала «Аргус» был уничтожен.

Противостоял Куприн либерально-буржуазной критике и в оценках творчества Горького. В лекциях о современной литературе, читанных в 1915 году, Куприн восхищался «могучим, красочным талантом Горького», считал Горького и его талантливых последователей, Серафимовича и Тренева, преемниками идеалов русской литературы. Восхищение Куприна вызвал «Матвей Кожемякин» Горького. Свою связь с творчеством Горького Куприн подчеркнул и в одном из очерков цикла «Лазурные берега», и в горьковском образе «черной молнии» из одноименного рассказа. В свою очередь Горький, как явствует из его писем, живя на Капри, продолжал следить за работой Куприна, положительно оценивал «Гранатовый браслет».

Близки Горькому и трезвые критические оценки буржуазной литературы, высказанные Куприным в статьях о западноевропейских писателях. Так, в статье «Реднард Киплинг» Куприна звучит осуждение позиции Киплинга, барда империалистической Англии. Среди произведений Джека Лондона Куприн выделял те, где показана трагическая «история вымирания индийских племен под на-

тиском американской... культуры» (очерк «Джек Лондон»). В написанной под впечатлением смерти Марка Твена статье «Умер смех» Куприн развивал горьковскую тему вырождения буржуазного искусства. Со смертью Марка Твена из книг западных авторов исчезает обличительный смех и воцаряется «французский анекдот из области спальни и клозета» или «оперетка, в которой все герои поменялись нижним бельем». Куприн выступает против оглуляющей западной юмористики и кинематографа, где царит «шарж и пародия на шарж».

Критика Куприным искусства буржуазного упадка и его стремление продолжать традиции русской классической литературы были прогрессивны. Однако на позициях высокого реализма писатель удержаться не смог. Творчество Куприна после революции 1905 года еще раз доказывало неизбежную связь между утратой художником прогрессивного мировоззрения и снижением его реализма. Существенные противоречия действительности не получают теперь у Куприна реалистического отображения. Социально-политические вопросы писатель либо вовсе не поднимает в своих произведениях, либо облачает их в фантастическую, утопическую форму («Королевский парк», «Жидкое солнце»). Для дальнейшего развития Купринным фантастического жанра характерно полное исчезновение социальной проблематики. Бездумной развлекательной фантастикой насыщена натуралистическая по своей идее повесть «Каждое желание». Своеобразной формой ухода от гражданской проблематики были те многочисленные анекдоты, безделки, пародии, которые Куприн нередко печатал в те годы в «Синем журнале», «Пробуждении» и в других изданиях, поставлявших невзыскательному обывателю бездумное, легкое чтение.

О кризисе реализма позднего Куприна говорит и неудача его большой повести «Яма», писавшейся с 1908 по 1915 год. Посвященная «юношеству и матерям» повесть, по мысли Куприна, должна была стать грозным обличением растленной буржуазной морали, заклеить комедию брака в мещанско-собственническом мире, раскрыть правду о проституции, этой страшной «яме» современной жизни. Но эти цели не были достигнуты Куприним. Классовые корни проституции как порождения эксплуататорского порядка Куприн вскрыть не сумел. Ошибочно выводя причины существования проституции из низменных побуждений человеческой природы, писатель таким образом приходил к выводу о неистребимости этого зла. Ложная идея повлекла за собой и художественную неполноценность этой повести. В «Яме» нет полнокровных реалистических характеров, и это обесценивает собранные в ней наблюдения. В «Воскресении» Л. Толстого быт домов терпимости не описывается. Но сама

история жизни Масловой является обличением тех условий, которые швыряют женщину в «яму», и того общества, чья «мораль» мирится с существованием проституции.

История судьбы героя отсутствует в «Яме»; повествование сводится к натуралистической фиксации явлений, превращается нередко в протокольное описание, которое чередуется с резонерскими монологами.

Неумение объяснить социальные явления классовыми причинами определило ошибочную позицию Куприна в годы империалистической войны.

Характеризуя отношение непролетарских элементов к начавшейся войне, Ленин писал, что «широкие слои городской «средней» буржуазии, буржуазной интеллигенции, лиц свободных профессий и т. д. — по крайней мере, в начале войны — тоже заражены были шовинизмом»¹. Настроениям шовинизма поддался в 1914 году и Куприн. Будучи, как офицер запаса, призван в армию (в ноябре 1914 г.), автор «Поединка» с «радостным волнением» надевает мундир и спешит в Финляндию, в расположение своей части. В 1916 году Куприн принимает предложение Л. Андреева печататься в газете крупной империалистической буржуазии «Русская воля», в которой отказались участвовать Короленко, Горький, Блок.

В многочисленных газетных анкетах, интервью, стихотворениях, в статьях «Герои», «О жестокости» и других Куприн обнаруживает полное непонимание позиции царской России в войне, призывает к защите отечества, уповает на то, что очищающие страдания войны сблизят народ и интеллигенцию. Куприн колеблется между прежней своей позицией пацифиста и надеждами на освободительную роль войны 1914 года.

Сатирической пьесой «Лейтенант фон Пляшке» (1914) Куприн заклеил кайзеровскую военщину, мечтающую о мировом господстве. В гротескной фигуре фон Пляшке, уверенного в том, что мир существует для Германии, Германия — для Пруссии, а Пруссия — для непобедимого прусского лейтенанта, Куприн подметил характерные черты идеологии германского милитаризма, воспринятые позже фашистами. Но Куприн ошибался, считая кайзеровскую Германию единственным виновником империалистической войны, не видя за спиной борющихся стран крупных империалистических хищников, сцепившихся в битве за передел мира. Эти ошибочные взгляды Куприна в годы войны подверглись критике М. Горького.

Честный художник, Куприн видел, что война обнажает новые

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 288.

и новые отталкивающие стороны прогнившего царского режима. Меткие зарисовки темных дельцов, разбогатевших на военных поставках, спекулирующих на вызванных войной затруднениях проходят в рассказах «Канталупы», «Гога Веселов», «Гад». Нравы беспринципной буржуазной прессы остроумно высмеяны в рассказе «Интервью». В анекдоте «Папаша» сатирически разоблачен бюрократ. Разложившейся общественной верхушке Куприн стремится противопоставить солдат, моряков, летчиков. Организовав с первых же дней войны в своем доме госпиталь для солдат, Куприн близко сходитя с ранеными, дружит он и с летчиками Гатчинского аэродрома, с которыми его связывает давний интерес к воздухоплаванию. Он много пишет об авиации, пропагандирует ее достижения, стараясь разбудить в людях интерес к осуществлению этой «лучшей вечной мечты человечества» и славит первых авиаторов, положивших «в цемент великого будущего свою кровь и раздробленные кости» («Сны», «Сашка и Яшка», «Потерянное сердце», очерки «Сергей Уточкин», «Люди-птицы» и многие другие). Но в рассказах этого времени Куприн ошибочно сбивается на возвеличение всякой отваги, всякого рекорда, в чем бы он ни состоял (рассказы «Люция», «Удав», «Капитан», очерк «Поэт арены»).

Февральская революция застала Куприна в Гельсингфорсе. Вернувшись в Петроград, Куприн вступает в партию народных социалистов, участвует в редактировании энесовской газеты «Свободная Россия». В дни Октябрьской революции Куприн, выступая в печати, высказывал, наряду с искренней ненавистью к сломенному старому порядку, неверие в созидательные силы народа, развивал буржуазно-обывательскую критику революции и социализма. В то же время писатель пытался отмежеваться от врагов революции, протестовал против клеветы на Советскую Россию в западной печати, положительно оценивал деятельность большевистских руководителей. С политическими заметками, лекциями, интервью Куприн выступает в 1917—1918 годах чаще, чем с художественными произведениями. В немногочисленных рассказах этого времени («Гусеница», «Скворцы», «Медведи», «Беглецы», «Мысли Сапсана 36-го» и др.) он перепевает либо автобиографические эпизоды, либо темы раннего творчества. Неосуществленными остаются замыслы больших вещей Куприна («Нищие», «Братья», «Желтый монастырь»), о которых широко оповещала печать.

Незадолго до 1917 года Куприн дописал к своему рассказу «Черная молния» следующие заключительные строки: «Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясику! Но Черная молния! Черная молния! Где же она? Ах, когда же она засверкает?»

В этих словах писатель как бы обобщил смысл всего своего творчества, сильного в отрицании и беспомощного в поисках положительных путей.

В начале 1919 года Горький, собирая писательские силы вокруг издательства «Всемирная литература», привлек туда и Куприна. Перевод «Дон-Карлоса» и вступительная статья к изданию А. Дюма были последними литературными работами, сделанными Куприным в России. В 1919 году Куприн оказался на территории, занятой белыми, а затем эмигрировал из СССР.

В первые годы жизни в Париже Куприн был близок к эмигрантам, печатал в их изданиях антисоветские статьи. Но эмигрантское болото не смогло поглотить большого русского писателя. Уже со середины 20-х годов в его письмах и статьях видно стремление размежеваться с окружением, нарастает критика эмиграции, остро чувствуется тоска по родине. В 1926 году в парижских газетах появилось интервью с Куприным, где писатель горько сожалеет, что уехал из СССР. Оторванностью от России объясняет он свою малую творческую продуктивность. «Ненастоящая жизнь здесь. Нельзя нам писать здесь», — жаловался Куприн французскому газетчику. О своем скудном и одиноком существовании за границей писал он из Парижа и старому другу, спортсмену Ивану Заикину.

Жизнь Запада почти не отразилась в произведениях Куприна-эмигранта. Писатель воспринимает ее глазами путешественника и фиксирует лишь экзотнику быта, национальный типаж, красочные картины народных праздников («Пунцовая кровь», «Юг благословенный»). Наблюдая французскую природу, он все чаще «сквозь нее» вспоминает родной русский пейзаж, возвращаясь мечтой к тем далеким временам, когда ходил на глухарей в Полесье и слушал птиц в куршинских лесах («Золотой петух», «Ночь в лесу»). Избегая рисовать «чужую и чуждую жизнь», Куприн предпочитает писать легенды, жития, сказки («Медвежья молитва», «Кисмет», «Принцесса-дурнушка», «Лесенка голубая»). В рассказах о русской старине («Одиорукий комендант», «Царский писарь», «Царский гость из Наровчата», «Домик») Куприн проявляет себя тонким мастером стилизации, знатоком старинного русского слова, хотя эти рассказы не свободны от идеализации отдельных исторических деятелей (например, Скобелева).

Многие из эмигрантских произведений Куприна проникнуты тоской по родине («Жанетта», «Шестое чувство» и др.). Письмо к М. К. Куприной-Иорданской, полное резких выпадов против русской эмиграции, Куприн заканчивал словами, в которых сквозит тоска по России: «Работать для родины можно только там,

долг честного человека вернуться туда». Куприн долго не решался просить у советского правительства разрешения вернуться в СССР. В конце мая 1937 года Куприн приехал в Москву.

Советская общественность радушно встретила старого писателя. Новый читатель приветствовал автора «Поединка» на улицах столицы. «Душа отогревается от ласки этих незнакомых людей», — говорил растроганный Куприн. Отдыхая и лечась в Голицыне под Москвой, он встречался с бойцами Красной Армии, с писателями и молодежью. Куприн был потрясен переменами, происшедшими в старой Москве, его восхищало грандиозное строительство, а больше всего — советская молодежь и дети. Им и собирался посвятить старый писатель свои будущие книги. Но тяжкая болезнь не дала осуществить творческие планы. 25 августа 1938 года Куприн умер.

Много лет назад, пытаясь заглянуть в будущее своей родины, Куприн мечтал «о временах, когда грамотная, свободная, трезвая и по-человечески сытая Россия покроется сетью железных дорог, когда выйдут из недр земных неисчислимые природные богатства, когда наполнятся до краев Волга и Днепр, обводнятся сухие равнины, облесятся месчаные пустыри, утучнятся тощая почва, когда великая страна займет со спокойным достоинством то настоящее место на земном шаре, которое ей по силе и по духу подобает».

В художественную культуру этой новой, свободной России по праву входят лучшие произведения А. И. Куприна.

И. Корецкая

ДОЗНАНИЕ

Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником à la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели: фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное случаю — степенное и даже несколько высокомерное выражение.

Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку. Тарас Гаврилович — «зуб» по уставной части, непоколебимый авторитет для всего галунного начальства — пользовался в полку весьма широкою известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель

производил впечатление маленького, сильного крепыша с наклоном к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переключки пил чай с молоком и горячей булкой, сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольноопределяющимися своей роты о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство.

— Как... тебя... зовут? — спросил нерешительно Козловский.

Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинаясь, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль «за усердие» и левый рукав был расшит золотыми и серебряными углами.

Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полной обстоятельностью.

— Расскажите... расскажите... кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Чорт знает что такое!

Чорта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянув вперед шею. Показание свое он начал неизбежным «так что».

— Так что, ваш бродь, сижу я и переписываю наряд. Внезапно прибегает ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает: «Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». — «Как так неблагополучно?» — «Точно так, говорит, у молодого солдатики сапоги украли и тридцать копеек денег». — «А зачем он, спрашиваю, сундука не заперал?» Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундучке замок должен находиться. «Точно так, говорит, он заперал, только у него взломали». — «Кто взломал? Как смели? Эт-та что за безобразие?» — «Не могу знать, господин фельдфебель». Тогда я пошел к ротному командиру и доложил: так и так, ваше высокоблагородие, и вот что случилось, а только меня в это время в роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера.

— Это все, что тебе известно?

— Точно так.

— Ну, а этот солдат, Байгузин, хороший он солдат? Раньше его замечали в чем-нибудь?

Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.

— Точно так, в прошлом году в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татары — самая несообразная нация. Потому что они на луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится...

Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера.

Благодаря недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий, твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса:

— Ну, и что же теперь будут с Байгузиным делать?

Тарас Гаврилович ответил с самым благосклонным видом:

— Надо полагать, что Байгузина, ваш бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспрерывно выдерут. Потому как он штрафованный.

Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и, неожиданно приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера.

Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить «громко, смело и притом всегда правду». От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал: «точно так», а в противном случае — «никак нет».

— Ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Еси-паки голенища?

Пискун закричал, что он не может знать.

— А может быть, это Байгузин сделал?

— Точно так, ваше благородие! — закричал Пискун радостным и уверенным голосом.

— Почему же ты так думаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он крал-то?

— Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил: «Чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит: «Я хлеб свой ищу».

— Значит, ты самой кражи не видал?

— Не видал, ваше благородие.

— Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был? Может быть, это вовсе и не он украл?

— Точно так, ваше благородие.

С ефрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязнее, и потому, назвав его ослом, дал ему для подлиси дознание.

Пискун долго пристраивался, громко сопя и высовывая кончик языка от усердия, и, наконец, вывел с громадным трудом: *ефре Спиридонъ Пескуноу*.

Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного по роте — Пискуна, который видел Байгузина околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой.

Наконец денщик впустил обоих татар. Они вошли робко, с преувеличенной осторожностью ступая сапогами, с которых кусками валилась на пол осенняя грязь, и остановились у самой двери. Козловский приказал им подойти ближе; они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги.

— Фамилии! — обратился к ним офицер.

Кучербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и «оглы», и «гирей», и «мирза».

Байгузин молчал и глядел в землю.

— Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию, — приказал Козловский переводчику.

Кучербаев повернулся к обвиняемому и что-то проговорил по-татарски ободрительным тоном.

Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая обезьянка, и проговорил быстро хриплым и равнодушным голосом:

— Мухамет Байгузин.

— Точно так, ваше благородие, Мухамет Байгузин,— доложил переводчик.

— Спроси его, *взял* он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово «украл».

Кучербаев снова поворотился и заговорил, на этот раз вопросительно и как будто бы с оттенком строгости. Байгузин поднял на него глаза и опять промолчал. И на все вопросы он отвечал таким же печальным молчанием.

— Не хочет говорить,— объяснил переводчик.

Офицер встал, прошелся задумчиво взад и вперед по комнате и спросил:

— А по-русски-то он совсем ничего не понимает?

— Понимает, ваше благородие. Он даже говорить может. *Эй! Харандаш, корáli мингá*¹,— обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом.

— Никак нет, ваше благородие, не хочет.

Наступило молчание. Подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика.

— Иди. Ты мне больше не нужен... Ступай, ступай!

Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству. И каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами

¹ Корáli мингá — значит по-татарски — смотри на меня. Харандаш — приятель. (Прим. автора.)

по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными.

— Отчего ты не хочешь отвечать? — спросил подпоручик, остановившись перед солдатиком.

Татарин молчал, не поднимая глаз.

— Ну, чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенища. Так, может быть, это и не ты вовсе? А? Ну, говори же, взял ты или нет? А?

Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна.

Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три.

Козловскому стало очень жаль этого ребенка в большой солдатской шинели. Впрочем, это было почти неуловимое, странное и совсем новое чувство для Козловского, который не умел в нем разобраться. Как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский. В чем заключалась эта вина, он не сумел бы ответить, но ему сделалось бы стыдно, если бы теперь кто-нибудь напомнил ему, что он недурен собой и ловко танцует, что его считают неглупым, что он выписывает толстый журнал и имеет связь с хорошенькой дамой.

Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца.

— Послушай, Байгузин, — заговорил Козловский искренним, дружелюбным голосом. — Бог ведь у нас у всех один. Ну, аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить. А? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. А сознаешься — все-таки не так. И я за тебя попрошу. Честное слово, уж я тебе

говорю, что просить буду за тебя. Понимаешь, одно слово — аллах.

Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стукали с настойчивым и скучным однообразием.

— Ну, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто, как человек, а не как начальник. Начальник йок. Понимаешь? У тебя отец-то есть? А? Может быть, и инай есть? — прибавил он, вспомнив случайно, что по-татарски мать — инай.

Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул вверх гирьки часов и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темноту осенней ночи.

И вдруг он вздрогнул, услышав сзади себя хриплый и тонкий голос:

— Инай есть.

Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть инай, милая старушка инай, от которой он отделен пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что в сущности без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим; вспомнил ее теплую ласку и нежную заботу; вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он забывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству царицы небесной.

Между подпоручиком и молчаливым татаринном вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему обе руки на плечи.

— Ну, послушай, голубчик, говори правду, украл ты или не украл эти голенища?

Байгузин потянул носом и повторил точно эхо:

— Украл голенища.

— И тридцать семь копеек украл?

— Тридцать семь копеек украл.

Подпоручик вздохнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про «инай» и довел Байгузина до сознания. Раньше по крайней мере хоть не было ни одной прямой улики.

«Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А те-

перь уж по одному чувству долга приходится его сознание записать. Да полно, долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его как рецидивиста уж непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и «иной» у него тоже есть. И, кроме того, долг ведь это «тягучее понятие», как говорит капитан Греббер. Ну, а если его еще раз будут допрашивать? Не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство. И для какого чорта только я про эту «иной» вспомнил! Ах ты бедняга, бедняга! Я же тебе своим сочувствием беды наделал».

Козловский приказал татарину отправиться в казармы и притти завтра ранним утром. До этого времени он надеялся обдумать все дело и остановиться на каком-нибудь мудром решении. Самым лучшим ему все-таки казалось обратиться к кому-нибудь из особенно симпатичных начальников и объяснить все подробности.

Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным.

— Беспременно его выдерут, ваше благородие,— ответил денщик убежденным тоном.— Да как же его не драть, когда он у солдата последние голенища тащит? Солдат — человек богу обреченный... Где же это видано, чтобы у своего брата последние голенища воровать? Скажите пожалуйста!..

* * *

Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов — все было покрыто тонким белым налетом инея; деревья казались тщательно напудренными.

Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинными деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими фигурами. Сначала казалось, что в этой муравьиной суете не было никакого порядка, но опытный взгляд уже мог заметить, как в четырех концах двора образовались четыре кучки и как постепенно каждая из них развертывалась в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бежали, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с сумками.

Через несколько минут роты одна за другой блеснули и звякнули ружьями и одна за другой вышли к самому центру двора, где стали лицами внутрь в виде правильного четырехугольника, в середине которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока в квадрате.

Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда.

Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Эта шинель имела свою историю и была известна в полку под двумя названиями: постового тулупа и бабушкина капота. Впрочем, никто так не называл этой шинели при самом владельце, потому что все побаивались его длинного и грязного языка. Он говорил, как всегда, грубо, с малорусским произношением, с широкими жестами, никогда не подходившими к смыслу разговора, с тем нелепым строением фразы, которое обличает бывшего семинариста.

— Вот у нас в бурсе так действительно драли. Хочешь не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны! Так и говорили: «Правда твоя, миленький, правда,— а, ну-ка, ложись...» Коли виноват — в наказание, а не виноват — в поощрение.

— Ну этому сильно, должно быть, достанется,— вставил батальонный командир: — солдаты воровства не прощают.

Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал.

К батальонному командиру подбежал сбоку фельдфебель и вполголоса доложил:

— Ваше высокоблагородие, ведут этого самого татар-чонка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Среди наступившей тишины резко слышались тяжелые шаги трех человек. Байгузин шел в середине между двумя конвойными. Он был все в той же непомерной шинели, заплатанной на спине кусками разных оттенков; рукава попрежнему болтались по колено. Поля нахлобученной

шапки опустились спереди на кокарду, а сзади высоко поднялись, что придавало татарину еще более жалкий вид. Странное производил впечатление этот маленький, сгорбленный преступник, когда он остановился между двумя конвойными, посреди четырехсот вооруженных людей.

С тех пор, как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и очень смешанные впечатления. Ему ничего не удалось сделать для Байгузина, потому что начальство на другой же день заторопило его с дознанием. Правда, помня данное татарину слово, он обратился к своему ротному командиру за советом, но потерпел полную неудачу. Ротный командир сначала удивился, потом расхохотался и, наконец, видя возрастающее волнение молодого офицера, заговорил о чем-то постороннем и отвлек его внимание. Теперь Козловский чувствовал себя не то что предателем, но ему казалось, будто он обманом вытянул у Байгузина признание в воровстве. «Ведь это, пожалуй, еще хуже,— думал он,— растрогать человека воспоминанием о доме, о матери, да потом сразу и прихлопнуть». Сейчас, слушая рыжего офицера, он особенно сильно ненавидел его неприятную грязную бороду, его тяжелую, грубую фигуру, замасленные косички его волос, торчавших сзади из-под шапки. Этот человек, повидимому, с удовольствием пришел на зрелище, виновником которого Козловский считал все-таки себя.

Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова:

— Ша-ай! На кра-а...

Козловский вытащил до половины из ножен шашку, вздрогнул, точно от холода, и потом уже все время не переставал дрожать мелкою нервной дрожью. Батальонный скользнул глазами по строю и отрывисто крикнул:

— ...ул!..

Четырехугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями и замер.

— Адъютант, прочтите приговор полкового суда,— произнес батальонный своим твердым ясным голосом.

Адъютант вышел на середину. Он совсем не умел ездить верхом, но подражал походке кавалерийских офице-

ров, раскачиваясь на ходу и наклоняясь вперед корпусом при каждом шаге.

Он читал с неправильными ударениями, неразборчиво и растягивая без надобности слова:

— Полковой суд N-ского пехотного полка в составе председателя, подполковника N., и членов такого-то и такого-то...

Байгузин попрежнему, понурясь, стоял между двумя конвойными и лишь изредка обводил безучастным взглядом ряды солдат. Видно было, что он ни слова не слышал из того, что читалось, да и вряд ли хорошо сознавал, за что его собираются наказывать. Один раз только он шевельнулся, потянул носом и утерся рукавом шинели.

Козловский также не вникал в смысл приговора и вдруг вздрогнул, услышав свою фамилию. Это было в том месте, где говорилось о его дознании. Он сразу испытал такое чувство, как будто бы все мгновенно повернули к нему головы и тотчас же отвернулись. Его сердце испуганно забилося. Но это ему только показалось, потому что, кроме него, фамилии никто не расслышал, и все одинаково равнодушно слушали, как адъютант однообразно и быстро отбарабанивал приговор. Адъютант кончил на том, что Байгузин приговаривается к наказанию розгами в раз-мере ста ударов.

Батальонный командир скомандовал: «к ноге!» и сделал знак головою доктору, который боязливо и вопросительно выглядывал из-за рядов. Доктор, молодой и серьезный человек, первый раз в жизни присутствовал при экзекуции. Теряясь и чувствуя себя точно связанным под сотнями уставленных на него глаз, он неловко вышел на середину батальона, бледный, с дрожащею нижнею челюстью. Когда Байгузину приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать, он медленно, неумелыми движениями расстегнул шинель и мундир. Доктор, избегая глядеть ему в глаза, с выражением брезгливого ужаса на лице выслушал сердце и пульс и пожал в недоумении плечами. Он не заметил даже малейших следов обычного в этих случаях волнения. Очевидно было, что или Байгузин не понимал того, что с ним хотят делать, или его темный мозг и крепкие нервы не могли проникнуться ни стыдом, ни трусостью.

Доктор сказал несколько слов на ухо батальонному командиру и быстро, тем же неловким шагом ушел за строй. Откуда-то выскочили человек пять солдат и окружили Байгузина. Один из них, барабанщик, остался в стороне и, подняв кверху правую руку с палкой, глядел выжидательно на батальонного командира.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее.

Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги. Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего: «раз!» Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал: «два!» Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные, серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства,— никакой мысли нельзя было про-

честь на этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения; всего мучительнее было для него — не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял и за что его бьют — не знает толком; он пришел на службу, наслышавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. Первым его движением после сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было — бежать к родным белебеевским нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища. Из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку: отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились, и опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам.

— Що ж,— говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие, несуразные жесты,— разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали... От, дали б мне того татарина, я б ему показал эти голенища! А то не дерут, а щечкуют.

У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще больше раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо:

— Вы уже сказали раз эту гадость и... и... не трудитесь повторять!.. Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!

Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами.

— Вы, верно, молодой человек, нездоровы? Чего вы ко мне прицепились?

— Чего? — закричал визгливо Козловский. — Чего?.. А того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите...

Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдясь своих слез...

КУСТ СИРЕНИ

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его наспившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый,

но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно, ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к чорту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, чорт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поруч-

чик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется,— аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор... А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...

Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости,— возразила Вера, топнув ногой.— Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

— Посадить?.. Кусты?..— вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду,— надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпу и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый.. Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться: не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем,— сказала она, наконец, решительно.

— Но куда же мы поедem? — пробовал протестовать Алмазов.— Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

— Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий бриллиант,— возмущалась Вера,— он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем,— сказал он, бросая на чашечку весов слеющую вещь,— мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьею за ужин. Он

был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего,— согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать,— скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю. ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, колн забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и

умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...

И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

— Я тоже, глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...

НЕГЛАСНАЯ РЕВИЗИЯ

Иван Петрович был еще сравнительно молод, но уже в достаточной степени строг и справедлив. Всегда безукоризненно и солидно одетый, с серьезным лицом, украшенным модною бородкой-клинушком, с бесстрастным взглядом холодных глаз, с почтительной, хотя и твердой речью — он был гордостью начальства, надеждою всего департамента.

Этому многообещающему молодому человеку не доставало только эффектного случая, чтобы окончательно завоевать будущее, но так как он находился под особенным покровительством судьбы, то и случай не замедлил представиться. Его превосходительство пришел однажды в департамент мрачнее тучи и быстрыми шагами проследовал в кабинет, таинственно кивнув по дороге головою Ивану Петровичу.

Иван Петрович вошел твердой поступью, с приятным и открытым видом, исполненным немедленной готовности. Начальство обвило его рукою за талию и полудружески, полупокровительственно увлекло в амбразуру окна. Здесь оно с расстановкой надело пенсне, приподняло кверху брови, сделало нижней губой значительную мину и взяло двумя пальцами пуговицу сюртука своего подчиненного. Все эти признаки, ничего не значащие в глазах непосвященного, предвещали, однакоже, что разговор примет несколько таинственный характер.

— ...Мм... Видите ли, голубчик, — произнес генерал внушительным тоном, — вам предстоит очень серьезное

поручение... Пусть оно будет вашим, так сказать, э... как это называется?.. Ну, подводным камнем, что ли?

Иван Петрович понял настоящую мысль своего начальника и молча поклонился.

— Получил я на-днях анонимное письмо. Извольте взглянуть... Раскрывают злоупотребления... Вы понимаете, каково наше положение? С одной стороны, нельзя без внимания оставить, но ведь и гласности предать невозможно. А? Напишешь, да потом и сам не рад будешь, как всякая гадость на свет божий ползет. Вы понимаете, в этом деле так, сбухты-барахты нельзя ведь; нужно уметь... э... как это называется?..

— Лавировать, ваше-ство?

— Именно, именно... Вот вы и поезжайте... Не то, чтобы официально, а, так сказать, негласным образом... Ну, да вы сами знаете, как там... Письмецо это с собой захватите на всякий случай!.. В нем довольно обстоятельно все изложено...

Иван Петрович поехал. Путешествие было продолжительное, и он имел довольно времени, чтобы обдумать план предстоящих действий. В душе он очень одобрял начальство за то, что оно именно ему, а не кому другому, поручило это щекотливое дело. Это не докладную какую-нибудь составить: приходится лавировать между оглаской и правосудием. Иван Петрович в подобных случаях пезаменим (по правде сказать, это был первый случай в его жизни, потому что он очень недавно вышел из одного привилегированного заведения). Он наблюдателен и неподкупен. В сущности ведь каждого человека подкупить легко: иного разжалобишь тем, что прикинешься дурачком, другого смягчишь обедом и партией винта, третьего собьешь с толку апломбом. Иван Петрович неподкупен. Он сдержан, сух, отлично знает человеческую натуру, и его провести не так-то легко. Ему, конечно, нет никакого дела до этого Персюкова, который не показывал к зачету какие-то там переходящие суммы; главное — восстановить нарушенную идею справедливости и порядок.

Правда, в предстоящем деле придется проверять какие-то книги и суммы. Это тоже неприятная сторона поручения. Иван Петрович слышал, что есть на свете двойная и итальянская бухгалтерия, слышал также, что слово «транспорт» пишется внизу страницы и подчеркивается

толстой чертой, но дальше его сведения по этой части не простирались. И разве это так уже важно? Вовсе нет. Нужно только суметь сразу взять этого таинственного незнакомца, Персюкова, в руки, ошеломить его сухостью, величественным беспристрастием, и он сам покажет, что нужно. Что ни говорите, а знание людей — громадное преимущество в руках того, кто им умеет пользоваться.

Таким образом, первые сутки дороги Иван Петрович был только справедлив, но на вторые благодаря тряске и утомлению он стал и озлоблен. Неизвестный Персюков сделался его личным врагом, подлежащим немедленному и самому жестокому распекаанию.

Наконец поезд остановился. Иван Петрович взял свой изящный чемоданчик (он не любил тратиться на то, что мог сделать сам), надел пенсне и, изобразив на лице совершенно такую же значительную мину, какую он привык видеть ежедневно на лице своего генерала, вышел на платформу.

Он не успел еще пройти десяти шагов, когда за ним послышался чей-то голос:

— Если не ошибаюсь, Иван Петрович?

И удивленный Иван Петрович не успел обернуться, как тот же голос продолжал:

— Имею честь представиться: Персюков.

Голос был сладкий, умиленный и в то же время и решительный. Иван Петрович увидал перед собою грузную, мужественно нескладную фигуру и квадратное лицо, украшенное носом в самом отечественном стиле — в виде хорошего картофеля. Толстые губы складывались в заискивающую улыбку, а глаза смотрели из-под нависших верхних век умно и пытливо.

— Не узнаете меня? — продолжал между тем Персюков, завладев рукою Ивана Петровича и горячо пожимая ее. — А ведь мы с вами однажды в Петербурге встретились.

— Извините, пожалуйста, но я положительно не помню...

— Ах, как же это? Молодой человек, а память вам изменяет! Я имел удовольствие встретить вас, если не у Трухачевых, то уже во всяком случае у Протопоповых.

Хотя *«молодой человек»* порядком покоробил Ивана Петровича, но на всякий случай он счел не лишним изобразить на своем лице нечто вроде приятного изумления.

«Чорт его знает, может быть, и в самом деле встречались».

Натиск, произведенный на него врагом, был так неожидан, так не согласовался со всеми теоретическими правилами ведения войны, что Иван Петрович был быстро сбит с точки. Инициативой действия и нравственным верхом самовольно завладел, и, надо сознаться, завладел довольно грубо, предприимчивый Персюков.

Долговязый малый в синем казакине со шнурами и лампасами принял из рук Ивана Петровича его багаж, а через две минуты и сам Иван Петрович сидел рядом с Персюковым в легких санках, которые мчала пара великолепных серых рысаков, покрытых синей сеткой.

Персюков заливался соловьем; оказывается, что он выехал на вокзал нынче совершенно случайно, «проветриться». Он очень рад, что имеет возможность избавить уважаемого Ивана Петровича от неприятной необходимости мерзнуть на почтовых.

Уважаемый Иван Петрович больше молчал. Его всегда несколько тошнило от быстрой езды. Он кутался в поднятый воротник пальто и внутренно пилил себя. Во-первых, на приветствие Персюкова ему следовало ответить как можно суше и уже ни под каким видом руки не подавать. Во-вторых, он недоумевал, каким образом все это так быстро случилось, и у него не нашлось ни одного слова, чтобы *«осадить»* и *«обрезать»*. В нежном тоне и в любезных манерах Персюкова было что-то до того уверенное и определенное, что ему сопротивляться было положительно невозможно. Иван Петрович махнул рукой и предал себя мысленно судьбе.

Кучер сдержал великолепных рысаков перед домом Персюкова. Дом был небольшой, очень скромный, без претензии на шик, но, видимо, построенный согласно с требованиями разумного и долговечного комфорта, как строились в старое доброе время барские дома.

Персюкова внезапно осенила счастливая мысль.

— Знаете что,— обратился он трогательно умильным голосом к Ивану Петровичу,— может быть, вы у меня немного передохнете после дороги?

— Нет, нет, покорнейше вас благодарю,— энергично запротестовал Иван Петрович,— мне никак нельзя... у меня там... дела разные.

Это была последняя его попытка заявить свою самостоятельность. Персюков так сладко и так решительно настаивал, что опять пришлось подчиниться. Несмотря на все отказы и извинения, Иван Петрович был почти снят с саней и введен в дом, причем его поддерживали под локти: с одной стороны хозяин, а с другой — долговязый малый в синем казакине, несший чемодан.

— Милости прошу в мою берлогу, — сказал Персюков, введя своего гостя в небольшую, уютную комнату. — Вы на меня не будете в претензии, если я вас на одну минутку оставлю?

Он вышел. Оставшись один, Иван Петрович внимательно оглядел «берлогу». Комната была обставлена умело и со вкусом и, как видно, с большими средствами. Дорогая мебель красного дерева, обилие редких растений, несколько приличных масляных картин придавали ей солидный тон.

Иван Петрович теперь начинал сознавать, что преувеличенная любезность Персюкова, продолжительное его отсутствие — словом, все клонится к тому, чтобы окончить дело обедом. Положим, он мог этого избежать: стоит только взять шапку и уйти. Но раз уже сделан целый ряд ошибок — одна лишняя вовсе не имеет особенного значения. Это рассуждение тем более успокаивало Ивана Петровича, что он начинал уже чувствовать порядочный голод. Он бы, пожалуй, и совсем успокоился, если бы его не мучил трудно разрешимый вопрос: действительно ли приехал Персюков на вокзал случайно, или его кто-нибудь раньше уведомил?..

Через несколько минут показался в дверях хозяин в сопровождении высокой, пышной брюнетки.

— Позвольте вас познакомить с моей женой...

Иван Петрович поклонился так, как всегда кланялся с дамами: одною головой, не сгибая спины. Этот поклон выходил очень красиво у одного знакомого ему кавалергарда.

— Мне при первом же знакомстве приходится перед вами извиниться, — сказал он с обычной ему в этих случаях серьезной вежливостью. — Я только что с дороги...

— И вам совсем не в чем извиняться, — возразила она. — По-моему, чем проще, тем лучше. Помните только, что вы не в Петербурге, а в гостеприимной провинции...

Она засмеялась. Голос у нее был грудной, низкий, очень приятный, а смех звучный и заразительный, но без всякой вульгарности. Перебрасываясь незначительными фразами с Иваном Петровичем, она не спускала с него глаз, и по этому взгляду, любопытному и приветливому, немного ласкающему, он заключил, что произведенное им впечатление было самое благоприятное.

Между тем исчезавший поминутно Персюков опять появился в комнате и пригласил обоих к столу.

— Не обессудьте за скромную трапезу,— говорил он, заставляя с почтительной фамильярностью пройти к двери первым Ивана Петровича, который немного стеснялся.

Теперь, впрочем, Иван Петрович сопротивлялся совсем слабо. *Скромная трапеза* состояла из жареных устриц, бульона с какими-то удивительными пирожками, таявшими во рту, холодной осетрины, дичи и замечательной толстой белой спаржи. Стол был сервирован безукоризненно, и на нем, несмотря на зимнее время, красовался большой букет гелиотропов, «из собственной *оранжерейки*», как пояснил потом, самодовольно улыбаясь, Персюков. За столом прислуживал благообразный лакей, не в нитяных, а в свежих замшевых перчатках. Вина подавались тонкие и дорогие, не из тех хересов помадеристее, которые так любит хлебосольная и падкая на разноцветные ярлыки провинция, но настоящие, выдержанные французские вина. С каждым глотком душистой влаги Иван Петрович чувствовал, как в груди его таяло справедливое негодование и умолкали грубые перуны.

Разговор за обедом весьма естественно вертелся около железнодорожных путешествий и приключений. Это дало возможность Ивану Петровичу рассказать несколько интересных эпизодов из своей прошлогодней поездки за границу. Он умел рассказывать очень недурно и не без юмора, но, как все большие себялюбцы, оживлялся только тогда, когда говорил о самом себе.

По тому, как его слушали, сказывалась разница между мужем и женой. Персюков слушал рассеянно: то с преувеличенным вниманием, то совсем не слушал, поглощенный какими-то мыслями. Если Иван Петрович обращался к нему лично, то он суетливо поддакивал или смеялся и тотчас же добавлял:

— А вот попробуйте-ка этого лафита. Как вы находите, есть букет?

Валентина Сергеевна не перебивала его ни одним словом; когда он обращал голову по ее направлению, она поднимала глаза от тарелки и внимательно глядела в его глаза, изредка переводя их на губы, что в свою очередь тотчас же невольно делал и Иван Петрович. Это его смущало, но в то же время было ему почему-то приятно. Когда она смеялась — смех сначала загорался в ее глазах, а потом уже трогал губы, что очень шло к ней и придавало улыбке интимный оттенок.

Обед кончился. Валентина Сергеевна предложила пить кофе в другой комнате.

— Вот мой любимый уголок, — сказала она, показывая на место около камина.

Камин, около которого стояли удобная козетка и два кресла, совсем был отгорожен от всей комнаты: с одной стороны — пианино, с другой — широколистыми, раскидистыми пальмами и трельяжем из какого-то вьющегося растения. В этот уголок был подан кофе, ликер и ящик с сигарами.

Иван Петрович, неподкупная совесть которого уже теперь не заявляла о своем существовании, глубоко уселся в кресло, втянул полусжатыми губами несколько капель густого, захватывающего дух ликера, посмаковал его на языке и принялся медленно, со знанием дела обрезать дорогую сигару.

Зимний вечер заметно темнел. Красный свет камина трепетал на полу, на зеркалах, на потолке; длинные, причудливые тени от пальм дрожали и перепутывались; вместе с теплом сладкая лень охватила тело.

Иван Петрович провел сигарой под носом и вдохнул расширенными ноздрями ее ароматный дым. Присутствие красивой женщины, которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше, вместе с блаженным состоянием послеобеденного покоя совсем его размягчили.

— Удивительное дело, — сказал он медленным голосом, — ничто так не сближает людей, как камин и полутьма. Отчего это?

Персюкова совсем не было видно в тени между растениями. При последних словах он нагнулся, чтобы наполнить рюмку Ивана Петровича и поглядеть, мимоходом,

на его лицо. Взгляд был внимательный, испытующий, как у осторожного доктора, который прописал больному новую микстуру и наблюдает за ее действием. Однако он ничего не сказал, опять ушедши в тень пальм.

— Я думаю, это оттого,— отвечал сам себе Иван Петрович,— что у всех сидящих вместе у камина одно и то же настроение. Мирное такое, задумчивое, немного грустное, может быть...

— Домашние пенаты незримо присутствуют,— отозвался откуда-то голос Персюкова.

Иван Петрович повернул голову и даже прищурился, но из света не разглядел Персюкова, сидевшего в темноте.

— Может быть, и пенаты,— согласился он.— А главное — это обстановка. На дворе ни светло ни темно; по-польски это называется «шара година» — очень удачное выражение, по-моему. В комнате пахнет так хорошо (он понюхал воздух), немного духами, немного лаком и деревом от рояля. Тепло, полутьма, и дремлет, и вспоминается что-то, и куда-то манит, ждешь чего-то неизвестного...

Он остановился и поглядел на Валентину Сергеевну. Ему казалось, что она оценит его манеру говорить и опять проведет по его лицу своим ласкающим взглядом. Но она не шевельнулась, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками и закинутой на спинку козетки головой. Из всего ее лица ему видны были только ее рот и подбородок.

— Чего-то таинственного, поэтического хочется,— продолжал Иван Петрович, неотступно глядя на освещенную часть лица Валентины Сергеевны и думая в то же время о том, что наверно этот «бестия» Персюков следит за ним самим с таким же вниманием из своего темного угла.— Жаль, что я не знаю хороших стихов. Или тоже хорошо бы теперь слушать длинную чудесную сказку, но только верить ей, как, бывало, верилось в детстве.

Он замолчал. В комнате слышалось только слабое хрюстение угольев.

Персюков вдруг быстро поднялся, тихо отодвинул свой стул и, мягко ступая по ковру, подошел к Ивану Петровичу.

— Вы меня простите, пожалуйста, Иван Петрович,— сказал он,— мне сейчас нужно съездить по одному делу.

— Скоро ты приедешь? — лениво спросила Валентина Сергеевна, не оборачивая головы.

— Не знаю, голубчик. Через час, может быть через два. Дело уж очень спешное. Ты постарайся, чтобы Ивану Петровичу не было скучно... Я не прощаюсь...

Он вышел на цыпочках, тихо и плотно затворив за собою дверь.

Пока не стихли его шаги, ни гость, ни хозяйка не сказали друг другу ни слова. Ему казалось, что в этой тишине между ними устанавливается непреодолимая близость.

Она заговорила первая.

— Вот вы сейчас сказали, что пахнет лаком, и потом — про детство. Скажите, случалось с вами, что иногда какой-нибудь звук или запах вдруг вызовет целую картину из прошлого? Особенно яркие воспоминания, связанные с запахом. Знаете, когда я слышу запах этого самого свежего лака, мне сейчас же представляется такая картина: я еще совсем, совсем маленькая, лет семи или восьми, и стою в углу, лицом к стене. Может быть, я была наказана, не знаю. Стена покрашена коричневой краской, густо так... и я отдираю эту краску ногтем. Солнце в это время садится; на полу четырехугольные пятна от окон, совсем багровые... Откуда-то, неизвестно, пахнет не то лаком, не то яблоками. И вы не можете себе представить, как вдруг грустно делается и хорошо... Точно жаль, что нельзя этого воротить... С вами бывает что-нибудь подобное?

Она обернула к нему голову лениво грациозным движением. Глаза ее, только что оторвавшиеся от огня, еще не потеряли неопределенного, мечтательного выражения.

Иван Петрович только теперь вполне постиг и оценил красоту ее лица, бледного, чувственного и чрезвычайно нежного, с низким лбом и яркими губами...

У Ивана Петровича было тяжелое, грубое и однообразное детство, о котором он не любил никогда вспоминать. Но на вопрос Валентины Сергеевны он отвечал утвердительно, и так живо и радостно, как будто бы она в нем возбудила самые дорогие воспоминания... Его почти бессознательно тянуло перевести разговор на почву неясных мыслей и тонких ощущений.

Опять, так же как и за обедом, их глаза встретились. Она закусила нижнюю губу; Ивану Петровичу опять стало неловко и приятно.

— Зачем вы глядите так долго? — сказала вдруг Валентина Сергеевна шопотом.

Но сама она глаз не отвела; наоборот, в них загорелся вызывающий, дерзкий смех.

И, внезапно рассмеявшись громко, она поставила свою ладонь между его и своими глазами и так близко к его лицу, что он ощутил ее душистую теплоту. Его сердце сжалось и дрогнуло. Он хотел поцеловать эту теплую ладонь, но не решился; когда же она отняла руку, он досадовал на себя, зачем этого не сделал.

Камин начинал потухать. Красный полумрак становился гуще. С каждой минутой делалось все более жутко и приятно. Теперь нужно было или окончить эту неловкость, или совершенно отдаться минуте и случаю.

— А я не ожидал, что вы слышали мои слова, — сказал Иван Петрович, чтобы только нарушить напряженное молчание. — Мне показалось — вы, глядя на огонь, совсем ушли в себя.

Она перевела глаза на огонь, и лицо ее опять стало мечтательным.

— О нет, я вас внимательно слушала... Вы чуть-чуть не выразили одной моей любимой мысли... Только не досказали...

— Хотите, я теперь доскажу?..

— Нет, вы не угадаете... Это трудно. Ну, хорошо, говорите.

— Вы задумались над моими словами, что иногда хочется чего-то неизвестного... непохожего на повседневную прозу, что бы шло, может быть, вразрез... вразрез... ну, хоть даже с общественной моралью...

— А дальше?..

— Дальше? А вы мне скажите раньше, угадал я?

— Не совсем... Впрочем, я все равно теперь своей мысли не скажу... Все-таки, что же дальше? Ах, нет, нет, подождите, у меня на этот счет есть своя целая философия... Только я боюсь, что вам будет неинтересно...

Ему было настолько интересно, что он встал с кресла и сел рядом с ней на козетку.

— Видите ли... — начала Валентина Сергеевна быстро

и немного волнуясь.— Но я боюсь за свой язык, совсем не умею им владеть... Видите ли: ведь никому неизвестно, что было с человеком до его рождения... Я вот закрываю глаза и стараюсь припомнить, что было раньше. И ничего, ничего нет, кроме вечной темноты. Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, не думаю. И вдруг, откуда-то, точно полоса света, жизнь. Я живу, понимаю, могу говорить, двигаться. Но ведь это все только на мгновение. Наступит старость, потом смерть... А потом? Опять та же неизвестность, опять, стало быть, тот же холод, то же ужасное «ничто». Для чего же это мгновение света? Кто мне растолкует его смысл? Что это? Случай? Ошибка чья-то? Недодуманность? Ведь не могу же я думать, что кто-нибудь подшутил над всем человечеством? Я читаю и слышу постоянно, что все мы, люди, одарены разумом и волей, и это нас связывает в братскую семью. Ах! Ничего этого я не вижу и не хочу признавать! Я вижу толпу, бессмысленную, раздавленную страхом смерти, толпу, которая судорожно цепляется за этот кусочек жизни и света... Мне самой становится страшно и противно!

Она замолчала и нагнула низко голову, приглядываясь к огню.

Иван Петрович следил за ее словами и движениями, точно наэлектризованный. Он видел, как высоко поднималась ее волнующаяся грудь, видел, как посреди полутьмы сверкало красное отражение огня в ее широко раскрытых глазах, как трепетали и раздувались ее тонкие, розовые от камина ноздри... Он заметил, как мягкие складки платья определяли форму всей ее стройной, крепкой ноги. Теперь в этой душной и теплой атмосфере, пахнувшей мускусом, вино, выпитое Иваном Петровичем за обедом, сразу кинулось ему в голову.

Он заметил, что ее рука, слабо белевшая в темноте, небрежно лежала на козетке. Почти бессознательно, робея и волнуясь, он положил свою руку рядом, так, что их мизинцы соприкоснулись.

«Заметила она или нет? Если отнимет руку, я извинюсь», — думал Иван Петрович.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста,— сказал он вслух,— вы меня очень заинтересовали.

— Если так ужасна смерть,— продолжала Валентина Сергеевна,— и так страшно коротка жизнь, зачем же я

ее буду делать скучной и безрадостной? Я хочу веселья и смеха,— мне угрожают общественным мнением; я хочу наслаждения,— мне говорят про долг и про обязанности! Да для чего же все это? Кому нужна моя исполнительность перед этим самым долгом? Ну, представьте себе, что я иду куда-нибудь далеко пешком и несу за спиной тяжелый мешок с драгоценностями. По дороге я наверно узнаю, что у меня мой мешок завтра же отнимут. Ну, разве я не благоразумно поступлю, если я сброшу с плеч эту обузу, продам ее, расшвыряю деньги на ветер и хоть день, хоть час буду счастлива, как хочу?

Иван Петрович жадно ловил ее слова, переводя их тотчас же языком разговаривавшей в нем страсти. Он уже не сомневался, что аллегория о мешке заключала в себе некоторым образом «разрешение на свободу дальнейших действий». Удивительною казалась лишь головоломная быстрота, с которой приближалась развязка. «Что это? Каприз избалованной женщины? Мгновенная вспышка долго, может быть, сдержанного желания?» — размышлял он, между тем как все его тело охватывала и сладко сжимала сердце тянущая истома, знакомая ему истома, похожая на страх и на ожидание. «Или это явление психоза, болезненного расстройства нервов? Или — один из тех случаев, когда женщины из минутной вспышки гнева и ревности делают то, в чем потом каются в продолжение всей жизни?»

Иван Петрович все сильнее прижимал ее мизинец; она руки не убирала.

— Значит... значит, вы верите только в наслаждение? — спросил он тихо, совсем замирающим голосом.

Темнота сделала его смелым и безумным. Он взял решительным движением ее маленькую, нежную и сильную руку и крепко сжал в своей руке. Она вздрогнула всем телом и сделала движение, чтобы вырвать руку, — он пожал ее вторично.

Тогда внезапно она вся обернулась к нему и, отвечая порывистым пожатием, прошептала:

— Да, да, в одно наслаждение...

Иван Петрович также в свою очередь повторил это слово, но вряд ли теперь и он и она понимали, что говорили. Слова теряли свой смысл, оставались только звуки, произносимые страстным, волнующимся шопотом.

— А если вам мешают препятствия?

— Я их не знаю.

— Без них нельзя. Ну, скажите, например, что бы вы сделали, если бы вам кто-нибудь сильно понравился?

— Я заранее не могу сказать. Вероятно, поступила бы так, как велит сердце.

— Но вы замужем.

Она несколько секунд помолчала, и, когда заговорила, ее голос звучал глухо.

— Ведь мы окружены такою непроницаемою сетью выдуманных условий, что из них выбраться нет сил. И зачем об этом говорить? Зачем сопротивляться тому, что манит? Помните, у кого это?

Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,
Без упреков, без пустых сомнений!

— Дальше, дальше,— просил Иван Петрович, когда она сразу замолчала, точно спохватившись,— ради бога, продолжайте.

Она вздохнула так глубоко и прерывисто, как будто ей нехватало воздуха, и кончила еле слышно, но выразительно оттеняя слова:

— Что здесь думать? Я твоя, ты — мой.
Все забудь, все брось, мне весь отдайся!
На меня так грустно не гляди!
Разгадать, что в сердце, не пытайся!
Весь ему отдайся — и иди!

Ее глаз ему не было видно; он хотел рассмотреть их выражение. Но, когда он совсем близко нагнулся к ней, аромат ее тела и духов опьянил его. Не помня себя, он обвил руками ее стан; сцепив пальцы с пальцами, притянул к себе ее тело и стал целовать ее губы, глаза, шею...

Валентина Сергеевна в ту же секунду очнулась...

— Оставьте меня, пустите,— воскликнула она сердито и, как видно, с намерением громко.— Вы сошли с ума!

Ивана Петровича не испугали бы гневные слова. Он, как большинство мужчин, инстинктивно держался того мнения, что сопротивление делает только слаще триумф победителя, и, кроме того, был слишком взволнован для беспрекословного послушания. Но перемена, происшед-

шая в Валентине Сергеевне за какие-нибудь две секунды, просто ошеломила его. С лица сбегало выражение неги, оно стало сразу холодным и несколько грубым; голос, вместо ленивых бархатных нот, зазвучал холодно и крикливо... Он невольно опустил руки.

Валентина Сергеевна тотчас же встала, подошла к двери и, приотворив ее, крикнула:

— Маша! Подайте огня!

Иван Петрович раздраженно пересел на свое кресло, поправляя распутившиеся волосы. Ему вдруг припомнился весь сегодняшний позорный день, и жгучая краска стыда прилила к его щекам.

«Околпачили, околпачили!» — твердил ему какой-то внутренний злорадный голос, и Иван Петрович молчал как убитый, не поворачивая головы, хотя и чувствовал на себе вопросительный взгляд Валентины Сергеевны.

Горничная внесла лампу, поставила ее на стол и вышла, скользнув любопытно-лукавым взглядом по обоим собеседникам.

Валентина Сергеевна, заслоняясь рукой от света, резавшего глаза, упорно глядела на Ивана Петровича, так что он невольно поднял голову. Ее лицо выражало тревогу. Он понял ее мысли, и напряженная, злая улыбка искривила его губы.

Она нерешительно подошла к нему и дотронулась до его волос.

— Зачем вы сердитесь, если сами виноваты? Ну, а если бы кто-нибудь вошел?

Она хотела загладить свою, может быть, невольную жестокость.

Чувство стыда возрастало в несчастном Иване Петровиче, принимая невыносимые размеры. Он дорого дал бы теперь за возможность быть как можно дальше от этой кокетливой комнаты и от этой красивой женщины, казавшейся ему пять минут назад такой очаровательной.

Наконец он не выдержал.

— Скажите, пожалуйста, скоро ваш *супруг* вернется? — спросил он грубо и не глядя на нее.

— Не знаю, — отвечала она удивленным и обиженным тоном, — можно послать за ним, если хотите.

Видеть в настоящую минуту Персюкова было бы для Ивана Петровича еще горшей мукой. Он уже давно в уме

решил *плюнуть на всю эту дурацкую ревизию, где он держал себя таким подлым образом.* Нужно было только выдумать приличный предлог, чтобы ретироваться.

Предлог, как всегда бывает в подобных случаях, не выискивался, и Иван Петрович пошел напролом.

— Простите меня,— сказал он, вставая и глядя в землю,— и извинитесь за меня перед вашим мужем... К сожалению, я не могу больше ожидать... Мне нужно тут... я должен еще поспеть в одно место.

Она его не удерживала, молча протянув ему руку. Она начинала понимать и отчасти переживать его состояние.

Он взял свою шляпу, дошел до дверей, но внезапно остановился, подумал секунду или две и вдруг быстро подошел к ней.

— Вот еще что, Валентина Сергеевна,— произнес он деланно-суровым голосом,— передайте от меня вашему мужу, чтобы он осторожнее обращался с переходящими суммами. На него анонимные доносы пишут!

Этим предупреждением Иван Петрович окончательно подписал свой позор. *Эффектный случай* был безвозвратно потерян.

Он стоял и кусал молча свои розовые, выхоленные ногти; его терзали неловкость и бешенство. Ему хотелось плакать, хотелось надавать себе пощечин, хотелось до конца испытать всю горечь стыда и сладость самобичевания.

— Скажите еще вашему мужу, прекрасная Клеопатра,— воскликнул он голосом, в котором дрожали победа и сдержанные рыдания,— пусть он ежедневно благодарит создателя за то, что напал на такого *пижона*, как я; иначе ему пришлось бы очень плохо... Мне поручено было произвести негласную ревизию... Как видите, я блестящим образом выполнил возложенное на меня поручение... Имею честь кланяться... Вы не думайте, что я могу вам быть вредным... Если хотите, я в ваших руках оставляю против себя письменный документ...

С этими словами, едва сдерживая нервные слезы, которые жгли ему горло, он кинул на стол анонимное письмо и, не прощаясь, надев в комнате шляпу, бегом выбежал в переднюю.

Едва за ним затворились двери, как из другой комнаты показался Персюков. Его квадратное лицо сияло самой невинной радостью. Он никуда и не думал уезжать и прекрасно слышал все происходившее.

Он подкрался неслышными шагами к своей жене, занятая чтением письма, осторожно обвил ее рукою за шею (отчего она слабо вскрикнула), отогнул ее голову назад и медленно, с чувством, запечатлел долгий, благодарный поцелуй на ее ярких губах.

Эти нежные супруги давно уже привыкли понимать друг друга без лишних слов.

К СЛАВЕ

Когда я вышел в 18** году из земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза... Общество в таких городишках известное: мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой; все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватая всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтекки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось.

Приехал к нам новый следователь.

Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровывать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умении слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые лучшие перлы души высыпаете, а он знай себе головой кивает да погмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел до колик смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрзные анекдоты.

Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольно, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей.

Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули, но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцветную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался! И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист четвертого класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и «с ужасными жестами отчаяния» (так стояло в пьесе) кричу ей: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре,— я трепещу от негодования!» Как дойдет до этого места,—любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы, как манекен, держитесь! Видите сами,—здесь ремарка: «жесты отчаяния». Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать!»

Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное — чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценарист выталкивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, ворочаю глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я, к ужасу своему, чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Ну, вот не могу припомнить и — баста! Прошла минута, может быть две,—для меня этот ужас длился целые года. Я стою, окаменев в отчаянной позе, и молчу, и ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец из суфлерской будочки до меня доносится: «О, проклятие, каждый раз...» Я делаю последнее, невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре, я попишу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом, а перековер-

канная фраза обратилась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал.

Таким образом я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и, кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драматическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову, другая утверждала, что нарочно для этой роли заказала платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось... В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку, по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу.

Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, точно оссиановская тень, и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение? Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами иногда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых,—ни один образ не застелет этого неуловимо своеобразного тонкого образа. Такою именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять себе ее наружность: гибкое, худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначесм, жил открыто. Я часто в продолжение многих лет бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких платьицах выровнялась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно: и простая, внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то

дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, чорт возми, всего этого, глубокого, передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь.

Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрасиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело за живое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности виденного, слышанного и пережитого. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.

Столкнулись мы как раз перед ее выходом, в тесном коридоре, между стеной и кулисами. На ней было белое простенькое платье, схваченное в талии голубой ленточкой. Страшно изменилось ее лицо под гримом: оно стало как будто незнакомым, черты его выяснились резче и красивей, глаза, подведенные и ярко блестевшие от внутреннего волнения и от темной краски, казались неестественно громадными.

— Что,— спросил я ее,— жутко приходится?

Она прижала обе руки к груди и посмотрела на меня каким-то просящим о помощи взглядом.

— Страшно... Тут вот так и бьется... Я, кажется, откажусь выйти на сцену. Ну, куда я дену свои руки и ноги? Боже мой, какое мученье!

Позвал ее сценарист. Я стал прислушиваться. Вместо веселых вступительных слов ее роли, вместо звонкого хохота, требуемого пьесой в этом месте, я услышал робко срывающийся, как будто чужой голос и невольно зажмурил глаза. Стыдно мне как-то стало за Лидочку и страшно. Я знал ее нервы и самолюбие и понимал, как она сама страдает от своей неловкости.

Несколько томительных секунд я ничего не слышал, а когда, наконец, боязливо взглянул из бокового марлевого окна на сцену, то так и окаменел от удивления. Лидочка не только оправилась,— она была неузнаваема. Каждое движение ее отличалось непринужденной и уверенной грацией, каждое слово произносила она именно так, как его произносят в обыденной жизни. Впрочем, не

на одного меня Лидочка произвела такое впечатление. Я окинул глазами зрительную залу и увидел все давно знакомые лица оживленными и улыбающимися.

Вся роль Лидочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десятках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых. Когда она, напевая какой-то мотив и подбрасывая на ходу большой резиновый мяч, направилась к дверям, вслед ей раздались крики и шумные аплодисменты. Она вернулась и растерянно, немного по-институтски раскланялась. Ее вызвали еще и еще — раза четыре, кажется. Я стоял у дверей и отворял их. Она вышла задыхающаяся, со сверкающими глазами, с румянцем, выступившим даже из-под грима, с пересохшими от волнения губами. На мое поздравление она протянула мне обе руки.

Весь этот вечер Лидочка была чрезвычайно, даже, пожалуй, неестественно оживлена и часто смеялась нервным, беспричинным смехом. Я раза два подходил к ней и рассказывал что-то. Она слушала меня, не перебивая, но отвечала невпопад, глядела на меня неотступно, но в ее глазах сияло такое мечтательное счастье, губы складывались в такую блаженную улыбку, что мне становилось понятно, как далеко были ее мысли от моих рассказов. Она смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдаленный предмет, на какое-нибудь пятнышко на обоях: самого пятнышка не видишь, а оторваться от него невозможно.

Так и Лидочка, должно быть, все еще видела перед собой подмостки, возвышающие ее над сотнями голов, слышала оглушительный, пьянящий плеск аплодисментов, и ее опять тянуло к тому прекрасному сну, от которого она только что проснулась.

Среди публики Лидочкин дебют положительно произвел эффект, и многие поспешили в тот же вечер высказать ей это в самых лестных выражениях. Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию.

Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое, и при том — так настойчиво, как трудно было от нее ожидать. Она даже осунулась и побледнела. Что она тогда чувствовала, как рабо-

тало ее воображение — господь ее знает; никому она об этом не говорила. Но, вероятно, в ее душе именно тогда и родился целый мир новых надежд и ощущений, имевший громадное влияние на всю ее последующую жизнь.

Наконец поставили и спектакль. Я был в числе зрителей — за кулисы меня больше уже не пустили, потому что пошли в театре строгие порядки, и спектакль ставил настоящий заправский актер не без имени.

Лидочка, правда, не избегла общей участи дебютантов: говорила иногда слишком тихо, делала большие паузы... Но зато я видел настоящую Офелию, тот самый прелестный женственный образ, который нарисован Шекспиром. Она такой и явилась перед нашими глазами: нежной и робкой, любящей и в то же время жертвующей любовью ради придворного этикета и безусловного преклонения пред отцовскою моралью. Она не героиня: в ней скорее больше чисто детской доверчивости и податливости. По натуре она пряма и не умеет лгать, но привычка постоянно держаться на виду делает то, что любовь ее никому не кидается в глаза. Никому и в голову не приходит догадаться, что совершается в ее душе, до тех пор, пока долго скрываемая внутренняя борьба не разражается внезапным безумием. Тогда только каждый начинает понимать, что

Все это яд глубокой скорби сердца.

Лидочке устроили шумную овацию. Кто-то поднес ей громадный венок из живых цветов, перевязанный широкими розовыми атласными лентами. Я сам бесновался не хуже других, но все-таки успел заметить по той же блаженной улыбке на Лидочкиных губах, по загоревшимся щекам, что у нее закружилась голова.

Я ее проводил домой поздно ночью, счастливую, обессиленную. Мы шли под руку. Было то время весны, когда только начинает распускаться сирень. В теплой дремлющей темноте ночи точно разливалась какая-то душистая, сладостная нега, точно веяло в лицо чье-то дыхание и чьи-то жаркие губы, казалось, вот-вот приблизятся к губам.

Мы с Лидочкой шли очень скоро и далеко оставили за собой остальное общество. Я нагнул и поглядел на нее сбоку: ее головка была закинута кверху, и глаза

устремлены на мигающие серебряные звезды. Почувствовав мой взгляд, она вздрогнула и вдруг крепко прижала к себе мою руку.

— Холодно? — спросил я вполголоса.

— Нет, — говорит, — не холодно, а я от своих мыслей вздрогнула. Я об вас сейчас думала.

Страшно мне и сладко от ее слов сделалось.

— Обо мне. Неужели — обо мне?

— Да, о вас. Скажите, умеете вы вставать рано утром? Часов в шесть?

Я отвечал, что я не только в шесть часов готов встать, но даже... не помню, право, что я такое именно сказал; надо думать, что-нибудь очень глупое.

Мы в это время подошли к ихней калитке и остановились, чтобы подождать отставших. Она оглянулась назад, потом приблизила ко мне лицо и проговорила быстрым шопотом:

— Завтра... в нашем саду... Рано, рано... часов в шесть, в половине седьмого... Папа встает поздно...

И опять крепко пожала мне руку.

Надо сознаться, господа, что я в то время был чрезвычайно молод, непростительно молод. Домой дошел я точно на крыльях и, ей-богу, не могу сказать, спал или не спал в эту ночь. Бывает такое состояние: не то спишь, не то бодрствуешь, не то гредишь. Это — когда на душе есть какое-нибудь особенное, крупное впечатление. Понятное дело, я тогда же догадался, что уже давно влюблен в Лидочку (хотя, говоря откровенно, раньше этой любви не замечалось ни малейшего признака). Думал я всю ночь, как увижу ее завтра робкую, краснеющую за свою вчерашнюю смелость, как я ей скажу, что полюбил ее с первого взгляда... Вот только меня останавливало, в какой форме сделать предложение? «Позвольте предложить вам руку и сердце?» Безобразно: точь-в-точь приглашение на контрданс. «Хотите ли вы, Лидия Михайловна, быть моей женой?» Гм... Оно как будто бы и ничего, но для молодой девицы, пожалуй, немного деловито. А? Словом, в этом пункте я ни на каком ясном решении не остановился.

В шесть часов утра, точно от внезапного толчка, я проснулся с мыслью о Лидочке и о предстоящем свидании. Через несколько минут, вздрагивая от холода и

молодого восторга, чувствуя свежесть и упругость во всех мускулах, я уже перепрыгивал одним махом забор Лидочкина сада.

Утро, как нарочно, выдалось прохладное, золотое, веселое, звонкое такое. Трава лоснилась, точно яркий зеленый шелк, и на ней там и сям дрожали, играя разноцветными огнями, крупные алмазы росы. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую чащу липовой аллеи, ложились на песке дорожки круглыми движущимися пятнами. Мне казалось, что и птицы пришли в безумный восторг от этого чудесного утра, так они возились в кустах, так щебетали, свистели и чирикали. Боже мой! А у меня-то, у меня-то как в душе пелось, сколько во мне трепетало радости и силы!.. Был ли я когда-нибудь счастливее, чем в эти мгновения? Едва ли.

Я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка. Она шла очень скоро, склонив, по своей милой привычке, голову немного вниз. Ее тоиенькая, изящная фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел ей навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна; темные кудри, наскоро причесанные нетерпеливою рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!

Лидочка протянула мне обе руки. Я нагнулся, поцеловал сначала одну, потом другую. Она отняла руки и сказала:

— Пойдемте дальше, здесь могут увидеть.

Я пошел следом за Лидочкой, любясь на красивые движения ее тела и прислушиваясь к легкому шуму ее платья, между тем как мое сердце билось восторженно и беспорядочно. Мы зашли в самый дальний угол сада, где так буйно разрослись высокие кусты сирени, что под ними всегда стояла темная и душистая прохлада. Лидочка как будто в нерешительном раздумье остановилась, стала на цыпочки и схватила рукой густую, упругую кисть белой сирени. Разрезной рукав капота упал вниз, и я увидел ее тонкую розовую руку с девически острым локтем. Ветка не поддавалась. Лидочка нахмурила брови, перегнула ветку так, что она хрустнула, и

с усилием дернула к себе. Листья задрожали, и на нас вдруг посыпался целый дождь крупных холодных капель росы. Я не выдержал. Аромат сирени, бодрящая свежесть раннего весеннего утра, розовая обнаженная рука в двух вершках от моих губ — все это внезапно лишило меня соображения.

— Лидия Михайловна, — сказал я дрожащим, нерешительным голосом, — знаете ли вы, что я... что вы... что я...

Лидочка обернулась ко мне. Должно быть, мой тон был ей очень понятен, но на ее лице я не прочел ничего, кроме удивления и затаенного смеха, дрожавшего в уголках губ. Моя решимость так же быстро пропала, как и появилась.

— Что же вы замолчали? — спросила, наконец, Лидочка.

— Я... я... я собственно ничего не говорю... Вы вчера сделали мне честь почтить меня своим доверием... Если вам нужна услуга беззаветно преданного человека (я по-прежнему начал оправляться от смущения), то я буду вас просить выбрать непременно меня.

Лидочка понюхала цветы, поглядела на меня исподлобья и спросила:

— И я могу *во всем* на вас положиться, как на верного друга? Ах, какое бы это было в самом деле счастье; нет ничего святее и бескорыстнее дружбы!

Должно быть, Лидочка заметила мои разочарованно вытянутые губы и сжала их надо мной. Она не знала, конечно, как бескорыстные друзья-женщины деспотически обращаются с друзьями-мужчинами. Я поспешил дать целый десяток самых красноречивых уверений. К своему горю я уже начинал понимать, куда клонится дело.

— Если так, — сказала Лидочка, — то вы мне можете оказать очень большую услугу. Я решила совсем отдаться театру. Пусть это, впрочем, останется покамест только между нами. Конечно, мне раньше всего надо учиться и учиться, я это знаю, и вот поэтому-то мне и необходим опытный и строгий руководитель. Найдите для меня хорошего профессора и заслужите мою вечную признательность.

— Но как же, Лидия Михайловна, — пробовал я возразить, — ведь вам известно, что у нас здесь не только профессора...

— Знаю, знаю,— перебила нетерпеливо Лидочка,— я все это уже обдумала. Скажите, правда, что вы на-днях собираетесь в Москву?

— Да, собираюсь, но, если вам угодно, могу и остаться. Дело не к спеху.

— Нет, непременно поезжайте и — как можно скорее. Через неделю я там буду с папой, и вы, если хотите, устройте для меня все. Хорошо? Можете вы это сделать? Ну вот, спасибо вам большое. А теперь идите, идите; папа сейчас проснется. И помните: самая строгая тайна!

Я ушел повеся голову. У меня сейчас же явилась мысль, как это я мог подумать, что я влюблен в Лидочку? Разве я влюблен? Просто, я — ее друг, преданный, верный друг. Отец ее — добрый человек, но он ничего, кроме своего казначейства, знать не хочет; мать всю жизнь возится с нервами и докторами. Необходим же ведь Лидочке друг и советник, который бы охранял ее детскую неопытность.

Все-таки, как я ни старался утешить себя соблазнами солидной роли друга, а в душе у меня ныло и сверлило чувство обиды. В то зеленое время я не успел еще прийти к заключению, что судьба осудила меня на вечное безбрачие. Я, кажется, и на свет божий родился с какими-то особенными качествами старого холостяка. Сколько девушек поверяло мне свои маленькие тайны, сколько дам избирало меня «первым другом»! А между тем, едва только мое сердце прилепится к какой-нибудь избраннице, — она меня сразу и огоршит. Либо поручение даст к счастливому сопернику, либо изберет меня сосудом излияния всяких нежных, но для меня совсем неинтересных чувств. Отчего это, господа, так постоянно выходило? Ведь не урод я, не калека, не женоподобен, не скажу, чтобы и глуп был особенно. Неужели взаправду есть несчастные, вылепленные из специально холостяцкого материала? А впрочем, чорт побери, может быть, это вовсе и не несчастье!

Встретились мы с Лидочкой в Москве. Обо всем сговорились заранее. Я и о профессоре к ее приезду разузнал. Он в то время уже сошел со сцены, но фамилию его вы, наверно, слыхали от ваших отцов и матерей. Это был известный артист — Славин-Славинский.

Однажды Лидочка сказала своим, что отправляется к тетке, а на самом деле встретилась со мною в Пассаже,

и мы вместе отправились куда-то на Пресню. С трудом отыскиали дом, где жил Славинский: скромная квартира с дешевенькими обоями и низкими потолками. На стенах гигантские венки с надписями на лентах: «Горе от ума», «Кин, или гений и беспутство», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и дальше «нашему дорогому», «высоко-талантливому», «великому артисту» и т. д. и т. д. Кроме нас, в гостиной дожидался бритый господин в пенсне с морщинистым презрительным лицом и две дамы, обе немолодые и некрасивые. Вышел к нам, наконец, профессор. Физиономия старого льва: косматая грива седых волос, смелые глаза и широкие ноздри. Он перекинулся двумя словами с бритым господином, сухо поклонился обеим дамам, затем подошел к нам и остановился, вопросительно глядя на Лидочку. Он своим долголетним чутьем догадывался, что весь смысл нашего визита находится в ней.

— Чем могу служить? — спрашивает.

Лидочка мгновенно сделалась пунцовой. Воображаю, сколько она еще раньше перемучилась, представляя себе этот вопрос. Но уже никакие смущения не могли ее поколебать. Она справилась с собой и сказала, глядя прямо в глаза профессору:

— Я бы желала... учиться у вас... драматическому искусству.

Я думаю, всякому из вас, господа, случалось: когда долго готовишь в уме какую-нибудь фразу, — непременно она в конце концов станет или худой, или пошлой, или напыщенно неестественной.

Славинский поглядел внимательно на Лидочку и сказал:

— Будьте добры, зайдите в мой кабинет.

Лидочка умоляюще оглянулась на меня. Профессор тотчас же поклонился и жестом уступил мне дорогу. Мы уселись в кресла, а Славинский принялся ходить из угла в угол.

— Для чего собственно угодно вам брать уроки? — спросил он после некоторой паузы. — Желаете ли вы поступить на сцену, или так... для себя?

Лидочка собралась с силами и отвечала смелым, но в то же время срывающимся от волнения голосом:

— Да, я хочу поступить на сцену.

— Хорошо-с. **А** вам известно, что вы можете поступить только **на** провинциальную сцену?

— Известно. Но я полагаю, что впоследствии...

Славинский покачал головой с таким видом, как будто бы хотел сказать: я эти слова слышу уже не в первый, может быть даже не в сотый раз...

— Скажите мне правду, милая барышня, вы, верно, играли в любительских спектаклях?

— Играла.

— И, верно, имели, к вашему несчастью, успех?

— Да, имела некоторый... Но почему же к несчастью?

Славинский остановился перед ней с ласковой улыбкой на своем красивом лице.

— Потому, милое мое дитя, что нет в мире ни одного такого сильного яда, как слава. И слаще его тоже ничего нет. Он даже в самых маленьких дозах действует неотразимо, хотя и медленно. Шумный успех, аплодисменты, напечатанная фамилия,— и вы отравлены, и вас неудержимо тянет к еще и еще большему приему сладкого яда. Я ведь знаю, что теперь совершается в вашей милой головке: тысячная публика, слезы восторга, оглушительный рев толпы и слава, слава... Ох, тернист, тернист этот путь! Что стесняться? Я не без чести прошел по нему, но дайте мне начать снова жизнь, я предпочту стать купцом или ремесленником. Верьте мне, я уже старик, и, наконец, лгать нет для меня никакого расчета. Через мои руки прошло много молодого народа, так же окрыленного надеждами, как и вы. Но спросите, где они теперь? Десять, пятнадцать человек приобрели кое-какую известность. О большинстве нет ни слуху ни духу. Крупный процент пошел по торной дороге пьянства, двусмысленного балаганного успеха, закулисных интриг и сплетен! Я ведь, голубчик, ни слова не говорю, когда лезут ко мне офицеры отставные, или купеческие сынки, или безнадежные, в смысле Гименея, девицы. Видали у меня в гостинной парочку? Это мой крест, за который мне, вероятно, многое простится. Но зато каждый раз, когда судьба приведет в мою гостиную молодое, стремительное существо,— мне все кажется, что я его толкаю собственными руками в глубокий и грязный омут. Вы и представить себе не можете, что это за клоака — провинциальная сцена...

Славинский говорил еще долго и убедительно. Не помню всех его слов, но, по-моему, трудно было не поверить его горячей речи.

Лидочка встала и, не поднимая глаз, начала суетливым, нервным движением надевать перчатки.

Славинский бросился к ней. Он по ее сердитому лицу убедился, что его слова были, яко кимвал бряцающий, и стал извиняться. Он сознался, что увлекся, что ему не следовало бы всего этого говорить и что в конце концов он согласен давать уроки. Бог знает, что им руководило в его страстной речи: расчетливая игра на искренность или настоящее сердечное сочувствие?

— Что вы знаете наизусть? — спросил Славинский, когда мы уселись.

Оказалось, что Лидочка ничего, кроме басен, не знает, и те не решается говорить без книжки. Профессор достал с этажерки одну из книг в сафьяновых красных переплетах и, развернув ее наугад, подал Лидочке.

— Потрудитесь, — говорит, — прочитать.

Я заглянул через Лидочкино плечо и узнал не сравнимую ни с чем по красоте сцену прощания Ромео с Джульеттой, когда Ромео спускается утром по лестнице из окна своей возлюбленной. Лидочка начала очень неуверенно, путалась, немного торопилась, — сцена была ей незнакома, — но все-таки, мне кажется, прочла очень и очень недурно. Профессор следил за ней с большим вниманием, хмуря слегка брови при ее ошибках.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал он, когда Лидочка кончила и робко подняла на него глаза. — У вас есть способности, не беру на себя смелость сказать — талант. Во всяком случае, вы можете быть полезной работницей на сцене. Только надо учиться, учиться и учиться. Вот, потрудитесь прослушать, как я прочту вам то же самое.

Ну, и прочел же!

Вышли мы от Славинского порядком-таки сконфуженные, хотя профессор с нами был чрезвычайно любезен. По выражению Лидочкина лица я видел, что она осталась непреклонной.

Это было наше последнее свидание. Затем как-то сразу потерял я Лидочку из виду, потому что судьба меня вскоре опять бросила в захолустье. Я, господа, захватил еще доисторические времена, так сказать. Не только на-

шего клуба не было, или фонарей на улицах, или любительских спектаклей, но и лавок на весь город было только две. Зато, чего теперь нет, стоял целый полк Энэнских гусар. Если бы их теперь сюда, то-то наши девицы запрыгали бы! А в те отдаленные и невежественные времена присутствие Энэнских гусар в городе не только никого не радовало, но благочестивые старушки, ложась ночью в постель и заслыша на улице шпоры, творили, крестясь, молитву про царя Давида и всю кротость его. Да и у меня иной раз до сих пор волос становится дыбом при тех приятных воспоминаниях, которые связаны с энэнцами.

Впрочем, между ними были славные ребята и, главное, редкостные питухи. С одним — корнетом Алферовым — я жил вместе на квартире. Что нас связало, — всегда оставалось для меня загадкой; мы жили в теснейшей дружбе, хотя по неделям не говорили друг другу ни слова. Правда, корнет Алферов с первого взгляда не поража́л умом, но чем ближе приходилось его узнавать, тем он казался глупее. Говорил он мало, или, вернее, не говорил, а выпаливал, и всегда с примесью собственных словечек: кобылячья голова, дамеша — вместо дама, бека́лия, те́нтерь-ве́нтерь и т. п. Когда он бывал дома (что, впрочем, случалось редко), я его всегда заставал в неизменной позе лежащим на диване: длинные ноги, закинутые вверх одна на другую, расстегнутая цветная рубашка, гитара в руках и папироса в углу рта. Весь его музыкальный репертуар, исполняемый необыкновенно фальшивым басом, состоял только из двух пьес. Одна, мажорная — пелась в антрактах между кутежами, в денежную полосу, приблизительно таким образом:

Бе-сются кони, брещат мундштука-ами,
Пе-нются, рвутся, храпя-я-ят.
Барыни, барышни взорами отчаянными
Вслед уходящим глядят.

Минорная пьеса отличалась самыми нелепыми словами. Помню только, что там говорилось о том,

Как приятно
Умирать в горячке,
Когда сердце бьется, как
У молодой собачки.

Словом, как видите, был отличный малый во всех отношениях.

Однажды, когда я предавался сладостному послеобеденному ничегонеделанью, влетает Алферов в мою комнату, делая на ходу воздушные пируэты. В руках у него большой лист красной бумаги. Я смотрю на него с недоумением.

— У нас, чорт возьми, через три дня будет в городе драматическая труппа,— кричит Алферов.— Труп-па, труппа, труп-па-па! — И, напевая польку, которая бросила бы в пот последнего тапера, он начинает носиться взад и вперед по комнате.

Так как я достаточно хорошо знал Алферова с его эстетической стороны, то, не переставая удивляться, спрашиваю:

— Что же тут такого радостного?

— Как радостного? — изумляется в свою очередь Алферов.— А актрисы? Ура, да здравствует драматическая труппа!

Я беру из рук Алферова афишу и читаю следующее:

«Русско-малорусское товарищество драматических артистов, под управлением г. Максименка и при участии артистов Императорских театров г. Южина и г-жи Веринной, будет иметь честь дать в самое непродолжительное время в доме г. Соловейчика ряд блестящих представлений, в которые войдут выдающие пьесы как русских, так и прочих заграничных авторов.

Между прочим, в среду, 22 сентября, поставлена будет:

ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ.

Драма в 5-ти действиях.

Эта драма, с успехом исполнявшаяся на европейских столичных сценах и многих провинциальных знаменитостей. В заключение будет всеми артистами труппы поставлен разнохарактерный дивертисмент».

Помню я, поразили меня фамилии актеров. Тут были: и Сапега-Никольский, и Малинин-Анчарский, и Смельская, и Андреева-Дольская и даже, наконец, Гнедич-Баратынская.

Среди нашей глухой, монотонной жизни даже учение местной инвалидной команды было зрелищем, собиравшим весь город. Нечего и говорить, что все места на первый спектакль доставались чуть не с бою, хотя театр, перестроенный на живую руку из яичного склада, отличался поместительностью. Мой корнет в этот вечер оделся особенно тщательно и крепко надушился духами пачули. Входя в театр, он так гремел саблей и шпорами, что сразу обратил на себя общее внимание.

Громадная зрительная зала (состоявшая из одного только партера) освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь. Театр быстро наполнялся. Из задних рядов, где, стоя за барьером, помещалась толпа еврейчиков и солдат, привлеченная низкой входной платой, все громче и громче слышались разговоры, кашлянье и смех. Из-за занавеси, изображавшей двух гусей и торчащую из воды башню, доносились торопливые удары молотка, топанье ног и невнятные быстрые фразы. Между сценой и зрительной залой сидели, оборотясь лицом к публике, пять или шесть музыкантов с двумя скрипками, флейтой, тромбоном и турецким барабаном: в полном составе оркестр Гершк Шпильмана, игравший обыкновенно на еврейских свадьбах.

Чей-то здоровенный голос закричал с галерки: «Пора! Начинайте!» Его поддержали еще несколько голосов: «Время! Времечко-о!» Гершко постучал два раза ногами о пюпитр и, крикнув: «Ша!» — оглянул музыкантов, разбиравших инструменты. Когда все успокоились, он взмахнул одновременно и головой, и флейтой, приложенной к губам. Таким образом Шпильман играл и вместе с тем дирижировал флейтой, а оркестр играл «Маюфес» — национальный еврейский танец. Наконец за сценой зазвонили, и занавес поднялся.

Кажется, пьеса была переводная, с сюжетом, заимствованным из средневековой жизни, но в чем заключалось ее содержание, я так и не мог понять. Что действительно произвело в публике неожиданный, но великолепный эффект, так это — иностранные фамилии. Выходит, например, на сцену молодой человек, подходит к героине и, прикладывая руку к сердцу, рекомендуется: «Маркиза,

я — Фернандо де-ла-Капо-ди-Монте, племянник вашего старого друга графа д'Аргентюеля». Галерка приходит в неописанный восторг. «Так, так, валяй его,— слышатся оттуда голоса,— кат-тай его на все корки!»

Был в пьесе, я помню, иезуитский патер, тайная пружина всей драмы. Он говорил искусственно дребезжащим голосом и все смеялся шипящим смехом театрального злодея. Затем был молодой и благородный потомок древней фамилии. Эту роль исполнял актер, одетый в ботфорты со шпорами и в серую фуфайку, запрятанную в рейтузы Энэнского полка (как я потом узнал, все бутафорские и костюмерные принадлежности собирались за несколько дней до спектакля у доверчивых почитателей искусства). По наущению коварного патера, кто-то в чем-то оклеветал благородного потомка в болотных сапогах и навлек на него проклятие матери. Потомок прощается со своей возлюбленной, идет из города и, удрученный горем, скитается в лесах. Там он мимоходом убивает патера. Наконец, тоскуя по возлюбленной, он опять идет в город и на этот раз появляется перед публикой обросший волосами, в длинной блузе, подпоясанной веревкой, с кухонным ножом в руках. Застав возлюбленную в объятиях вероломного друга, он убивает обоих на месте преступления. Его ведут в тюрьму; он по дороге говорит еще один монолог и, вырвавшись из рук стражи, кидается в реку, куда за ним немедленно стремится и его мать, слишком поздно узнавшая о своей ошибке. Масса крови, длинные монологи с проклятиями, иностранные имена — словом, раздирательная драма во вкусе провинциальных трупп.

Чем дальше я слушал, тем сильнее возрастало во мне какое-то напряженное, гнетущее чувство не то стыда за этих ломающихся людей, не то жалости. Взглянул я на соседей — и у них у всех тоже болезненно сморщенные лица. Кричит человек, кривляется, бьет себя в грудь, и, чувствуешь, сам он не понимает, как неприятно и жалко на него смотреть. Так бы, кажется, и закричал ему: «Добрый человек, зачем вы избрали такой неблагодарный и тяжелый труд; если вы уж ни к чему больше неспособны, наймитесь гранить булыжник; это занятие и легче, и почетнее, и прибыльнее, чем кривляние, возбуждающее только болезненную жалость».

Всего больше меня поразил тот самый актер, который играл благородного потомка. Судя по голосу, это был человек уже преклонного возраста. Вероятно, когда-нибудь он хоть мельком видел чью-то игру и твердо запечатлел в памяти пять-шесть артистических приемов, преувеличив их до последней крайности. Так, например, в минуты особенно трагические он уже не ходил, как ходят обыкновенно все люди, хотя бы и удрученные большим горем, а все падал. Опустил голову на грудь и начинает наклоняться вперед телом, точно падающая статуя, вот-вот, кажется, грохнется на землю. Но внезапно его ноги делают два быстрых шага вперед, голова взбрасывается вверх, глаза вращаются, и руки с растопыренными и скрюченными пальцами вытягиваются в пространство. А между тем, боже мой, сколько рвения вложил он в свою роль! Он играл без парика, и, верите ли, я сам видел, как он *действительно* рвал на себе волосы. Когда он бил себя кулаками по впалой груди, удары эти раздавались по всему театру и заставляли галерку ржать.

Когда кончилось первое действие, я вышел в холодные сени покурить. Ко мне подбежал сияющий и гремящий Алферов.

— Был! Видел! — крикнул он еще издалека. — Одна — прехорошенькая.

— Кого видел-то?

— Актрис. Три — рожи, а одна — прелесть.

— Что же, ты познакомился?

— Нет еще. Я покамест — в щелку. Знаешь, неловко как-то. Я думаю ротмистра попросить, он этим ничем не смущается. Вон он стоит, курит. Пойдем к нему.

Этот ротмистр, последний отпрыск знаменитого гусарства времен партизанских войн и Дениса Давыдова, уже и в то отдаленное время являлся в наших глазах почтенным и немного странным анахронизмом. Он мог выпить колоссальное количество всяких водок и вин, обладал знаменитым в дивизии голосом, рыцарски вежливо обращался с женщинами и деспотически с мужчинами. Мы подошли к нему.

— Голубчик, ротмистр, — не то смеясь, не то робея, не то заискивая, сказал Алферов, — я хочу с актрисами познакомиться. Можно это?

Ротмистр скосил на него глаза.

— Ну, а я-то здесь при чем?

— Знаете, неловко как-то. Не умею я предлога найти. И вообще... неловко.

— Не умеешь? А нос-то свой ты сам вытираешь? — пустил ротмистр густым басом. — Иди прямо за кулисы и говори: вот, мол, я такой-то и такой, корнет, и меня, мол, по правде сказать, надо еще в пеленках держать. Глуп ты, Алферушка, молод и глуп. Пойдем.

Осчастливленный Алферов побежал за ротмистром, а я вернулся в душную залу на свое место; Гершко опять сыграл «Маюфес», занавес медленно и неуклюже поднялся. В глубине сцены жестикулировали два актера, в стороне от них, близко к рампе, сидела молодая женщина, оборотясь лицом к публике. В первом действии она не выходила, иначе я бы сразу ее заметил. Сначала я сам не сознавал, почему она так приковала к себе мое внимание. Потом лицо ее показалось мне до такой степени знакомым, что я ждал только ее голоса. «Если она заговорит, — думал я, — я, наверное, вспомню». И когда она заговорила, я тотчас же узнал Лидочку. Как она изменилась за эти три года! Ничего еще, если бы она только осунулась и постарела; нет, она еще была настолько молода и красива, чтобы сразу пленить веселого корнета. Но в ее лице, в усталых движениях, в нервном, измученном голосе сказывалось давнишнее затаенное страдание, сказывалось даже сквозь привычную ложь театральной напыщенности. Я оставил Лидочку шаловливой грациозной девушкой, чуть не ребенком, а теперь с удивлением и глубокой жалостью смотрел на женщину, уставшую жить. Видно было, что этот страдальческий оттенок приобретен не на сцене, а за кулисами. В памяти моей невольно возник первый театральный дебют Лидочки, — теперь и следа не оставалось ее прежней наивно-пленительной простоты. Теперь она держалась перед глазами публики свободно, я сказал бы, даже слишком свободно; теперь она только улыбалась, неестественно показывая зубы, как и все до одной актрисы, так же напряженно и деревянно хохотала, так же ломала руки с вывертыванием наружу локтей. Я поглядел в афишу: оказалось, что по сцене Лидочка называется Вериной.

Едва кончилось третье действие, как я увидел Алферова, который торопливо пробирался ко мне, наступая на чужие ноги и звякая оружием по чужим коленям.

— Пойдем, голубчик, за кулисы, там **все наши**. Только тебя и дожидаемся. Видал Верину? Мамочка! Сейчас меня с ней обещали познакомить. Разве букет закатить? А? Как ты думаешь?

Мы пошли **кругом** всего театра узким неосвещенным коридором, **несколько** раз опускаясь и поднимаясь в совершенной **темноте** по каким-то лестницам. Алферов, уже знакомый с расположением театра, вел меня **за руку**. Мы вошли в уборную, большую сырую комнату с земляным полом и с узкой лестницей прямо на сцену. Два угла, отгороженные досками, служили мужчинам и женщинам для одевания. В облаках табачного дыма, при коптящем мерцании двух ламп, сначала трудно было что-нибудь разобрать. Народа в уборной толкалось чрезвычайно много. Из наших сюда, кроме меня, Алферова и ротмистра, забрался еще земский доктор, большой, грязный, приторный и болтливый циник. На столе, посередине комнаты, в беспорядке были разбросаны: сардинки, яблоки, сыр, водка, красное вино и пирожное.

Общество было еще недостаточно знакомо и недостаточно пьяно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Поэтому нашему приходу все очень шумно и преувеличенно обрадовались. Алферов подвел меня сначала к трем актрисам, которые подозрительно чинно сидели **рядом**, стеснившись на узком плетеном диванчике.

Первая — старая, очень полная женщина с добрым и **смешным** лицом — мне очень понравилась. Алферов сказал, что это — т-те Венельская, а она сама, крепко трянуv мою руку, прибавила с улыбкой: «Комическая старуха». Другая очень бойко и отчетливо назвала себя: «Андреева-Дольская». Лицо этой особы, с курчавыми и жесткими черными волосами, с наглым взглядом больших серых глаз, с негритянским ртом, красноречиво говорило о низменных инстинктах. Третья оказалась вялой, первой и болезненной блондинкой, немного косоватой, но недурненькой. Ее тонкая и длинная **рука** была холодна и влажна

Мужской персонал отличался затасканными костю-

мами и полным отсутствием белья. Jeune premier¹, не в меру развязный и единственный франтоватый человек во всей труппе, назывался Южиным. Повидимому, он страдал хроническим воспалением самолюбия: физиономия его ни на минуту не теряла выражения готовности немедленно обидеться.

— Вы не родственник тому, знаменитому Южину? — спросил я, желая сказать ему приятное.

Jeune premier тотчас же обиделся, заложил руки в карманы и отставил правую ногу вперед.

— То есть почему же это: знаменитому? Что он на императорской сцене? Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются!

— Но позвольте, зачем же так строго? — спросил я как можно мягче. — Там же ведь все средства есть, чтобы вполне изучить дело. По крайней мере так мне кажется.

Я еще не договорил, а Южин уже начал смеяться горьким смехом.

— Вам так кажется? — воскликнул он с оскорбленным и ироническим видом. — Вам так кажется! И так будет казаться всякому, кто к делу близко не стоит, а берется судить. Вы говорите: изучить! А я вам скажу, что изучение погубило чистое искусство. Разве я могу играть на нервах зрителей, если у меня каждый жест, каждая поза вызубрена? Знаменитость! Техника, и — ни на грош чувства.

— Но как же... без разработки?

— А так же-с, — отрезал jeune premier, — очень просто. Я — например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Потому, что я — артист нервный, я играю, *как скажется*. Эх, да разве эта публика что-нибудь понимает? Вот когда я играл в Торжке с Ивановым-Козельским, — меня оценили, меня принимала публика. Это я могу сказать.

— Что вы там говорите про Козельского, — вмешался чей-то женский голос. — Ваш Козельский давным-давно выдохся. Нет, вот когда я служила с Новиковым... Это — артист, я понимаю.

— А я вам доложу, что ваш Новиков — марионетка, —

¹ Первый любовник (франц.).

окрысился грубо *jeune premier*, побледнев и сразу теряя наигранный апломб.— И никогда вы с ним не играли!

— А я вам доложу, что вы — нахал. Вас в Торжке гнилыми яблоками закидали, а вы говорите, что вас принимала публика!

Вскипевшая ссора с трудом была потушена антрепренером, добродушным и плутоватым толстяком.

— Арсений Петрович! Марья Яковлевна! — вопил он, кидаясь то к *jeune premier*'у, то к артистке, между тем как спорящие с злыми лицами порывались друг к другу.— Ради бога! Рад-ди бога, я вас прошу. Ну, разве можно? Ведь опять, как в Ряжске, полиция прикажет опустить занавес. Послушайте, господин, не имею чести знать вашего святого имечка (он подбежал ко мне и взял меня за рукав), может быть, вы повлияете? Скажите им-с! И ведь, главное, не со зла все это. А, знаете, вот тут (он потер кулаком кругообразно по груди), вот тут... кровь, знаете, горячая. Художник! Ведь умнейший человек-с. Почти всю гимназию кончил. Впрочем, сами сейчас изволили слышать, как они насчет искусства-то...

Потом этот милый импрессарио весь вечер сновал между нами и шопотом упрасивал, чтобы не давали водки актерам. Особенно беспокоился он за трагика, игравшего роль благородного потомка.

— Анчарский, душечка моя,— упрасивал он,— ведь вы же меня зарежете. Прошлый раз вас в «Лире» насилу за ноги выволокли. Для чего вам пить-с? Не пей вы этой проклятой водчищи, вы бы украшением русской сцены могли сделаться.

Трагик, старый человек с слезящимися глазами, сидел перед зеркалом и, с хрустом пережевывая огурец, расписывал себя коричневым карандашом.

— Не бойся, Иван Иванович,— успокоил он антрепренера.— Анчарский не выдаст, Анчарский знает границу! А без этого нам, трагикам, жить невозможно. Сильные ощущения!

В это время его позвали на сцену, и он неверными шагами поднялся по лестнице. Навстречу ему спускалась, держа в одной руке сумку на длинном шнурке и придерживая другою платье, Лидочка.

Не могу я вам передать, что сказало ее лицо, когда она меня увидела (я бросился к ней навстречу). На нем

выразилось и усилие воспоминания, и недоумение, и тревога, и радость, мгновенно вспыхнувшая и так же мгновенно погасшая, заменившаяся сухой суровостью.

— Лидия Михайловна,— сказал я, волнуясь и заглядывая ей в глаза,— Лидия Михайловна, при каких странных условиях нам приходится встречаться!

Лидочка совсем враждебно нахмурила властные брови.

— Да, мы с вами, кажется, немного знакомы,— сказала она.— Только странного в нашей встрече я ничего не вижу.

И, отвернувшись от меня, она пошла к сидящим на диване артистам. Я в то время был слаб в знании жизни, и ее сухость глубоко меня уязвила, тем более что вся эта сцена произошла перед многочисленными зрителями и вызвала полузадушенный смешок. «За что она меня так обрезала? — думал я в замешательстве.— Я, кажется, кроме радости видеть ее, ничего не высказал».

Между тем Алферов, звякая шпорами, уже давно нес Лидочке страшную чепуху: «То высокое наслаждение, которое испытали все зрители, которые при виде той, которая сумела воплотить...» Наконец он так запутался в роковых «которых», что сконфузился и неожиданно-негаданно закончил речь громогласным требованием шампанского.

Пробки захлопали, стулья придвинулись к столу, уборная сразу наполнилась гулом мужских и женских голов. Доктор, точно с цепи сорвавшись, начал налево и направо сыпать анекдотами, ротмистр потрясал своим могучим хохотом дощатые стены. Алферов суетился восторженно и бессмысленно, женщины быстро покраснелись, закурили папиросы и приняли свободные позы. Говорили все сразу, и никто никого не слушал. Оставалась серьезной и все время молчала одна только Лидочка. Напрасно я искал встретиться с ней глазами,— мне так много хотелось сказать ей,— ее взгляд скользил по мне, как по неодушевленному предмету. На любезности Алферова она даже не считала нужным и отвечать.

Чем больше шумели «talанты и поклонники», тем больше волновался антрепренер:

— Господа, прошу вас, тише, пожалуйста, потише, господа. Ведь последнее действие, самое трагическое место!.. Ради бога! Вы весь эффект испортите, господа! Вас слышно из залы...

Но неожиданно в самом трагическом месте драмы из зрительной залы донесся до нас бешеный взрыв хохота и аплодисментов. Все изумленно переглянулись. Увы! Это означало только то, что Анчарский, «знавший границу», не мог подняться со стула, несмотря на усилия двух сопровождавших его тюремщиков. Когда он появился, наконец, наверху лестницы, ведущей в уборную, антрепренер кинулся на него с бранью, с упреками, задыхаясь от бешенства.

— Несчастный человек! Пьяница! Что вы со мной делаете! — вопил он, потрясая кулаком. — Вы ведь с голоду без меня подошли бы, я вас из грязи поднял, а вы... Как это подло, как это низко! Пропойца!..

— Друг мой! — прервал его Анчарский растроганным голосом. — Я изнемог под сладкой тяжестью лавров. Оставь меня...

Оглянувшись вокруг, он бессильно пал рядом со мною на свободный стул и вдруг, опустив лицо в ладони, горько заплакал.

— Никто меня не понимает, — услышал я сквозь рыдания, а чей-то голос с другого конца стола запел, что есть мочи:

И никому меня не жаль.

— Знаете, о чем он убивается? — вмешалась черноволосая актриса — повидимому, неугомонная и неуживчивая особа. — У него на прошлой неделе жена сбежала.

— Жена? Неужели? — спросил я участливо.

— Ну да, жена. Театральная жена.

— То есть, как это — театральная?

— Ах, какой вы странный. Господа, посмотрите, какой он наивный. Он не знает, что такое театральная жена!

Некоторые с любопытством на меня обернулись. Я не известно отчего сконфузился.

— Это вас удивляет? — высокомерно обратился ко мне *jeune premier* (мне кажется, он даже назвал меня молодым человеком). — Мы — свободные художники, а не чиновники консистории, и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена — только термин. Я так называю женщину, с ко-

торой меня, кроме известных физиологических уз, связывают сценические интересы...

Он долго говорил в этом роде, но я уже не слушал его, меня беспокоило то, что под общий шум и хохот происходило на другом конце стола между Алферовым и Лидочкой. По ее сдвинутым бровям и гневно сжатому рту я заметил, что она оскорблена. Алферов был уже на третьем взводе. Он беспомощно качался взад и вперед на стуле, силясь поднять закрывающиеся веки.

— Послушайте,— донесся до меня возбужденный, но сдержанный голос Лидочки,— вы меня не можете оскорбить. Я и не такую гадость слышала. Но неужели вы не понимаете, что я с вами не хочу даже говорить.

Алферов качнулся на стуле.

— К-да я не м-гу? Нас все равно не слышат. Я же от чистого сердца! Квартира, лошади и все такое... Понимаете? И чтобы что-нибудь?.. Н-ни-ни! Ни боже мой! Потом разве когда-нибудь за хорошее поведение, а теперь н-ни-ни! *L'appetit vient en mangeant*¹. Ты чего нас подслушиваешь? — погрозился он с пьяной улыбкой, заметя мой взгляд.

Тогда и Лидочка на меня посмотрела. Глаза ее засверкали негодованием.

— Скажите, пожалуйста,— воскликнула она, умышленно возвышая голос, так, чтобы ее все слышали,— вы так обращаетесь со всеми незнакомыми женщинами или только с теми, за которых не может вступить мужчина?

Алферов опешил. Со всех сторон посыпались вопросы:

— Что такое случилось? В чем дело? Кто кого обидел?

— Какие нежности, подумаешь,— язвительно хихикнула через стол черноволосая актриса,— точно ее от этого убудет!

Лидочка перевела на нее сверкающие глаза. Щеки ее мгновенно побледнели и так же мгновенно вспыхнули ярким и неровным румянцем.

— Меня от этого не убудет, *madame* Дольская,— крикнула она,— а прибудет только скандальной славы про наши бродячие трупы... Вы видите: этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей

¹ *Аппетит приходит во время еды (франц.).*

итти на содержание. Какой же вам нужно еще обиды, если вы этого не понимаете?

Внезапно в уборной поднялся невообразимый гвалт. Актрисы закричали все разом, мужчины принялись ругаться между собою, припоминая друг другу старые счеты в виде каких-то разовых и бенефисных, упрекали друг друга в воровстве и неспособности к сцене. Земский доктор пригнулся к столу и, приставив ко рту руки в виде рупора, кричал пронзительным голосом: «Вззы его, куси его! Вззы, вз-зы!» Анчарский, заснувший было на стуле, поднялся и подошел косвенными шагами к Лидочке, стоявшей посреди кричащей группы актеров.

— Дитя мое! — завопил Анчарский, расставляя широко руки. — Божественная Офелия! Преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь, и будем плакать вместе!..

Но Лидочка была близка к обмороку. Я подбежал к ней, оттолкнул трагика и схватил ее за руку. Она невольно пошла за мною, вся дрожа от волнения. Чьи-то услужливые руки накинули на нее ротонду и платок, и мы вышли на улицу. Не знаю, слышала ли она, но вслед нам из уборной вылетел целый поток ругани.

— Как будто бы мы не знаем, что за дрянь эта Верина, — визжала громче всех Дольская, — прикидывается угнетенной невинностью, а у самой в Тифлисе ребенок был!

Крупные хлопья снега бесшумно валились на землю, мелкая точно белые звезды в ночной тьме. Нога ступала, как по пушистому ковру, по слою молодого, мягкого снега.

— Что же вы молчите? — раздражительно обратилась ко мне Лидочка, когда мы отошли шагов сто от театра.

— Что же здесь говорить? — пожал я плечами.

Она насильственно рассмеялась.

— А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Давеча вы так трагически меня приветствовали! «При каких странных условиях нам приходится встречаться». О!! Я отлично поняла смысл вашего восклицания, хотя, может быть, оно даже невольно у вас вырвалось. «Прежде ты была женщиной моего общества, — хотели вы сказать, — и я относился к тебе с тем условным

почтением, на которое меня обязывало наше знакомство. Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным».

Я понимал, что Лидочке нужен был предлог, на который она могла бы излить вскипевшую в ней злобу, и потому продолжал молчать. Это ее, повидимому, еще более раздражало.

— И вот вы являетесь за кулисы. «Актрисы — это интересно! Легкие нравы, веселые разговоры и дешевые амуры!» Любопытно взглянуть поближе. У вас еще сравнительно довольно приличная цель. Тот пошляк прямо явился, как... А знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли как на диковинный сброд полюбоваться, а, помоему, этот сброд чище и лучше, чем все вы, приглаженные, прилизанные и развратные. Вы видели сейчас, как мы скандалим, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что же? Зато вы не видали, как те же бродячие голодные актеры, *все — целой труппой* закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу! Зато вы не видали, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер! Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. О, как я ненавижу вас, покровители искусства, закулисные меценаты! Сто раз лучше тонуть в нашей грязи, чем пользоваться вашими гнусными милостями. Прощайте. Вот моя калитка. Благодарю вас за вашу любезность, хотя я и сама нашла бы дорогу.

Она отворила калитку и пошла вперед, не оборачиваясь.

— Лидия Михайловна! — воскликнул я, простирая к ней руки. — Неужели мы так и простимся? Вспомните, ведь мы никогда не были врагами.

Она остановилась.

— О чем же нам еще говорить? Разве у вас есть теперь что-нибудь общее с странствующей комедианткой? А впрочем, если уже вы хотите составить целое впечатление, то зайдите. По крайней мере увидите, как мы живем. Что же вы остановились? Не бойтесь — у меня театрального мужа нет.

Слова ее еще продолжали быть язвительными, но тон смягчился. Должно быть, улеглась острая потребность оскорблять и чувствовать себя оскорбленной, а моя кро-
тость еще более ее обезоружила

Я вошел в дом. Лидочка занимала одну комнату. Что это была за комната! Крошечные окна, **низкий**, кривой потолок с балками внутрь, известковые стены, синие от сырости, узенькая железная кровать и стол с зеркалом, завешенным шитым полотенцем. Лидочка зажгла грязную лампу без абажура и опустилась на стул совершенно изнеможенная. Руки ее бессильно легли по коленам, усталые и грустные глаза неподвижно устремились на огонь лампы. Теперь меня еще больше, чем в театре, поразило страдальческое выражение ее лица. Повинуясь безотчетному влечению жалости, я приблизился, осторожно взял одну из ее бледных, тоненьких ручек и прижал к губам. И вдруг — ласка ли моя подействовала, нервы ли усталые не выдержали — Лидочка порывисто прижала лицо к моей груди, охватила рукой шею и, вся сотрясаясь, зарыдала. Знаете, всегда так: таится-таится в человеке давнее неразделенное горе, а потом как прорвется, то и удержи нет слезам. И тут Лидочка с истерическим плачем, целуя мои руки, передала мне печальную повесть своей жизни.

После нашего московского визита к Славинскому она благополучно воротилась домой. Может быть, ее сценическое увлечение так и кончилось бы без гибельных последствий, если бы она не встретилась со своей бывшей гимназической подругой — провинциальной артисткой. Бог знает, что эту артистку заставило расхваливать свою жизнь: природная **ли** тупость, нечувствительность и неразборчивость, **или** женское хвастовство, или злой, мстительный умысел неудачницы, но встреча с подругой решила Лидочкину участь. Она поступила на сцену. Сначала она все видела в розовом свете. Внешняя сторона дела, то есть бедность, голод, долги, жалкая театральная обстановка — для нее не существовали. Но вскоре к искусству примешалась любовь. Судьба столкнула ее с артистом — его имя и теперь еще довольно известно, я не буду его называть: это красивый лгун с горячими словами и холодным сердцем. Он записал себя в российские Кины, у него были художественные странности и капризы, а Лидочка должна была восхищаться им и находить проблески гения

в проявлениях его животной природы. Когда Лидочка сказала ему, что через три месяца она должна родить, он по-воровски, тайком, бросил ее на произвол судьбы. Ребенок умер. Что было потом? Целая вереница скучных дней, жалких аплодисментов по вечерам, ночных оргий... Она приучилась пить. По крайней мере не сосет за сердце всегдашняя тоска. Родные раньше преследовали ее письмами, и она не прочь была бы возвратиться, но после ребенка в ней заговорила ее собственная, своеобразная гордость. Если она раньше не пришла, когда еще было время, то как же она могла бы прийти, вынужденная крайностью. И в этой странной гордости я узнал прежнюю Лидочку.

— Вы мне, родной мой, простите, что я вам дорогой наговорила,— просила она, глядя на меня прекрасными умоляющими глазами.— Уж очень больно мне было. Как я вас увидела, так мне все мое прошлое и кинулось в память, хорошее такое, ничем не загрязненное. И тому, что об артистах говорила, не верьте. Уколоть мне вас хотелось, злобу свою сорвать. Помните, как мы вместе были в Москве у Славинского? Тысячу, тысячу раз он был прав. Хотя и он тоже хорош, нечего сказать!.. Только тут не терпели даже, а сплошная мерзость. Ведь нет дня, чтобы меня не оскорбляли чем-нибудь! И бросила бы я сейчас же эту проклятую сцену, да разве можно? Я обо всем, понимаю, обо всем своих известила: корабли парочно за собой сожгла. С какими глазами я теперь явлюсь? Ну разве об этом можно думать! Разве можно? Ради бога, скажите, разве можно?

Столько настойчивости было в этих торопливых вопросах, так жадно они ждали моего ответа, что мне стало понятно, как часто мучила ее мысль о возвращении домой. Я, по возможности, простыми и искренними словами старался ее успокоить: сказал, что она не только может, но даже должна возвратиться к своим старикам, что она теперь, больная и замученная, вдвое им дороже, как матери дороже больной ребенок, что никогда не поздно отдохнуть физически и нравственно от этой тяжелой жизни.

Лидочка очень внимательно меня слушала, не выпуская моей руки и изредка глубоко и прерывисто вздыхая, как ребенок после долгого плача. Ее еще не высохшие от

слез глаза заблестели радостной надеждой. Незаметно для нас самих мы перешли к нашим общим воспоминаниям и долго сидели рядом, тесно составив стулья, позабыв о приключениях этого вечера, не уставая спрашивать и отвечать, точно брат и сестра после долгой разлуки. Лидочка и смеялась каким-то стыдливым, детским смехом, и вздыхала, и как будто сама не верила тому, что в ней в эти минуты происходило. Наконец, когда огонь начал потухать в лампе, я спохватился и стал прощаться.

— Я жду вас завтра,— сказала Лидочка, крепко пожимая мою руку.— Помните: как вы скажете, так и будет. Я вам так верю, что даже принять от вас помощь для меня будет легко.

И опять в эту ночь, так же, как несколько лет тому назад, после моего прощания с Лидочкой, я долго не мог заснуть, и опять мне пришлось в голову сделать ей предложение. Меня растрогал рассказ о ее скитальческой жизни, и мне всеми силами хотелось дать ей отдохнуть, приласкать ее и успокоить. «Женщина, много страдавшая, должна уметь и много любить,— думал я, ворочаясь с боку на бок,— она будет самой нежной женой и матерью. И уж, конечно, если она станет моей женой, никто не посмеет упрекнуть ее позором прежней жизни».

Так я рассуждал, потому что до сих пор не встречал еще людей, похожих на Лидочку. Но вышло на другой день нечто неожиданное, странное, на мой тогдашний взгляд даже нелепое. Вам приходилось, господа, слышать, как в церкви возглашают моление: «О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, чающей Христова утешения»? Вот Лидочка-то именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди. Треплет-треплет их судьба и так в конце концов изуродует и ожесточит, что и узнать трудно. Много в них чуткости, нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны — гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение и в себе, и в людях, наклонность во всех своих ощущениях копаться и, главное, какой-то чрезмерный, дикий стыд. Нашла минута — отдаст он вам душу, самое дорогое и неприкосновенное перед вами выложит, а прошла минута,— и он вас сам за свою

откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Позднее я догадался, что и Лидочка была из числа этих загнанных судьбою.

Утром меня разбудил денщик Алферова (самого корнета так всю ночь и не было дома). Подает мне Кирилл записку, у меня и сердце екнуло.

— От кого? — спрашиваю.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие. Какой-то жидочек приносил. Сказывает, ответа не нужно, а сам ушел.

Записка была от Лидочки.

«Милостивый государь Николай Аркадьевич,— писала Лидочка,— я думаю, вам не менее меня стыдно за вчерашнее. Все, что я вам говорила,— следствие минутной слабости нервов. Как вы ни великолепны с вашим благоразумием, я предпочитаю свою свободу и любимое дело, которому я буду служить так же, как и другие, не мудрствуя и не осуждая. Пишу вам второпях, потому что меня дожидаются лошади Алферова. Повторяю еще раз, что, кроме взаимного стыда, между нами ничего быть не может».

Я посмотрел на часы — было уже далеко за полдень,— поспешно оделся и кинулся на поиски за Лидочкой. На ее квартире старая и грязная еврейка сказала мне, что «барышня только что уехали». «Таких было хороших двох коней у в коляска, точно у габирнатора». Я долго находился бы в затруднении, куда отправиться дальше, если бы меня не осенила мысль заехать в театр. Действительно, не доходя еще до уборной, я услышал в ней шум многочисленной компании. Я отворил дверь, и моим глазам представилась следующая сцена.

Посреди комнаты, на столе, уставленном пустыми и целыми бутылками от шампанского, стояла Лидочка, растрепанная, раскрасневшаяся, с бокалом в высоко поднятой руке. Кругом нее, стоя и сидя, толпились: Алферов, доктор, ротмистр и еще человек пять-шесть наших городских шалопаев. В глубине комнаты, глядя с недоумением и некоторой тревогой на происходившее, стояла группа артистов. Моего появления никто не заметил, потому что внимание всех было поглощено тем, что в эту минуту Лидочка с выразительной жестикуляцией пела с своего возвышения:

Какой обед нам подавали!
Каким вином нас угощали!
Уж я пила, пила, пила,
И до того теперь дошла,
Что, право, готова... готова..
Ха-ха-ха-ха-ха..
Тсс... об этом ни слова!

И вдруг наши глаза встретились. Она мгновенно побледнела, пошатнулась, и бокал со звоном и дребезгом покатился по полу. Все обернулись на меня.

— Господа,— закричала Лидочка, злобно блеснув глазами,— кто хочет пить вино из моей туфли?

— Я, я, я! — раздалось сразу несколько голосов.

— Всем сразу нельзя. Алферов, сними!..

И она протянула свою маленькую ножку Алферову. Тот снял туфлю и поставил в нее бокал.

— Выпьем за здоровье Николая Аркадьевича,— продолжала возбужденно Лидочка.— Он вчера ночью обращал меня на путь спасения. Да здравствуют добродетельные молодые люди!

— Уррра! — заорала громогласно подкутившая компания.

— У него, однако, губа не дура,— перекричал всех доктор,— дайте ему за это вина!

Меня охватила злорада.

— Поздравляю вас, Лидия Михайловна,— сказал я с насмешливо низким поклоном.— Вы действительно превосходная артистка, но я теперь только понял, какие побуждения влекли вас на сцену.

Я вышел из уборной, сопровождаемый общим хохотом. Впрочем, не все ли мне было равно? Настоящей подкладки этой дурацкой сцены никто не знал, хотя смешная-то роль во всяком случае выпала на мою долю... Да и что говорить: злая роль, мстительная и несправедливая...

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

I

Несколько лет тому назад я проводил летние месяцы на даче, вдали от пыльного, душного, наполненного суетой и грохотом города, в тихой деревушке, затерявшейся среди густого соснового леса, в верстах в восьми от станции железной дороги. Туда только что начинали в то время показываться первые пионеры будущей дачной колонии, которая теперь совершенно заполонила это милое, уютное местечко франтовскими дачными костюмами, сплетнями, любительскими спектаклями, подсолнечной шелухой, фортепианными экзерсисами и флиртом. Теперь уже там нет ни прежней дешевизны, ни прежней тишины, ни пленительной простоты нравов.

Прежде, бывало, встанешь рано утром вместе с восходом солнца, когда росистая трава еще белеет, а из леса с его высокими, голыми, красными стволами особенно сильно доносится крепкий смолистый аромат. Не умываясь, накинув только поверх белья старое пальтишко, бежишь к реке, на ходу быстро раздеваешься и с размаху бухаешься в студеную, розовую от зари, еще подернутую легким паром, гладкую, как зеркало, водяную поверхность, к великому ужасу целого утиног семейства, которое с тревожным криканьем и плеском поспешно расплывается в разные стороны из прибрежного тростника. Выкупаешься и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свежести во всем теле, спешишь к чаю, накрытому в густо зарос-

шем палисаднике в тени сиреневых кустов, образующих над столом душистую зеленую беседку. На столе вокруг блестящего самовара расставлены: молочник с густыми желтыми сливками, большой ломоть свежего деревенского хлеба, кусок теплого, только что вырезанного сотового меда на листе лопуха, тарелка крупной, покрытой сизоватым налетом малины. Около самовара хлопочет хозяйская дочка Ганнуся — черноглазая, крепкая деревенская девочка, задорная и лукавая. И как радостно, как молодо звучит в утреннем чистом воздухе ее веселое приветствие: «Здоровеньки булы с середюю, панычу!»

Целый день бродишь с ружьем и собакой по окрестным лесам и болотцам, ловишь с белоголовыми ребятишками у берега раков, тянешь с рыбаками невод и варишь с ними поздней ночью уху, или сидишь с удочкой, закрывши от солнца голову соломенным брылем с полями в пол-аршина шириною, и следишь пристально за поплавком, едва видимым в расплавленном и дрожащем серебре реки. Домой возвращаешься усталый, перепачканный с ног до головы, но бодрый и веселый, с чудовищным аппетитом.

А поздним вечером, после того когда возвратится в деревню стадо, пыля и толпясь, и наполняя воздух запахом парного молока и травы, какое наслаждение сидеть у ворот и слушать и смотреть, как постепенно стихает мирная сельская жизнь!.. Все реже, тише и отдаленнее раздаются: то скрип колес, то нежная малорусская песня, то звонкое лошадиное ржанье, то возня и последнее щебетанье засыпающих птиц, то, наконец, те неведомые, загадочные, прекрасные аккорды ночной гармонии, которую каждый слышал и которую никто не мог ни понять, ни описать... Огни гаснут, в темносинем небе загораются и дрожат ясные серебряные звезды... Сладкие, но неясные мечты, дорогие воспоминания теснятся в голове. Чувствуешь себя молодым, добрым и хорошим, чувствуешь, как стряхивается с тебя накипевшая за зиму городская скука, городское озлобление, все городские недомогания...

Теперь нет уже в моем мирном приюте ни неподдельного молока, ни масла без маргарина, ни чарующих буколических картин. В лесу прибиты роковые дощечки, запрещающие охоту и собирание грибов и ягод, по дорогам мчатся, согнувшись в три погибели, длинноногие велосипедисты, на реке толкутся декольтированные спортсмены

в полосатых фуфайках, а хозяйские дочери носят нитяные перчатки и давно уже переняли от интендантских писарей известный жестокий романс про «собачку верную — Фингала».

II

Когда я приехал в деревню на второе лето и с помощью Ганнуса устраивал свою комнату, Ганнуса, в числе прочих многочисленных новостей, объявила мне, что напротив их хаты, у Комарихи, наняли комнату «каких-то двоих постояльцев», муж и жена.

— Осипивна каже, що воны вже десять рокив, як поженылысь. Вин не дуже красивый, а вона така гарна, така гарна, як зиронька ясно... От самы побачите. Каже Осипивна, той пан десь там у городи за учителя. Каждый день по зализной дорози издыть у город.

Часа два спустя, выглянув в окно, я увидел мою соседку. Маленький в четыре окна домик, весело выглядывавший белыми стенами из густой зелени вишен, слив, яблук и груш, был напротив нашего. Она сидела у открытого, полувешенного легкими кисейными занавесками окна, в белой кофточке с ажурными прошивками на рукавах и груди, и, облокотясь на подоконник, читала книгу. У нее было одно из тех нежных, простых лиц, мимо которых сначала проходишь равнодушно, но, взглядевшись пристальнее и поняв их, невольно очаровываешься свойственным им смешанным выражением ласки, мечтательности и, может быть, затаенной страстности. Всех мелочей ее лица издали и с первого раза я, конечно, не мог разглядеть, но успел заметить ее пышные белокурые волосы, не завитые, а заброшенные назад, так что ее небольшой, заросший с боков блестящим рыжеватым пушком лоб оставался открытым; очень тонкие брови, гораздо темнее волос, с насмешливым и наивным в то же время надломом посредине, и маленькие розовые уши. Впоследствии я разглядел ее поближе: самой красивой чертой у нее были глаза — продолговатые, темносерые и очень блестящие.

В начале шестого часа приехал муж блондинки, господин лет сорока, с типичной наружностью учителя: с растрепанной бородой, брюнет, в золотых очках, с усталым приятным лицом и тощей фигурой. Он приехал на простой

мужицкой телеге, закутавшись от пыли в белый парусиновый балахон с капюшоном, прикрывавшим голову. Не успел он еще вылезть из своего неудобного экипажа, как жена выбежала ему навстречу, накинув по дороге на голову белый фуляр. Тут я разглядел ее фигуру: она была высока, стройна и гибка, точно сильно выросший подросток, несмотря на то, что ей по лицу можно было дать не менее двадцати семи, двадцати восьми лет. В то время, как ее муж неловко перекидывал затекшие ноги через высокий бок телеги и осторожно сползал на землю, жена что-то оживленно говорила, смеялась и вынимала из телеги какие-то пакеты и свертки.

Вслед за блондинкой из калитки стремглав выскочил мальчик лет семи, очень на нее похожий, тоненький, бледный, вероятно болезненный. Он с визгом бросился к отцу на шею и повис на ней, болтая в воздухе ножками, голыми по колени. Все трое пошли в хату.

Вечером я опять их видел. Муж в длинной синей блузе без пояса, вроде той, какую носят во время работы художники, сидел на корточках, нагнувшись над одной из крошечных клумб, разбитых в их палисадничке перед домом, и с сосредоточенным терпением что-то над ней делал. Я догадался, что он сажает цветочные семена. Сынишка его стоял около, заложив за спину руки, и внимательно следил за работой отца. Стройная фигура блондинки в белом платье показывалась то в доме, то в саду, и я невольно залюбовался ее грациозными, ловкими движениями. Один раз она подошла к мужу, и он, не вставая с корточек, поднял к ней вспотевшее и улыбающееся лицо и сказал ей несколько слов, указывая на свою работу. Она нагнулась к нему, сняла с него шляпу и вытерла его мокрый лоб носовым платком. Он на лету поймал ее руку и поцеловал.

«Нет,— подумал я, глядя на эту нежную и наивную сцену,— хотя дачное соседство и дает некоторые права на бесцеремонное знакомство, но я не буду искать его. Разве я посмею непрошенным вторжением в семью отнять у этого, такого славного, доброго на вид человека, хоть самую малую часть его домашних радостей? Вместо того чтобы мирно копаться в своих грядках, он принужден будет занимать меня разговором о винте, о погоде, о газетах, о здоровье, обо всем том, что ему, наверно, так давно уже надоело в городе. И, кроме того,— кто знает? — может

быть, при ближайшем знакомстве этот славный и добрый человек превратится в педанта и озлобленного неудачника, а мечтательная блондинка окажется сплетницей или генеральскою дочерью с аристократической родней и жеманными манерами... Такие превращения не редкость».

Таким образом, решив в уме не пользоваться правами соседства, я предался своим обычным занятиям: охоте, рыбной ловле, купанью, чтению и в промежутках — созерцательному ничегонеделанию. Соседи тоже ничем не обнаруживали признаков особенно сильного желания познакомиться с моей особой, может быть даже по соображениям, одинаковым с моими.

Тем не менее невольно я был свидетелем всех мелочей их жизни, и, должен признаться, эта жизнь зарождала порою в моей голове смутные желания своего собственного тихого угла и теплой, неизменной женской ласки. Если бы мне предоставили в этом отношении выбор, я не пожелал бы лучшей жены, чем моя белокурая соседка, — столько в ней было женственности, грации, шаловливости и заботливости к мужу. Правда, в своей жене я был бы доволен отсутствием одной черты, которая в блондинке мне кинулась в глаза с первых же дней: она читала просто запоем. Каждую свободную минуту, едва оторвавшись от дела, она посвящала книгам, и до сих пор, когда я ее вспоминаю, она рисуется в моих глазах не иначе, как сидящей у открытого окна с кисейными занавесками, или лежащей в гамаке, в тени старых яблонь, и непременно с книжкою в руке. По манере ее чтения и по легкомысленным переплетам книг я был убежден, что она читает переводные романы. Возвращаясь домой поздною ночью, я всегда заставлял в ее окне свет. Вставала она поздно, в то время, когда муж ее, в одиночку напившись чаю, уже уходил в город, и по ее бледному, немного измученному лицу я видел, что она спала плохо и мало.

III

Прошло около месяца. В городе кончились экзамены, и муж блондинки совсем поселился на даче. Целыми днями он возился в своем садике: поливал его, полол, выравнивал заступом газоны, стругал какие-то палочки и втыкал их в

землю. Почти у каждого человека, где бы он ни служил, чем бы ни занимался, всегда есть маленькая посторонняя слабость, которую он любит гораздо более своего «настоящего» дела: у одного охота, у другого клейка картонажей, у третьего собирание коллекции мундштуков, у четвертого какое-нибудь ручное мастерство. Видно было, что страсть учителя — цветы, так нежно он за ними ухаживал. В комнатах у него я также заметил много горшков с редкими растениями, которые он часто и заботливо вытирал губкою, окуривал, подрезывал ножницами и поливал.

По субботам к соседям приезжали из города знакомые, человек пять мужчин, на вид тоже учителей, с женами и детьми. Видно было, что гости и хозяева составляют давно свыкшееся, сплоченное общество: так все они просто и непринужденно держались друг с другом. Хозяин нанимал пару простых телег, вся компания с шумом и хохотом рассаживалась и уезжала в лес собирать грибы и ягоды. Вечером играли в винт, пели, смеялись и, наконец, оставались на даче ночевать, причем мужчины все до одного лезли на сеновал.

Это была счастливая жизнь, незатейливая, конечно, не богатая, но радостная, свежая, честная, ничем не смущаемая. И чем больше я на нее смотрел, тем более убеждался, что я был прав, избегая с соседями знакомства. Впрочем, с мужем мы уже раскланивались издали. Поводом к этому послужило наше обоюдное вмешательство в вооруженное столкновение, происшедшее на улице между его сыном и маленьким братишкой Ганнуси. Однако наши отношения только одними поклонами и ограничились, но дальше не пошли.

Прошло уже довольно много времени с моего переезда на дачу. Одна за другой отцвели: сначала яблони и вишни, потом черемуха и за нею сирень. Соловьи уже стали прекращать свои ночные концерты. Блондинка попрежнему читала и хозяйничала, муж ее хлопотал целый день в палисаднике, я ловил окуней и ершей. Знакомство мое с соседями не подвигалось.

Однажды утром к калитке учителя подъехала телега. В телеге сидел плотный, высокий господин, — я никогда не видел его в числе соседских гостей, — по наружности актер или певец: бритый, с целой гривой курчавых волос, с большим квадратным лбом, с крупными складками у

углов рта, с высокомерно выдвинувшейся вперед нижней губой, с презрительными глазами под нависшими наискось, как у Рубинштейна, верхними веками. Не видя никого вокруг, приезжий некоторое время сидел молча в телеге и оглядывался по сторонам. На стук подъехавшей телеги из сада вышел учитель в своей синей блузе, с заступом в руке. Закрываясь рукою от солнца, он долго вглядывался в приезжего. Потом они, должно быть, узнали друг друга. Приезжий гибким, сильным движением спрыгнул с телеги, учитель кипулся к нему навстречу, и они расцеловались.

Особенно растроган этим событием был учитель. Он суетился, бросался от своего друга к мужику, снимавшему с телеги чемодан и прочие вещи приезжего, и от мужика опять к своему другу. Наконец они оба, в сопровождении мужика с вещами, пошли в дом, причем учитель вел приятеля, обняв его за спину, и любовно заглядывал ему в глаза. Приезжий был выше своего друга на целую голову; он шел легкой и упругой походкой, свойственной людям, привыкшим к паркету или к подмосткам.

На крыльце их встретила блондинка. По жестам учителя, по церемонному поклону приезжего и по несколько застенчивому движению, с каким блондинка подала ему руку, я увидел, что учитель знакомит жену с своим другом.

«Значит,— подумал я,— актер и учитель не встречались по крайней мере лет десять — двенадцать. Если человек решается приехать сюрпризом в семейный дом, он должен быть в очень близких отношениях к кому-нибудь в семье. Словом, это — друг юности или детства моего соседа, такой близкий и верный, что их дружбы не охладила даже женитьба одного из них. Только где я его видел раньше, этого актера? Очень знакомая физиономия. А впрочем, может быть, это еще вовсе и не актер.

Однако на другой же день я убедился в основательности моего первого предположения. Перед вечером все трое — и хозяева и их гость — пили в саду чай. Приезжий что-то рассказывал очень оживленно с красивыми, изысканными движениями. Вдруг среди рассказа он встал, медленно скрестил руки на груди и опустил голову на грудь, причем лицо его приняло задумчиво-трагическое выражение. Очевидно, он декламировал и, судя по характеру жестов, что-нибудь вроде гамлетовского «Быть или

не быть». Учитель и блондинка смотрели на него с напряженным вниманием. Когда он кончил и с деланным красивым бессилием опустил на скамью, учитель несколько раз похлопал ладонью об ладонь, как будто бы аплодируя. Блондинка не шевелилась. Трудно было сказать, какое впечатление произвел на нее монолог, но ее лицо — впрочем, может быть, это мне только так показалось издали — приняло еще более, чем когда-либо, мечтательное выражение.

Актёр поселился у моих соседей и, повидимому, надолго, потому что привез с собою несколько летних костюмов и целый запас самого разнообразного и самого модного белья. Фамилии — как его, так и его друзей, — для меня остались неизвестными. «Паны, тай годи», — отвечали наивно на мои расспросы хохлы. Однако я до сих пор убежден, что актёра я раньше видел на сцене и что он принадлежит к числу крупнейших светил русского артистического небосклона.

IV

Два дня учитель не мог достаточно нарадоваться приезде друга, не отходил от него ни на шаг, занимал разговорами, показывал ему в палисаднике свои цветы. А цветы у него действительно выросли великолепные, видно было, что учитель мастер своего дела.

Но через несколько дней, когда радость по поводу приезда друга утратила свою первоначальную остроту и присутствие его в доме стало явлением привычным, жизнь учителя вошла в свою обычную колею. Точно так же, как и раньше, вставал он с восходом солнца, сам приносил в лейке воду из ближайшего колодца и до обеда в своей обычной широкой блузе рылся в клумбах. Зато жизнь его жены заметно переменялась с приездом актёра. Вместо прежней белой кофточки с прошивками я теперь постоянно видел на ней нарядные цветные лифы, надетые поверх корсета, с оборками и кружевами. Пышные белокурые волосы, прежде так мило зачесанные назад, теперь познакомились со щипцами и превратились в кудрявую гривку. И даже читала она теперь не более часа в день, потому что все остальное время проводила с гостем. То они ходили рядом по узким извилистым дорожкам палисадника, ожив-

ленно разговаривая, то она лежала в гамаке, тихо раскачиваясь и глядя, закинув назад голову, в небо, а он сидел рядом, с книгой, и читал ей вслух, то, захватив удочки, они отправлялись на берег, и я часто видел их сидящими близко рядом, занятыми разговором и не обращающими внимания на поплавки...

Рассказы актера и разговоры с ним должны были интересовать молодую женщину. Ничто так не привлекает издали людей непосвященных, как рассказы артистов о закулисных тайнах сцены. Я часто видел, как, идя с нею рядом и говоря что-то с красивой и оживленной жестикуляцией, он вдруг останавливался, заставляя ее тоже остановиться и обернуться к нему лицом, и начинал, вероятно, для пояснения своих слов, читать наизусть какой-нибудь монолог. И каждый раз в этих случаях, глядя на его красивую, мощную фигуру, на эффектную пластичность его жестов, я все более и более убеждался, что это далеко не заурядный артист.

Однажды перед вечером я сделал важное открытие: он учил ее сценическому искусству. Он сидел в саду на скамейке перед круглым деревянным столом, на котором обыкновенно пили чай. Она стояла перед ним, точно ученица перед учителем, смущенная, взволнованная, и читала что-то наизусть. Актер слушал, опустив голову вниз, слегка покачиваясь телом и плавно ударяя ребром правой ладони по столу.

Когда блондинка окончила чтение, он быстро бросился к ней, схватил обе ее руки в свои и, с жаром пожимая их, что-то заговорил. Должно быть, он выражал свое восхищение. Она отворачивалась и отнимала руки, но он не выпускал их и продолжал говорить, стараясь заглянуть ей в лицо.

Очевидно, блондинка вкусила сладкого яда восторженных похвал артиста, потому что с этого дня я каждый вечер бывал свидетелем происходивших в саду уроков драматической декламации. Был ли искренен актер, или нет, я не знаю, но он принялся за занятия с блондинкой самым решительным образом. Муж не мешал им. Случалось, во время урока он подходил к ученице и учителю, слушал минут с пять, заложив руки в карманы, потом с добродушным видом трепал актера по плечу и уходил к своим цветам.

К концу месяца я сделал другое открытие, но гораздо более важное, чем первое. Случилось это также вечером, когда прозрачный воздух уже заметно стемнел и в нем носились с густым жужжаньем июньские жуки. Блондинка лежала в гамаке. Она так глубоко задумалась, глядя, по своему обыкновению, вверх, что не услышала шагов осторожно к ней подходящего актера. Актер подкрался совсем вплотную к своей ученице, оглянулся по сторонам, желая убедиться, не смотрит ли кто-нибудь за ним, и затем, быстро нагнувшись, поцеловал блондинку в волосы. Она вздрогнула, слегка привстала в гамаке и вдруг, к моему удивлению, вместо того чтобы рассердиться или крикнуть на актера, она нежным движением обвила руками его шею, притянула его лицо к своему и... пауза в три минуты... Я поспешно отвернулся. Хотя все мною виденное и не касалось меня, но я почувствовал к актеру странную ревнивую зависть.

В этот вечер учитель уехал в город. Блондинка и актер провожали его. Они жали ему на прощанье руку, целовали его и смеялись самым дружеским и беспечным образом. Учитель улыбался им и долго еще, сидя в удаляющейся телеге, кивал головою стоящим у калитки жене и другу детства.

На другой день, встав рано утром и выглянув в окно, я был поражен до такой степени, что сначала не верил своим глазам. Около калитки моего соседа стояла телега, нагруженная вещами, в числе которых я узнал весь багаж, привезенный актером. Вскоре и он сам вышел из дому вместе с блондинкой. Оба были в дорожных платьях. Блондинка казалась утомленной, лицо ее побледнело, веки покраснели, видно было, что она в эту ночь не спала, и вместе с тем она имела вид человека, решившегося на какой-то роковой, невозвратимый шаг. Поддерживаемая под локоть актером, она села в телегу. Следом за ней влез актер и сказал что-то хохлу, сидевшему на облучке. Хохол ударил кнутом лошадей, телега загрохотала по дороге и... вдруг остановилась...

Маленький учитель в золотых очках, бог весть откуда взявшийся, стоял посреди дороги, держа лошадей под уздцы. Вид у него был растрепанный, немножко смешной, но чрезвычайно решительный. Он кричал что-то, чего я не мог расслышать.

И вдруг он бросился, как пуля, в телегу, схватил актера за шиворот и выкинул его на землю. Признаться, это было поразительное зрелище. Но дальше было еще страннее. Я ожидал, что актер — этот большой, массивный, величественный и гордый человек — станет драться, сопротивляться, или хотя бы по крайней мере начнет объяснение. Нет, он побежал вперед с поразительной быстротою, потерял по дороге круглую шляпу и — я заметил это! — все время подтягивал панталоны. Ей-богу, я ожидал всего, даже кровопролития, но не этого театрального эффекта.

Но конец всей этой истории меня не только удивил, но растрогал, потряс и почти ужаснул.

Они оба — блондинка и учитель — прошли мимо моих окон, в расстоянии каких-нибудь пяти-шести шагов от меня. И я почти видел, каким счастьем сияли ее глаза, я видел и слышал, как она целовала его учительскую, растрепанную бородавку, и слышал также, как она говорила, задыхаясь:

— Нет, нет, нет! Никогда в моей жизни ничто подобное не может повториться. Он только притворялся мужчиной, а ты настоящий, смелый и любящий мужчина.

Тогда я закрыл окошко и больше за моими соседями не наблюдал.

НОЧЛЕГ

В последних числах августа, во время больших маневров, N-ский пехотный полк совершал большой, сорокаверстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчащими на нем желтыми колючими остатками соломы.

След отряда издали обозначался длинной извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли, совершенно окутанные ею. Пыль скрипела во рту, садилась на вспотевшие лица и делала их черными. Только зубы да белки глаз сверкали своею белизною на этих измученных, исхудавших, казавшихся суровыми лицах. Согнувшись под тяжестью ранцев и надетых поверх их скатанных в кольца шинелей, солдаты шли молча, враздробь, едва волоча усталые ноги. Лишь изредка, когда чей-нибудь штык с лязганьем задевал о соседний штык, из рядов слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высыпались и томились от зноя, усталости и жажды. Некоторые вяло, без всякого аппетита, чтобы только чем-нибудь сократить время длинного и скучного перехода, жевали на ходу розданный утром хлеб.

Офицеры шли не в рядах — вольность, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, — а обочиною, с правой стороны дороги. Их белые кителя

потемнели от пота на спинах и на плечах. Ротные командиры и адъютанты дремали, сгорбившись и распустив поводья, на своих худых, бракованных лошадях. Каждому хотелось как можно скорее, во что бы то ни стало дойти до привала и лечь в тени.

Поручик Авилов, болезненный, молчаливый и нервный молодой человек, шел против первого ряда своей одиннадцатой роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, португя оттягивала плечо, в голове мягко и тяжело билась кровь. Но более всего угнетала Авилова всегда овладевавшая им во время похода тупая скука, от которой он старался избавиться каким-нибудь мелким занятием. То он срывал с придорожной ивы гибкий хлыст и отчищал его зубами и ногтями от коры, то старательно сшибал шашкою пунцовые головки колючего репейника, то, наметив вдали какой-нибудь пункт, старался угадать, сколько до него шагов, и потом проверял себя. Наконец, когда все это ему надоедало, он принимался «мечтать», как, бывало, делал еще в корпусе, за всенощной, чтобы убить время. Он мысленно спрашивал себя: «Ну, о чем же теперь?» — и начинал перебирать в уме все, что могло бы ему доставить удовольствие или что раньше заинтересовало его воображение в слышанном и прочитанном. Иногда он представлял себя известным путешественником, вроде Пржевальского или Елисеева. Он собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов, которые трепетали перед одним его взглядом. Он открывал не изведанные еще острова и земли и водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему свету. Когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные встречи. Женщины бросали ему цветы и в восхищении шептали одна другой: «Вот он, вот тот самый знаменитый!» Иногда он воображал, что маневры уже окончились и он идет со своей ротой на вольные работы к какому-нибудь помещику, баснословно богатому и непременно с аристократическим именем. У помещика есть дочь — бледная, задумчивая красавица. Светские кавалеры давно опротивели ей своей бесцветной пустотой, и она с первого взгляда же влюбляется в простого пехотного поручика, бедного и гордого, постоянно замкнутого в себе, «с печатью разочарования на челе». Лунная ночь, свидание в старом запущенном саду, пламенные признания в

любви... «Нам необходимо расстаться,— говорит мрачно Авилов,— ты богата, а я нищий, мы не будем никогда счастливы». Помещицья дочь плачет у него на груди, он утешает ее. Из-за кустов неожиданно появляется сам помещик, растроганный, со слезами на глазах: «Дети мои,— говорит помещик,— я хочу, чтобы вы любили друг друга. Не деньги, а истинная любовь приносит людям счастье». С этими словами он благословляет влюбленных; все трое обнимаются и плачут. Через несколько дней в приказе по полку товарищи с удивлением и завистью читают, что поручик Авилов, рапортом за № таким-то, просит разрешения на вступление в первый законный брак с девицею, княжною Зэт...

Порою фантазия так ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и серые, однообразно шагающие ряды солдат переставали для него существовать. Он шел с низко опущенной головой, с неопределенной улыбкой на губах, с расширившимися и потемневшими неподвижными глазами. Несколько верст уходили незаметно, и когда Авилов просыпался от своих грез, перед ним уже расстилалась совершенно новая местность.

Вечерние тени удлинились. Солнце стояло над самой чертой земли, окрашивая пыль в яркий пурпуровый цвет. Дорога пошла под гору. Далеко на горизонте показались неясные очертания леса и жилых строений.

Навстречу отряду тянулся бесконечный крестьянский обоз. При приближении солдат хохлы медленно, один за другим, сворачивали своих громадных серых, круторогих, ленивых волов с дороги и снимали шапки. Все они, как один, были босиком, в широчайших холщовых штанах, в холщовых же рубахах. Из расстегнутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темнобронзовые от загара и покрытые бесчисленными мелкими морщинами.

По мере того как солдаты проходили мимо обоза, из рядов сыпались нетерпеливые вопросы:

- Дядька, а далеко еще до Нагорной?
- Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?
- Что, братцы, это там Нагорная видна?

Хохлы лениво, с расстановкой отвечали, что до Нагорной «версты три, або четыре, мабудь, е, с гаком». Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шаг.

Через четверть часа внизу, в глубокой ложине, блеснула синяя, широкая лента реки. Солнце село. Запад пылал целым пожаром яркопурпуровых и огненно-золотых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые оттенки, и только извилистые края прихотливых облаков отливали расплавленным серебром; еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый, почти бирюзовый цвет. Тонкий серп молодого месяца, бледный, едва заметный, стоял посреди неба; первые звезды начинали робко поблескивать в вышине.

— Господа офицеры, по местам! Барабанщики, поход! — закричал в голове отряда раскатистый начальнический голос.

Один за другим, в разных местах длинной колонны, глухо зарокотали барабаны. Солдаты бегом заскакивали в ряды, поправляя на ходу толчком спины и плеч ранец и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. Офицеры, обнажая на ходу шашки, поспешно отыскивали свои места.

Наклон дороги сделался еще круче. От реки сразу повеяло сырой прохладой. Скоро старый, дырявый деревянный мост задрожал и заходил под тяжелым дробным топотом ног. Первый батальон уже перешел мост, взобрался на высокий, крутой берег и шел с музыкой в деревню. Гул разговоров стоял в оживившихся и выровнявшихся рядах.

— Федорчук, не пыли... Подымай, бисов сын, ноги.

— А что, Шаповалов, ловкая у тебя в Зимовицах была хозяйка? А? Как она яво, братцы мои, уфатом!

— Не лезь.

— Очень просто. Потому что он сичас с руками.

— Уж это бесприменно, ребята: как вечером небо красное — к завтрашнему жди ветра.

— Эй, третий взвод, кто за хлебом? Смотри, черти, опять прозевааете!

— Подержи, зсмяк, ружье, я шинель поправлю. А любезная эта самая вешшь, маневра! Куда лучше, чем, например, ротная школа.

— Не отставай, четвертый взвод! Дохлые!

С пригорка была видна вся деревня. Белые мазаные хатенки, тонущие в вишневых садках, раскинулись широко в огромной долине и по ее склонам. За крайние хаты высыпала пестрая толпа, большею частью баб и ребятишек,

посмотреть на «москалей» Запевала одиннадцатой роты, ефрейтор Нога, самый голосистый по всем полку, не дожидаясь приказа начальника, выскочил вперед, попал в такт, оглянулся на идущих сзади, сбил шапку на затылок и, приняв небрежно хмурый вид, преувеличенно широко размахивая правой рукой, запел:

Зима люта-ая проходить,
Весына-красна настаеть,
Весна-красна д'настаеть,
У солдата сердце мреть.

Сто здоровых голосов оглушительно подхватили припев, и каждый солдат, проходя с притворно-равнодушным видом перед глазами изумленной толпы, чувствовал себя героем в эту минуту. «Это все мужичье, разве они что-нибудь понимают? Им военная служба страшнее самого чорта: и бьют, мол, там, и на ученье морят, и из ружья стреляют, и в походы на турков водят. А я вот ничего этого не боюсь, и мне на все наплевать, и никакого я на вас, мужиков, внимания не обращаю, потому что мне некогда, я своим *солдатским* делом занят, самым важным и серьезным делом в мире». Эту мысль Авилов читал на всех лицах, начиная от запевалы и кончая последним штрафованным татаринком, и сам он, против воли, проникался сознанием какой-то суровой лихости и шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив грудь.

Нам ученье чужало,
Между прочим ничего! —

пел Нога, коверкая из молодечества слова и подкрикивая хору жесточайшим фальцетом. Никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины. Люди давно уже издали заметили четырех «своих» квартирьеров, идущих роте навстречу, чтобы сейчас же развести ее по заранее назначенным дворам. Еще несколько шагов, и взводы разошлись, точно растаяли, по разным переулкам деревни, следуя с громким хохотом и неумолкающими шутками каждый за своим квартирьером.

Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся до ворот, на которых мелом была сделана крупная надпись: «кватера Поручика авелова». Дом, отведенный Авилову, заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и бе-

лизною стен, и железной крышей. Половина двора заросла густой, выше человеческого роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками, низко гнувшимися под тяжестью своих желтых шапок. Около окон, почти закрывая простенки между ними, подымались длинные тонкие мальвы со своими бледнорозовыми и красными цветами.

Денщик Авилова, Никифор Чурбанов — ловкий, веселый и безобразный, точно обезьяна, солдат, — уже раздувал на крыльце снятым с ноги сапогом самовар. Увидя барина, он бросил сапог на землю и вытянулся.

— Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не раздувал сапогом, — сказал брезгливо Авиллов. — Покажи, где здесь пройти.

Денщик отворил дверь из сеней направо. Комната была просторная и светлая; на окнах красные ситцевые гардины; диван и стулья, обитые тем же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в деревянных ажурных рамках и два олеографических «приложения»; маленький пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом и, наконец, в углу необыкновенно высокая двухспальная кровать с целой пирамидой подушек — от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки. Пахло мятой, любистком и чебрецом. В Малороссии пучки этих трав всегда втыкаются «для духу» за образа.

Авиллов стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег, закинув руки за голову. Теперь ему стало еще скучнее, чем на походе. «Ну, вот и пришли, ну и что же из этого? — думал он, глядя в одну точку на потолке. — Читать нечего, говорить не с кем, занятия нет никакого. Пришел, растянулся, как усталое животное, выпался, а опять завтра иди, а там опять спать, и опять идти, и опять, и опять... Разве заболеть да отправиться в госпиталь?»

Темнело. Где-то близко за стеной торопливо тикал маятник часов. Со двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор уголья в самоваре. Вдруг Авиллову пришла в голову мысль искупаться.

— Никифор! — крикнул он громко.

Никифор поспешно вошел, хлопая дверьми и стуча надетыми уже сапогами, и остановился у порога.

— Здесь река есть? — спросил Авиллов.

— Так точно!

— А что если бы выкупаться? Как ты думаешь?

— Так точно, можно, вашбродь,— немедленно согласился денщик.

— Да ты наверное говори. Может быть, грязно?

— Так точно, страсть грязно, вашбродь. Так что — прямо болото. Даве кавалерия лошадей поила, так лошади пить не хотят.

— Ну и дурак! А ты вот что скажи мне...

Авилов запнулся. Он и сам не знал, что спросить. Ему просто не хотелось оставаться одному.

— Скажи мне... Хозяйка хорошенькая?

Денщик засмеялся, отер рукавом губы и с конфузливym видом отвернул голову к стене.

— Ну? — нетерпеливо поощрил Авилов.

— Так что... Не могу знать... Они — ничего, вашбродь, хорошенькие... вроде как монашки.

— А муж старый? Молодой?

— Не очень старый, вашбродь. Так точно, молодой. Он писарем здесь, муж ейный, служит.

— Писарем? А почему же как монашка? Ты с ней разговаривал?

— Так точно, разговаривал. Я говорю, смотрите, сейчас барин мой придет, так чтобы у вас все в порядке было...

— Ну, а она?

— Она что ж? Она повернулась, да и пошла себе. Сердитая.

— А муж ее дома?

— Дома. Только теперь его нет,— ушел куда-то.

— Ну, хорошо. Давай самовар да поди скажи хозяйке, что я прошу ее на чашку чаю. Понимаешь?

Через несколько минут Никифор внес самовар и зажег свечи. Заваривая чай, он произнес:

— Ходил я сейчас... к хозяйке-то...

— Ну, и что же?

— Сказал.

— Ну?

— Она говорит: оставьте меня, пожалуйста, в покое. Никакого, говорит, мне вашего чая не надо.

— И чорт с ней! — решил Авилов зевая.— Наливай чай!

Он молча поужинал холодной говядиной и яйцами и

напился чаю. Никифор так же молча ему прислуживал. Когда офицер кончил чай, денщик унес самовар и остатки ужина к себе в сарай.

Авилов разделся и лег. Как всегда после сильной усталости — ему не спалось. Из-за стены попрежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум, похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шопотом. В окне, прямо перед глазами Авилова, на темносинем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь, стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, яркожелтый месяц. Едва Авилов закрывал веки, перед ним тотчас же назойливо вставала скучная картина похода: серые комковатые поля, желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат. На мгновение он забывался, и, когда опять открывал глаза, ему казалось, что он только что спал, но сколько времени — минуту или час — он не знал. Наконец ему удалось на самом деле заснуть легким, тревожным сном, но и во сне он слышал быстрое тиканье маятника за стеной и видел скучную дневную дорогу.

Часа через полтора Авилов вдруг опять почувствовал себя лежащим с открытыми глазами и опять спрашивал себя: спал он или это только была одна секунда полного забвения, отсутствия мысли? Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к самой верхушке тополя. Небо стало еще синее и холоднее. Порою на месяц набегало белое легкое, как паутина, облачко, и вдруг все оно освещалось оранжевым сиянием. Быстрый, сердитый шопот, который Авилов слышал давеча за стеною, перешел в сдержанный, но довольно громкий разговор, похожий на ссору, вот-вот готовую прорваться в озлобленных криках. Авилов прислушался. Спорили два голоса: мужской — низкий, то дребезжащий, то глухой, точно из бочки, какой бывает только у чахоточных пьяниц, и женский — очень нежный, молодой и печальный. Голос этот на мгновение вызвал в голове Авилова какое-то смутное, отдаленное воспоминание, но такое неясное, что он даже и не остановился на нем.

— Спать я тебе не даю? — спрашивал мужчина с желчной иронией. — Спать тебе хочется? А если ты меня, может быть, на целую жизнь сна решила? Это ничего? А? У, под-длая! Спать хочется? Да ты, дрянь ты этакая, ты еще дышать-то смеешь ли на белом свете? Ты...

Мужчина внезапно раскашлялся глухим, задыхающимся кашлем. Авилов долго слышал, как он плевал, хрипел и ворочался на постели. Наконец ему удалось справиться с кашлем.

— Тебе спать хочется, а я, как овца, по твоей милости, кашляю... Вот погоди, ты меня и в гроб скоро вгонишь... Тогда выспишься, змея.

— Да вольно же вам, Иван Сидорыч, водку пить,— возразил печальный и нежный женский голос.— Не пили бы, и грудь бы не болела.

— Не пить? Не пить, ты говоришь? Да ты это что же? Я твои деньги, что ли, в кабаке оставляю? А? Отвечай, твои?

— Свои, Иван Сидорыч,— покорно и тихо ответила женщина.

— Ты в дом принесла хоть грош какой-нибудь, когда я тебя брал-то? А? Хоть гривенник дырявый ты принесла?

— Да вы ведь сами знали, Иван Сидорыч, я девушка была бедная, взять мне было неоткуда. Кабы у меня родители богатые...

Мужчина вдруг засмеялся злобным, презрительным, долгим хохотом и опять раскашлялся.

— Бе-едная? — спросил он ядовитым шопотом, едва переводя дыхание.— Бедная? Это мне все равно, что бедная. А ты знаешь, какое у девушки богатство? Ты это знаешь?

Женщина молчала.

— Ежели она себя соблюла, вот ее богатство! Че-е-сть! Ты этого слова не слыхала? Что? Я тебя спрашиваю, ты это слово слыхала или нет? Ну?

— Слыхала, Иван Сидорыч...

— Врешь, не слыхала. Кабы ты слыхала, ты сама бы честная была. А я тебя разве честную замуж взял? Ну?

— Что же, Иван Сидорыч, я как перед богом... Моя вина... Пятый год прошу прощения у вас.

Она заплакала тихо, тоненько и жалобно. Но ее слезы только еще более раздражили мужа. Он от них пришел в ярость.

— И десять лет проси — не прошу. Никогда я тебя, развратница, не прошу. Слышишь, никогда!.. Зачем ты мне не призналась? Зачем ты меня обманывала? Ага! Ты думала, я чужие грехи буду покрывать? Вот, мол, дурак,

слава богу, нашелся, за честь сочтет чужими объедками пользоваться. Да ты знаешь ли, тварь, я на купеческой дочке мог бы жениться, если бы не ты... Я бы карьеру свою теперь сделал. Я бы...

— Да ведь не сама я, Иван Сидорыч,— отвечала, всхлипывая, женщина,— не своей охотой я пошла-то за вас. Вы сами знаете, как меня маменька била в то время.

Это оправдание довело мужчину до бешенства. Он опять страшно закашлялся, и в промежутках между приступами кашля Авилов услышал целый поток озлобленной скверной ругани. Потом вдруг в соседней комнате раздался резкий и сухой звук пощечины, за ним другой, третий, четвертый, и в ночной тишине посыпались беспощадные, рассчитанные, ожесточенные удары. А затем как-то все сразу смолкло. Стало так тихо, что можно было слышать писк червяка, точившего дерево. Авилов лежал, широко раскрыв глаза; сердце его учащенно билось от какого-то жуткого, грустного и жалостливого чувства. Потом он услышал тихий голос женщины, заглушаемый сдержанным плачем.

— Боже мой, господи,— причитала она, рыдая, скрежеща зубами и захлебываясь от слез,— отчего ты мне не пошлешь смерти мучительной? Ведь пять лет... пять лет каждая ночь не обойдется без попреков. Хотя убил бы меня сразу, изверг! За что ты меня терзаешь? За что? Разве я не слуга тебе? Разве я не твоя раба? Ну, хоть бы одну ноченьку ты из меня души моей не выматывал. Одну только ночь! Что же ты думаешь, я того, проклятого, любила? Пусть его господь покарает за меня позорной смертью. Если бы я встретила его, задушила бы, вот так, пальцами бы своими задушила!.. Жизнь он мою загубил, негодяй! Двадцать пять лет мне, я уж старухой стала... Моченьки моей нет!

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, все стараясь припомнить, где он раньше слышал похожий голос, и вдруг неожиданно, сразу, заснул крепким здоровым сном, без всяких видений.

Под утро он опять проснулся. Месяца уже не было видно. Небо из темносинего сделалось светлосерым. Авилов с удивлением опять услышал за стенкою те же голоса.

— Милая моя, дорогая,— говорил мужчина растроганным, ослабевшим голосом,— если бы не это, как бы я тебя

любил-то! То есть ветру на тебя дохнуть не позволил бы. Барыней бы у меня была, вот что.

— Ах, Иван Сидорыч, ну, простите вы меня наконец. Ну, будем, как люди, как все... На что уж я вам послушна, а тогда вот, кажется, мысли бы ваши угадывала...

Наступило молчание, и Авилов услышал за стеною звуки продолжительных поцелуев.

— Ну хорошо, ну хорошо,— заговорил ласково и успокоительно мужчина.— Ну будет, будет... Ты думаешь, мне самому сладко? У меня сердце кровью обливается, а не то что... Голубка моя.

И опять до ушей Авилова донесся долгий поцелуй.

— Да, вот вы говорите — хорошо,— прошептала женщина, слегка задыхаясь,— а завтра опять... Уж сколько раз вы обещались не попрекать больше, а сами... Перед образами божились сколько раз...

— Ну будет, ну перестань... Ты мне только скажи, ты того-то, тогдашнего, не любишь ведь? Правда?

— Ах, Иван Сидорыч, ну что вы спрашиваете? Да я зарезала бы его своими руками, если бы только встретила где!..

Разговор за стеной затих, понизился до шопота, еще чаще слышались поцелуи и подавленный, счастливый смех Ивана Сидоровича.

Сон опять начал сковывать Авилова, но он боролся с ним и все старался припомнить, где он слышал такой же голос? Порою он уже вот-вот готов был вспомнить, но мысли его рассеивались и путались, как всегда у засыпающего человека... Наконец, совершенно засыпая, он вспомнил.

Это было лет шесть тому назад. Он — только что произведенный тогда в офицеры — приехал на лето к своему дяде в имение, в Тульскую губернию. Скука была в деревне страшная, и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого-нибудь развлечения. Охота, рыбная ловля давно надоели, ездить верхом было слишком жарко.

Вероятно, от скуки, он однажды обратил внимание на дядину горничную Харитину, высокую, сильную девушку, тихую и серьезную, с большими синими, постоянно немного грустными глазами. Как-то вечером, встретившись с Харитиной в сених, Авилов обнял ее. Девушка молча отбросила его руки от своей груди и так же молча ушла.

Офицер смутился и, озираясь, на цыпочках, с красным лицом и бьющимся сердцем прошел в свою комнату.

Недели две спустя, в жаркий, истомный июньский полдень, Авилов лежал на краю громадного густого сада, на сене, и читал. Вдруг он услышал совсем близко за своею спиной легкие шаги. Он обернулся и увидел Харитину, которая, повидимому, его не замечала.

— Ты куда собралась, Харитина? — окликнул ее Авилов.

Она сначала испугалась, потом сконфузилась.

— Я тут... вот... купалась сейчас...

Авилов подошел к ней, тревожно оглянувшись по сторонам и обнял ее. Она молча, опустив глаза и покраснев, уперлась руками в его грудь и делала усилия оттолкнуть его. Офицер все крепче притягивал девушку к себе, тяжело дыша и торопливо целуя ее волосы и щеки.

Харитина сопротивлялась долго, с молчаливым упорством и озлоблением. Она была очень сильна. Авилов начал изнемогать и хотел уже выпустить девушку, как вдруг она страшно побледнела, руки ее бессильно упали вниз, глаза закрылись.

Очнувшись, она принялась истерично плакать. Все утешения и обещания Авилова были напрасны. Он так и ушел из сада, оставив Харитину бившейся в рыданиях на траве.

Она об этом случае никому не сказала ни слова и только старательно избегала встреч с Авиловым.

Да, впрочем, и сам Авилов через четыре дня уехал из деревни, по телеграмме матери, неожиданно заболевшей.

С тех пор он не видал Харитины, и только сейчас голос женщины за стеною слегка ему ее напомнил, слегка — потому что Авилов не успел еще разобраться в своих воспоминаниях, как уже опять заснул крепким утренним сном.

— Вашбродь, вставайте! Вставайте, вашбродь. Уж ротный командир пошодши к роте! — будил Никифор разоспавшегося Авилова, тряся его, с должным, однако, почтением, за плечо.

— Мм... а самовар? — промычал Авилов, с трудом раскрывая глаза.

— Никак нет! Вещи все отправлены: фельдфебель приказали. Я уж вас, почитай, целый час будил: изволили ругаться и сказали, что чаю не будете пить.

Авилов сделал, наконец, над собою усилие, быстро вскочил с постели и стал поспешно одеваться. Он боялся опоздать. Поспешно плеснув несколько раз на лицо водою, едва застегнув сюртук, он побежал к сборному месту, на ходу надевая шарф с кобуром и шашку.

Батальоны уже стояли правильными черными четырехугольниками вдоль широкой улицы, рядом, один около другого. Авилов поспешно вступил в свое место, стараясь не встречаться глазами с укоризненным взглядом командира.

Небо было ясное, чистое, нежноголубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной вышине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца.

Через десять минут из-за правого фланга выехал на своем громадном сером мерине полковой командир. Его голос оживленно и явственно раздался в утреннем воздухе:

— Здорово, первый батальон!

— Здра-жла-ва-со!..— весело и бодро крикнули четверста молодых голосов.

Он объехал таким образом все батальоны, затем выехал перед серединою полка, шагов на пятьдесят, откинулся телом назад и, закинув вверх голову, молодцеватым, радостным голосом скомандовал:

— Под знамена! Ша-а-ай! На кра-у-ул!

Батальоны брякнули ружьями и замерли. Прозрачно и резко разносясь в воздухе, раздались звуки встречного марша. Знамя, обернутое сверху кожаным футляром, показалось над рядами, мерно колыхаясь под звуки музыки. Того, кто его нес, не было видно. Потом оно остановилось, и музыка замолкла.

Полк вытянулся в длинную, узкую колонну и двинулся. Солдаты шли бодро, радуясь свежему, веселому утру, отдохнувшие и сытые. Всем хотелось петь, и когда Нога своим звонким, сильным голосом затянул:

Ой да из-под горки, ой из-под крутой
Ехал майор молодой,—

солдаты подхватили припев особенно дружно и согласно.

Извиваясь длинной лентой, полк одну за другой проходил улицы большого села. Авилов издали узнал дом, в котором он провел ночь. У калитки его стояла какая-то женщина с коромыслом на плече, в темном платье, с белым платком на голове. «Это, должно быть, моя хозяйка, — подумал Авилов, — интересно на нее взглянуть».

Когда он сравнялся с нею, женщина быстро, точно от внезапного толчка, обернулась назад и встретила глаза с Авиловым. Он сразу узнал ее. Это была несомненно Харитина: те же глубокие, кроткие глаза, то же серьезное и печальное лицо...

И она его тотчас же узнала. В глазах ее попеременно отразились и изумление, и гнев, и страх, и презрение... она побледнела, и ее ведра упали вместе с коромыслом на землю, дребезжа и катясь.

Авилов обернулся. Тяжелая, острая скорбь внезапно охватила его, точно кто-то сжал грубой рукой его сердце. И почему-то в то же время он показался себе таким маленьким-маленьким, таким подленьким трусишкой. И, чувствуя на своей спине взгляд Харитины, он весь съежился и приподнял вверх плечи, точно ожидая удара.

А рядом с ним — справа, слева, впереди, сзади — здоровые голоса орали с гиканьем, визгом и пронзительным свистом:

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,
Здравствуй, милая моя...

МИЛЛИОНЕР

На третий день рождества, вечером, у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красиловс, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреями и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В «общество» входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через «переходный пункт», местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыкновенное время редко посещали друг друга, во избежание лишних расходов, но на рождество и пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно «балки», на которых танцевали до света под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни.

Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракинской квартиры, которая носила громкое название гостиной, в отличие от другой, называвшейся спальней. На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт, бледный, толстый, отекавший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме штосса и «дьябелка». По бокам Шмидта и друг против друга помещались: отец дьякон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темножелтым

лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали: помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевала и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя «апостолом тихого пьянства». Наконец на самом конце стола приютился Аггей Фомич Малыгин, тоже почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места.

Аггей Фомич вообще избегал, по возможности, ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство — принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало двадцатидвухрублевого ежемесячного жалованья. Каждый, устроенный им по необходимости «балок» производил в домашней экономике страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от угренного чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Аггея Фомича, позеленевший, расползшийся по швам, заплатанный, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Аггея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз.

Аггей Фомич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на-днях родить; кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах; и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Аггей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечере у Ракина взять у кого-нибудь займы несколько рублей. И он

сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он с сконфуженной поспешностью отказывался от каждого предлагаемого ему куска из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина.

Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае, разговор, до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Аггею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение.

Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что «как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги: при них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником— все равно, люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом».

— А ведь я раз чуть не сделался богачом,— сказал задыхающимся голосом Шмидт.— Был я как-то на свадьбе у помещика Порчинского, у того самого, что на Головчине... Собралось там человек двадцать польских панов, и, понятно, после ужина сейчас же штосс. У меня было в кармане, не помню, двадцать или тридцать пять рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по тысяче рублей. Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик, с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной, семпелями, говорит мне: «Отчего же вы ничего не поставите?» Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки, говорит,

ставьте». Ну, я поставил десять — проиграл, еще десять с какой-то мелочью — тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль, так, для памяти я его держал. «Дай, думаю, поставлю и его». Поставил. Представьте себе — дали. Я на пе — дали. Еще раз на пе, и еще, и еще. Минут в пять сорвал весь банк. Банкомет говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел. Мечу. Ну, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас лусь и убью. Набралось у меня тысяч до пятнадцати. Я уже думаю встать, да все как-то жаль: а ну, как я свое счастье упусти? В это время подходит к столу сам Порчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, говорит мне, вам в любви везет, так в карты не должно везти. Дайте-ка я заложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо. Ва-банк!» Все так и рты разинули. Ну, делать нечего, тасую я карты, а он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. «Я, говорит, теперь и метать больше не хочу».

Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами: точно они сами видели эти пятнадцать тысяч и слышали их запах и шелест.

— А вот тоже есть счастливыцы, которые выигрывают на билеты, — сказал, вздыхая, отец дьякон (всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа). — На-днях я читал, ростовщик какой-то двести тысяч цапнул. И хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути божии.

— Н-да, — протянул задумчиво и басом учитель, — бывает. А вот, говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет?

— Да, говорят, — ответил помощник пристава, — только я не знаю, верно ли... А у нас вот в З. с одним копнистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетик. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает: «Какой номер вашего билета, Сергей Иванович?» — «Какой, говорит, не помню уже какой, ну, хоть, положим,

1123-й». — «Поздравляю вас, вы выиграли пятьдесят тысяч». Справились в газетах: точно — 1123-й — пятьдесят тысяч. Ну, тот прямо обезумел от радости! Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке, вместо 1124-го, напечатан 1123-й. Так с этим копнистом нервная горячка сделалась.

И один за другим потекли эти избитые, всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды: о Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем сто миллионов годового дохода, о Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях.

Аггей Фомич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диких, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи, взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были дозарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику.

— Некоторые тоже находят деньги на улице, — выпалил вдруг неожиданно для самого себя Аггей Фомич.

Все поглядели на него с удивлением, — он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Аггей Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть.

— Как же, находят и на улицах, только... в чужих карманах, — сострил помощник пристава.

Все засмеялись больше над опрокинутым лицом Аггея Фомича, чем от остроты помощника пристава, и тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Аггея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким

же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина.

Старые, хриплые стенные часы пробили час. Отец дьякон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться, за ним встали и другие, исключая Аггея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте, в волнении катая дрожащею рукой хлебные шарики. «Вот сейчас Ракитин вернется,— думал Аггей Фомич,— и я попрошу. Нужно только быть смелее... И ведь в самом деле, не съест же он меня за просьбу?»

Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми, но Аггей Фомич вместо того, чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о службе и о жалованье. Ракитин глядел на него слипающимися глазами, делая из вежливости вид, что слушает, и зевая с судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся.

— Ах, какое свинство! — сказал он сонным голосом, — завтра мое дежурство...

Аггей Фомич поспешно встал и начал извиняться. В сениях, взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину.

— Послушай,— произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз,— у меня того... есть к тебе маленькая... то... просьба.

— Что такое? — спросил Ракитин беспокойно.

— Понимаешь... я бы... то... я бы не стал тебя беспокоить... Жена, вот, должна родить... Ты знаешь, понимаешь... необходимо... А я бы, ей-богу, отдал двадцатого... рублей... — он хотел сказать: десять, но испугался сам такой суммы, — рублей хоть пять одолжи.

— Ей-богу, ни копейки, — ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди, — ну, понимаешь, во всем доме — ни копейки.

По чересчур искреннему тону Ракитина Аггей Фомич отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, Аггей Фомич вышел на улицу.

Ночь была лунная, тихая и морозная. Широкие, заваленные снегом улицы, низенькие домики с их белыми снежными шапками, деревья, осыпанные снегом точно ватой,— все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами.

Аггею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру, низкую, холодную, с зелеными окнами, стекла которых по диагонали склеены замазкой, с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным, больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, ел поросенка жареного, а ведь там легли спать впроголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег.

«Господи боже мой,— думал с горечью Аггей Фомич,— отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? Отчего же ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые им, может быть, и не нужны даже. Что если бы мне хоть раз, ну, один только разочек в жизни найти... ну, хоть десять, нет, двадцать рублей! И акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютке, и теплое пальтишко Леле... Сейчас, например, ну почему бы мне не найти бумажника по дороге? Ведь бывают же иногда такие случаи, даже и часто бывают; мало ли об этом пишут и говорят?..»

И, по свойству своего мечтательного ума, Аггей Фомич начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку сторублевых бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую, теплую и светлую квартиру, заводит мебель, шьет семье теплые красивые платья, и... мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги?..

И мало-помалу,— может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самоуверенности,— в душе Аггея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня, даже именно сейчас, должен найти на улице чудесный бумажник. Почему это должно было случиться — он не знал, да и не думал об этом. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги.

— Вот сейчас... сейчас,— шептал он точно в бреду,— другие же находят... еще несколько шагов... сейчас... сейчас...

И вдруг — это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении — он ясно увидел на снегу дороги черный небольшой предмет, правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга, с волосами, стоявшими дыбом, Аггей Фомич оглянулся, как вор, по сторонам и кинулся на лежащий предмет...

В руках его оказался толстый кожаный бумажник... Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Аггея Фомича, но, убедившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой...

Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него кололо под ложечкой, как в горле расширился какой-то сухой и колющий клубок, как кровь напряженно билась в его голове. Но остановиться он не мог, ему казалось, что, в случае минутного промедления, кто-нибудь нагонит его и отыщет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. «Тысячу шапок заведем!» — прошептал он в восторге...

На его бешеный стук в дверь отворила проснувшаяся и испуганная жена, со свечой в руках. Дети также проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. Аггей Фомич тяжело опустился в кресло, бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами...

— Анечка! Дети! — прохрипел он, потрясая бумажником,— вот здесь... в бумажнике... деньги... Сто тысяч... нанимай квартиру. Аня... шампанского... четыреста тысяч... понимаете? Урра-а!

В настоящее время Аггей Фомич так богат, что перед его миллионами все сокровища и Голконды и Калифорнии — ничто. Он держит на конюшне шестьдесят тысяч лошадей и три миллиона пятьсот тысяч карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новой, вновь проложенной с земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр и

каждому бедняку-просителю охотно дарит по миллиону и по два. Он добр, тих, ласков и только одного не переносит — это если кто-нибудь осмеливается дотронуться до его драгоценного кожаного бумажника, заключающего засаленную трехрублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадется под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же...

И, наконец, почему мы знаем? — может быть, безумцы иногда безмерно счастливее нас, здоровых людей?

ПИРАТКА

Он был известен под именем нищего с собакой. Более обстоятельных сведений: биографических, фамильных и психологических, о нем никто не имел, впрочем,— никто им и не интересовался. Это был высокий, худой старик с лохматыми седыми волосами, с лицом закоренелого и одинокого пьяницы, трясущийся, одетый в самое рваное лохмотье, насквозь пропитавшийся запахом спирта и нищенских подвалов.

Когда он входил робкою походкою в какой-нибудь из кабачков самого низшего разбора и за ним, поджав хвост и приседая от робости на ноги, вползала его коричневая подслеповатая собака, то завсегдатаи заведения сразу его узиливали.

— А, это тот, что с собакой!

Старик оглядывался кругом, выбирал какой-нибудь столик, за которым, по его мнению, сидела наиболее веселая, пьяная и щедрая компания, и заискивающим голосом спрашивал:

— Господа почтенные, дозволейте нам с собачкой представление показать?

Случалось, что на свое робкое предложение он получал в ответ только грубое ругательство, но чаще всего перспектива собачьего представления пленяла охмелевших и потому нуждающихся в новых впечатлениях посетителей.

— А ну, валий! Посмотрим, что это за представление выйдет!

Тогда кабачок обращался в импровизированный театр, где артистами являлись старик и его коричневая собака, а зрителями — посетители, половые и даже сам хозяин, толстый и важный, выглядывающий с презрительным любопытством из-за своей стойки.

— Пиратка, иси! — командовал старик. — Иси, подлец ты этакий!

Пиратка подходил к хозяину неуверенной походкой, слабо помахивая хвостом.

— Куш здесь!

Пиратка с глубоким вздохом ложился на пол и, протянув прямо перед собой лапы, глядел на старика с вопросительным видом.

Старик брал небольшой кусочек хлеба, клал его собаке на нос и, отойдя на два шага и грозя пальцем, произносил медленно и внушительно:

— А-аз, буки, веди, глаголь, добро...

Пиратка, удерживая носом равновесие, с напряженным вниманием смотрел на хозяина. Старик делал длинную паузу, во время которой закладывал руки назад и обводил зрителей лукавым взглядом, и потом вдруг громко и отрывисто вскрикивал:

— Есть!

Пиратка нервно вздрагивал, подбрасывал кусок хлеба кверху и, громко чавкнув, ловил его ртом.

Затем нищий приказывал собаке сесть на стул и изысканно учтивым тоном спрашивал ее:

— Может быть, вы, господин Пиратка, папиросочку покурить желаете?

Пиратка молчал и, моргая глазами, отводил морду в сторону. Он знал, что приближается самый ненавистный для него номер программы.

— Так желаете папиросочку? Попросите, может, вам господа пожертвуют? Просите же, просите, не бойтесь. Да проси же, собачий сын! Ну-у?

Пиратка отрывисто и принужденно лаял, что должно было выражать его просьбу. «Господа» великодушно жертвовали папиросу.

— Служи! — приказывал старик.

Пиратка садился на зад, подняв передние ноги на воздух. Папироска втыкалась ему в зубы и зажигалась. Если же дым попадал собаке в нос, и она, к великому

удовольствию зрителей, чихала, старик предупредительно спрашивал:

— Может быть, вам табачок не по вкусу? Вы к дюбеку больше привыкли? Ничего, покурите, покурите!

Затем Пиратка ползал, скакал через стулья, приносил брошенные вещи, изображал лакея, ходил на задних лапах. Самый блестящий номер, носивший оттенок сатиры, выполнялся неизменно в конце представления и всегда вызывал шумный восторг публики.

— Умри! — приказывал старик Пиратке.

И Пиратка ложился на бок, бессильно протянув лапы и голову.

— Ну, вот, умник, Пиратушка, молодчина! — одобрял старик. — Ну, довольно, вставай, пойдем. Вставай же, говорят тебе!

Но Пират не двигался, тяжело дышал и моргал глазами. Старик начинал приходить в отчаяние.

— Пиратушка, миленький, да будет притворяться! Ну, пошутил — и будет. Вставай! Вставай же, голубчик!

Пират не шевелился. Тогда старик от мер кротости переходил к запугиванию.

— Слышь, Пиратка, вставай! Солдат идет...

Пират на это предостережение не обращал никакого внимания.

— Вставай, Пиратка, — дворник идет!

Пират продолжал лежать.

Нищий пробовал после солдата и дворника пугать Пиратку и собачьей будкой, и пьяным купцом, и хозяином заведения, и многими другими лицами и учреждениями, имеющими власть. Но угрозы оказывались безуспешными.

Пират был мертв.

Тогда внезапно старика осеняла блестящая мысль.

Он наклонялся к самому уху собаки и говорил испуганным шопотом:

— Городовой идет!

Это слово магически действовало на Пирата. Он вскакивал, как встрепанный, и начинал с громким лаем носиться по комнате. Посетители кабачка, так или иначе довольно часто сталкивавшиеся с полицией и имевшие с нею более или менее печальные недоразумения, видели в последнем номере Пираткина искусства ядовитый намек на

некоторые темные стороны современной общественной **жизни** и самым шумным образом выражали свое одобрение. Пользуясь этой удобной минутой, старик всовывал в **зубы** Пиратке козырек **своего** рваного картуза, и Пиратка, держа высоко голову, обходил поочередно все столы. Зрители бросали в картуз медную мелочь, а старику подносили стакан водки. Впрочем, попадалась иногда и такая компания, которая, с удовольствием посмотрев на представление, не только прогоняла старика, но еще и угрожала дальнейшими враждебными действиями.

— Ступай, ступай, **не** просдайся. Ишь, тоже выдумал с собакой **по трактирам** шляться. Вот скажу хозяину, так он **тебя** и с твоей собакой выкинет за дверь.

В этих случаях старик молча надевал картуз и выходил из трактира, сопровождаемый Пираткой, робко жавшимся к его ногам. Он шел в другой трактир искать счастья.

Выпадали очень часто тяжелые, ненастные дни для нищего и его собаки. Посетители все, точно сговорившись, были грубы и скучны, и старик с Пираткой возвращались голодные, дрожащие от холода домой. Это были ужасные дни. В углу сырого подвала, где старик платил полтинник в месяц за ночлег, жались они друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Голод с каждой минутой становился мучительней. Еще Пиратка был счастливей своего хозяина. Ему иногда удавалось найти где-нибудь на заднем дворе, возле помойной ямы, старую кость, давно уже обглоданную и с гренебрежением брошенную другими собаками. Озвращаясь пугливо по сторонам, сгорбившись, поджав хвост между ногами, он жадно хватал зубами находку, забирался в какой-нибудь темный, недоступный конец двора и там долго грыз и лизал ее, стараясь обмануть свой аппетит. Старнику приходилось гораздо хуже. Он не мог даже в эти тяжелые минуты одолжиться копейкой или куском хлеба у своих соседей по подвалу. Его не любили и чуждались, может быть за его молчаливость, может за неприятное сожительство с собакой, права которой на ночлег старику приходилось ежедневно отстаивать ожесточенной руганью и даже иногда кулаками.

Но ужаснее страданий голода были страдания нравственные. В такие неудачные дни старик был трезв, и **вся** его нищенская, полная унижений и позора жизнь **вста-**

вала перед ним особенно ярко и неумолимо. Вспоминалась и прежняя жизнь, когда он был еще не кабацким шутом и нищим, не обитателем гнилых подвалов — этих вертепов бедности и порока, а честным тружеником и счастливым семьянином. Случалось, целую зимнюю ночь, длинную и холодную, лежал старый нищий без сна, с тяжелыми мыслями в голове, но страданий своих никогда и никому он не поверял, да его и слушать бы не стали. Во всем мире было только одно существо, привязанное к нему, это — Пиратка, которого он нашел еще щенком, замерзающим на улице, и из жалости отогрел и выкормил.

Зато в удачные дни оба они были сыты, а старик вдобавок пьян и, против обыкновения, разговорчив... Но так как в этом настроении он не находил другого слушателя, кроме Пиратки, то к нему обыкновенно и обращался с длинными рассуждениями и рассказами.

— Ты только посмотри, Пиратка, что я за человек есть, — говорил старик, лежа на своей плоской соломенной подстилке рядом с собакой и глядя ее. — Пьянствуем мы с тобою, народ по кабакам смешим, нищенствуем. Так нешто это жизнь человеческая? Нас с тобою и за людей-то никто не считает. Третьего дня вот купец Пospelов рожу мне горчицей вымазал в трактире. Ему, понятно, это лестно, потому что оно действительно смешно: как это у живого человека вдруг вся его рожа горчицей вымазана? А, ты думаешь, мне это весело? Отнюдь! Может быть, у меня от этой горчицы вся душа перевернулася! Потому что ведь не всегда же мы с тобой, дурашка, такими гнусными да пьяненькими были. Ведь не сразу же мы себя потеряли? Ты вот спроси-ка про меня на литейных заводах господина Мальцева: был ли когда лучший модельщик, чем я? Никогда. Ты думаешь, у нас жены не было? Детей? Угла своего? Ну, положим, жена с приказчиком убегла, тут и удивительного нет ничего: он, приказчик, и на гитаре, и обращение тонкое, и спиртные напитки в руках, шоколад, лимонады разные. Я и запил. А там уж, как детки мои любезные подросли, так они от своего папеньки, срамного да пьяного, отказались. Потому что никак невозможно: благородную линию держат. Вот мы с тобой и остались вдвоем на белом свете, Пиратка: ты да я, вместе и околевать будем. Дай я тебя, друг мой, поэтому сейчас обниму и поцелую.

И он тащил к себе **Пиратку** за голову, причем собака жалобно взвизгивала, обнимал ее и громко и жарко целовал ее в холодный, мокрый нос. Пиратка старался вырваться, но делал это по возможности деликатно, чтобы не обидеть хозяина.

Однажды — это было зимою, во время трескучих рождественских морозов — старик зашел со своею собакою в трактир «Встреча друзей». Там как раз оканчивала праздничный загул большая купеческая компания. Старик и Пиратка проделали все номера своего репертуара, закончив их, по обыкновению, язвительной сатирой на недостатки современного общественного строя. Зрители шумно выражали свое одобрение. Один из них, бакалейный купец Спиридонов, как потом узнал старик, особенно сильно пленился Пираткиным искусством, и тут же ему пришла в голову пьяная блажь: во что бы то ни стало приобрести ученую собачку. Он попл старика и все приставал к нему с просьбой продать Пиратку.

— Послушай, любезный человек, — говорил пьяный купец, — ну, на что тебе собака? Ведь оба вы с голоду подохнете. Продай ты ее мне, прошу я тебя. Теперь у меня, положим, к амбарам три пса приставлено; псы настоящие: мордастые, злые. Однако мне все-таки любопытно, чтоб у меня еще ученая собачка была. Ну, говори, сколько за нее берешь?

Хотя старика развезло от водки и хотя то обстоятельство, что богатый гордый купец Спиридонов упрашивает его, сильно льстило ему, однако Пиратку продавать он не решался.

— Благодетель мой, — говорил нищий коснеющим языком, — ну как я с Пираткой расстанусь, когда я его вот таким маленьким выкормил и воспитал? Ведь это все равно, что друга продать. Нет, никак на это моего согласия не может быть, чтобы Пиратку продавать.

Несогласие нищего еще более разохотило купца приобрести собаку.

— Дурень ты этакий, — сказал Спиридонов, — ведь я же тебе за нее такие деньги дам, каких ты и издали не видал. Можешь ты это понимать или нет?

— Нет, ваше степенство, обидеть вас не желаю, а собачка у меня не продажная.

— Хочешь получить два с полтиной?

— Не могу, ваше степенство!

— Три?

— Не могу.

— Пять?

— Нет, ваше степенство, лучше и говорить не будем.

Но когда купец Спиридонов вынул из толстого бумажника новенькую десятирублевку, старик поколебался. Вид красной ассигнации подействовал на него лучше всяких доводов и упрасиваний. Перспектива сухой, теплой квартиры и горшка горячих щей с мясом ежедневно — окончательно решила судьбу Пиратки. Старик еще продолжал упорствовать, но слабо и нерешительно, и, наконец, сдался совсем, когда купец набавил еще три рубля.

— Бери... твоя, — сказал нищий глухим голосом, жадно скомкал ассигнацию и почти бегом выбежал из трактира.

Прошло пять дней. Старик не пил, спрятал свои деньги и сильно тосковал по Пиратке.

На шестой день собака прибежала с обрывком веревки на шее. Старик ей страшно обрадовался, ласкал, целовал ее и пошел уже было в соседнюю лавочку за хлебом и мясом для собаки, как ему на улице навстречу попался один из молодцов Спиридонова, посланный за Пираткой.

Собаку увели.

Старик тяжело и безнадежно запил. Он потерял и сознание, и память, и представление о времени и месте. Сколько времени это продолжалось, — он не знал: может быть, неделю, может быть, две, может быть, целый месяц. Смутно, точно сквозь сон, вспоминал он потом, что опять держал в своих объятиях Пиратку, что собаку у него отнимали, что собака рвалась и скулила. Но когда и где это было, он не мог сообразить. Он очнулся в больнице после жестокой белой горячки. Сначала больница ему очень понравилась: чисто так, светло, доктора «на вы» говорят, кормят хорошо. Только мысль о Пиратке, первая здоровая мысль, пришедшая ему в голову после нелепой, чудовишной фантасмагории запоя, не давала ему покоя. Мало-помалу страстное желание во что бы то ни стало хоть раз увидеть собаку так овладело стариком, что он с нетерпением ожидал выписки.

Когда он вышел из больницы, был один из тех зимних теплых дней, когда в поле и на улице начинает пахнуть весной. Опьяненный этим пахучим, радостным воздухом,

нетвердо ступая ногами, за время болезни отвыкшими от ходьбы, пошел он к дому Спиридонова.

Неуверенно, робко отворил он калитку и остановился в испуге. Прямо ему навстречу грозно зарычала большая коричневая собака. Старик отступил на два шага и вдруг весь затрясся от радости.

— Пират... Пиратушка... Родимый мой,— шептал старик, протягивая к собаке руки.

Собака продолжала рычать, захлебываясь от злости и скаля длинные белые зубы.

«Да, может быть, это и не Пиратка вовсе? — подумал нищий.— Ишь, какой жирный стал да гладкий. Да нет же,— конечно, Пират: и шерсть его коричневая, и подпалина на груди белая, вот и ухо левое разорванное».

— Пиратушка, миленький мой! Чего же ты сердишься-то на меня, глупый?..

Пират вдруг перестал рычать, подошел к старику, осторожно обнюхал его одежду и завилял хвостом. В ту же минуту на крыльце показался дворник, громадный рыжий детина в красной капаусовой рубаше, в белом переднике, с метлой в руках.

— Тебе чего, старик, надобно здесь? — закричал дворник.— Иди, пиди, откедова пришел. Знаем мы вас, сирот казанских. Пиратка! Пойди сюда, чортов сын!

Пиратка сгорбился, поджал хвост и заскулил, переводя глаза то на дворника, то на своего хозяина. Повидимому, он был в большом затруднении, и в его собачьей душе совершалась какая-то тяжелая борьба.

— Пиратка, сюда! — возвысил голос дворник и хлопнул себя ладонью по ляжке, призывая собаку.

Пиратка еще раз взглянул жалобными глазами на старика, сгорбился больше прежнего и виноватой походкой пополз к дворнику.

Старик, шатаясь, вышел на улицу...

В час ночи на спиридоновском дворе вдруг раздался Пираткин вой, заунывный, настойчивый вой, в котором слышалось осмысленное отчаяние и горе. Спиридонов проснулся от этих зловещих звуков, и ему стало жутко.

— Ишь ты, пес проклятый,— проворчал он, чувствуя, как у него по спине и голове бегают мурашки,— точно смерть чью-нибудь накликает, право.

После этого Спиридонов напрасно старался заснуть. Прошло полчаса, час... Пират все не прекращал своего ужасного воя. Купец встал с постели, надел шлепанцы и, спустившись в кухню, приказал дворнику исследовать причину собачьего воя, а самую собаку отпустить, чтобы спать не мешала.

Дворник оделся и вышел на двор. Было темно, дул ветер, а с неба, из быстро и низко несущихся туч, сеял мелкий, теплый весенний дождь. Пират тотчас же узнал дворника, подошел к нему, лизнул его руку и побежал вперед, изредка останавливаясь и тихим визгом зовя за собою дворника.

Дойдя до запертой садовой калитки, Пиратка остановился и опять начал свой отчаянный вой. Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог ничего разобрать, но потом вдруг он испустил неистовый вопль, окаменев на месте от безумного ужаса, сковавшего его члены.

На ближайшей к решетке развесистой липе слабо качался, едва не касаясь ногами земли, страшный, вытянувшийся человеческий силуэт... Это покончил все жизненные расчеты бывший Пираткин хозяин.

ПОЛУБОГ

I

Шел «Гамлет».

Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет десять тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные, маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Кто знает, может быть в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что три дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены; барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму.

Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали. Декорации королевского дворца висели странными, грубыми, пестрыми картонами.

Публика понемногу наполняла зрительную залу. Из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот.

Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца — черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами.

— «...Он тучен и задыхается...» — произнес Костромской, растерев на ладонях кольдкрем и начиная намазывать им лицо.

Парикмахер вдруг засмеялся.

— Ты чему, дурак? — спросил актер, не отрывая глаз от зеркала.

— Да я... так-с... ничему-с...

— Ну, вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они — мерзавцы, эти писаки газетные. Лают на ветер.

Покончив с кольдкремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало.

«Правда, грим — великая штука, а все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, а вокруг рта глубокие складки... щеки опухли... нос потерял благородные формы. Ну, да мы еще повоюем... Кин пил, Мочалов пил... **наплевать!** Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым... подсоскам этим... покажет, что может сделать настоящий талант».

— Ты, эфиоп, видел меня когда-нибудь? — обратился вдруг Костромской к парикмахеру.

Тот весь затрепетал от удовольствия.

— Помилуйте, Александр Евграфыч... Да я... Господи... Первого, можно сказать, русского артиста, да чтобы я не видел? В Казани собственными руками для вас парики изготовлял.

— Чорт тебя знает... не помню, — произнес Костромской, проводя вдоль носа белилами узкую и длинную черту: — много вас было... Налей-ка!

Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому.

Артист выпил, сморщился и плюнул на пол.

— Вы бы закусывали, Александр Евграфыч,— нежно посоветовал пьяница-парикмахер,— а то, ежели ее голую... так в голову вдаряет крепко...

Костромской почти кончил гримироваться; еще несколько штрихов коричневой краски, и «облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице».

— Давай плащ! — приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула.

Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра.

Толпа все прибывала, Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр, растекалась по ложам, партеру и галлереям, с топотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря.

— Давно такого сбора не было,— заметил с подобострастным восторгом парикмахер,— и-ни одного местечка! Костромской вздохнул.

Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания и безграничной артистической гордости, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увядать его лавры. Прежде, бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленной полутысячи разовых, а то и прямо раскапризничается в середине спектакля и уедет домой, обругав на чем свет стоит и директора, и режиссера, и всю труппу.

Замечание парикмахера очень живо и больно напомнило ему эти годы колоссального, сказочного успеха. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед, да и сам он об этом не решился бы заговорить.

— Налей! — приказал Костромской парикмахеру.

Больше в графине уже ничего не оставалось. Однако вино возбудило артиста. Глаза его, на которых нижние и верхние веки были подведены тонкими и резкими черными чертами, ожили и увеличились, согнутый стан выпрямился, в опухших ногах, плотно стянутых трико, появились упругость и сила.

Окончив туалет, он привычной рукой быстро прошелся по лицу пуховкой, обмакнутой в пудру, поглядел, слегка прищурив глаза, в последний раз в зеркало и вышел из своей уборной.

Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы — каждое его движение казалось проникнутым той легкой и грациозной простотой, которой он, бывший приказчик суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы.

II

Навстречу Костромскому уже мчался сценарист.

В зрительной зале ярко и весело вспыхнул газ. Нестроенный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел.

Раздались звуки торжественного и громкого марша.

Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Только в первых трех рядах можно было рассмотреть лица. А дальше, куда только ни обращался глаз, — налево, направо, вверху, внизу, — колыхалась в каком-то синеватом тумане бездна пестрых человеческих пятен. Только белые с золотыми арабесками и бархатными малиновыми барьерами бока лож выступали из этой волнующейся тьмы. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения — прежде так знакомого и всегда одинаково свежего и могучего ощущения — мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это — начинающийся паралич истрепанной и усталой души.

На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами.

— Чорт! Идиотство! Все к чорту пошло! Зарезали! — попил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому. — Эй вы, дьяволы, давай занавес! Выйду и анонсирую сейчас, что спектакля не будет. Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!

— То есть как это Офелии нет? — изумился Костромской и нахмурил брови. — Да вы шутите, что ли, мой друг?

— Вовсе мне не до шуток, — огрызнулся режиссер. — Вот сейчас только, за пять минут всего, полюбуйте-ка, что эта идиотка пишет! «Угорела, лежу в постели и играть не могу». А? Нет, каково вам это покажется? Это, батенька, не фунт изюму, с вашего позволения, а отмена спектакля.

— Замените же ее кем-нибудь, — вспыхнул Костромской. — Какое мне дело до ее фокусов?

— А вот извольте заменить: Боброва — Гертруда, Маркович и Смоленская — свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно, — девица на выходах, не предложить ли ей?

Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке, с бледным нежным личиком и большими синими глазами.

Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась.

— Кто это? — осведомился вполголоса Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки.

— Юрьева. Тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, извольте ли видеть! — ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь.

— Послушайте-ка, Юрьева, вы «Гамлета» читали когда-нибудь? — спросил Костромской, приближаясь к ней.

— Конечно, читала, — произнесла девушка тихим, смущенным голосом.

— Могли бы сыграть вот сейчас Офелию?

— Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть.

Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку.

— Видите ли... Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка! Вы нас всех выручите!

Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, года три тому назад, своей удивительной игрой

пробудил в ее молодом сердце; сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие, и часто после того, как видела его в «Кине», или в «Семье преступника», или в «Уризле Акоста», она плакала по ночам. Величайшим и никогда, повидимому, недостижимым счастьем она считала тогда возможность... не говорить с Костромским, нет, нет, об этом она не смела и мечтать, а только видеть его вблизи, в обыденной обстановке.

Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованный славой и пресыщенный женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиций двух синих больших глаз, постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием.

— Ну, так как же? Можно принять ваше молчание за согласие? — настаивал Костромской, с пытливой лаской заглядывая в лицо девушке и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой — он знал! — невозможно устоять женщине.

Рука Юрьевой дрогнула в руке артиста, ресницы ее глаз опустились, и она ответила покорно:

— Хорошо! Я сейчас оденусь.

III

Занавес поднялся, и, как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков.

Костромской, стоя около трона короля, много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором ярусы театра сверху донизу.

Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог:

Сколько нам ни драгоценна память брата,
Похищенного смертью, и прилично б было
Предаться скорби о его потере,
Но благо общее и мудрость наша
Заставили нас поступить иначе..

Энтузиазм толпы взволновал Костромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета!

Побольше брата и поменьше сына...

прозвучали такой мрачной иронией и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей.

И на лицемерное утешение королевы Гертруды:

Таков наш жребий, всех живущих, умирать,—

он медленно, с упреком поднял на нее свои длинные, до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой:

Да, королева,— всем живущим умирать,
Таков наш жребий.

После этих слов, проникнутых тоской по умершем отце, отвращением к жизни, покорившейся пред роком, и горькой насмешкой над легкомыслием матери, Костромской почувствовал особым, тонким, необъяснимым чутьем опытного актера, что теперь публика всецело принадлежит ему, потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь.

Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы:

Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахом,
О, для чего ты крепко, тело человека!

Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен. Он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полушопота, то переходил в рыдания, едва сдерживаемые усилиями воли.

И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова:

Но сокрушайся, сердце,
Когда язык мой говорить не смеет!

— Нет-с, публика знает Костромского, и Костромской знает публику,— сказал артист, выходя после первого акта за кулисы.— Эй ты, крокодил, водки! — обратился он тотчас же к подошедшему парикмахеру.

IV

— Ну что же, папаша, разве, по вашему мнению, не хорошо? — спросил маленький актер на выходах у Яковлева, патриарха провинциальных театров, игравшего сегодня короля.

Оба стояли на лестнице, ведущей из уборной на сцену. Яковлев пожевал своими толстыми, отвисшими губами.

— Хорошо! Хорошо-то хорошо, а все-таки... мальчик. Кто видел в «Гамлете» Мочалова, того, братец ты мой, уже ничем не удивишь. А я, братец мой, еще вот таким поросенком, как ты, был, когда удостоился этого счастья. И когда умирать буду, так вспомню этот самый миг, как блаженнейший в моей жизни. Понимаешь ли, когда на сцене он вставал с полу и говорил: «Оленя ранили стрелой» — так зрители, как один человек, поднимались, не смеядохнуть, со своих мест. А вот ты нарочно посмотри, что он делает в этой сцене.

— Очень уж вы строги, Валерий Николаич.

— Ничего не строг. Да вы и смотреть-то, по правде говоря, не умеете. Ты думаешь, я на кого гляжу?

— А на кого-с?

— Ты посмотри-ка, братец мой, на Офелию... Вот это — актриса!

— Да ведь она, Валерий Николаич, на выходах.

— Идиот! Ты ведь, небось, и не заметил, как она это сказала:

Он о любви мне говорил, но так
Был нежен, так почтителен и робок!

Конечно, не заметил. А я вот скоро тридцатый год на сцене и скажу тебе, что еще ничего подобного не слышал. Это — талант. И помяни мое слово, что ее в четвертом акте публика так примет, что твоему Костромскому жарко делается. То-то!

V

Трагедия шла. Предсказание патриарха, повидимому, сбывалось. Увлечения Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелище громадной толпы

поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, которые он всего года два-три тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене.

Костромской, опьяненный первым шумным криком, который ему сделала публика, уже растратил в первом действии этот незначительный запас. Его воля ослабла, приподнятые нервы размякли, и даже усиленные приемы алкоголя не могли оживить их. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла, и хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обаянию его знаменитого имени.

Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперед Офелия — Юрьева. С этой незаметной актриской, исполнившей до сих пор самые невыигрышные роли наперсниц и гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония — нежной, кроткой и послушной девушки, с ее глубокими чувствами и сильной любовью, с ее душой, отравленной ядом печали.

Юрьевой еще не рукоплескали, но за ней уже следили, и, когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, вырывая у него внимание толпы и успех, а зрители так же бессознательно следили за этой борьбой.

Третий акт был роковым для Костромского.

В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король и Полоний уславливаются, спрятавшись, подслушать разговор Гамлета с Офелией, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низко упавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге.

Быть или не быть — вот в чем вопрос! —

произнес он едва слышно, весь погруженный в тяжелую задумчивость, не замечая Офелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках.

Этот пресловутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Несколько лет назад, в этом же городе, на этой же самой сцене, после того как Костромской заканчивал монолог воззванием к Офелии, в театре наступала на несколько мгновений та странная, чудная тишина, которая говорит красноречивее самых шумных аплодисментов. Зато потом какой восторг охватывал всех зрителей, начиная от скромного посетителя последнего ряда галлерей и кончая изысканным обществом лож бенуара!..

Увы, теперь и сам Костромской и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого.

Ужасное сознание робкой думы!
И яркий цвет могучаго решенья
Бледнеет перед мраком размышленья,
И смелость быстрого порыва гибнет,
И мысль не переходит в дело,—

читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти, и ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, упадет перед ней на колени, произнесет последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии.

И вот он заметил Офелию, обернулся к зрителям с осторожным предупреждением: «тише!», затем, быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул:

Офелия! О нимфа,
Помяни грехи мои в молитвах!

и тотчас же встал, ожидая взрыва рукоплесканий.

Но рукоплесканий не было. Публика недоумевала, оставалась холодна и все внимание перенесла на Офелию.

Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить, и только, когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его: «Принц, здоровы ли вы?» — голос, в котором дрожали слезы сожаления о погибшей любви,— он сразу, в один миг понял все.

Это был момент страшного просветления. Костромской ярко и беспощадно сознал: и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение, и безусловно близкий конец своей шумной, но короткой славы.

О, с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную, невинную и — он мучительно

чувствовал это — такую талантливую! Ему захотелось броситься на нее, ударить, свалить на землю, истоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью. Но он сдержал себя и упавшим голосом ответил:

Благодарю покорно, я — здоров.

После этой сцены Костромского вызывали; но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, раздавалось с галлерей, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти.

VI .

Странствующие актеры играли «Убийство Гонзаго». Костромской, в стороне от придворных, полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом:

— Послушайте, мадам! Как вас? Послуште!

Она слегка наклонилась к нему и отозвалась также шопотом:

— Что?

— Какие у вас красивые ноги! Послуште... Вообще вы вся... этакая милочка.

Юрьева молча отвернула от него лицо.

— Ей-богу, милочка,— не унимался Костромской.— Скажите, у вас в труппе наверно есть любовник?

Она продолжала молчать.

Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его.

— Есть? Это оч-чень, оч-чень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал... Актриса ведь вы — простите за откровенность — никакая. Что же вам на сцене-то делать?

К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага.

А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои.

VII

Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, украшенная соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина.

И, когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей.

Моего вы знали ль друга?
Он был бравый молодец.
В белых перьях, статный воин,
Первый Данин боец.

— Ах, бедная Офелия! Что ты поешь? — спросила ее с участием королева.

Безумные глаза Офелии с изумлением остановились на королеве, точно она раньше не замечала ее.

— Что я пою? — спросила она с изумлением. — Послушайте, какая песня:

Но далеко за морями,
В страшной он лежит могиле;
Холм на нем лежит тяжелый,
Ложь — холодная земля.

Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя, все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене.

Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержу, ни предела своим прихотям и страстям, разгоралась теперь страшная, нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвала из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разра-

зится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей.

«Все это будет хорошо, поверьте, только потерпите... А мне хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю,— слышал он проникнутые безумной тоской слова Офелии.— Брат все это узнает, а вас благодарю за совет. Скорее карету! Доброй ночи, моя милая, доброй ночи!..»

Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого: до такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженною овацией публики.

— Юрьева-а! Брав-о-о!..

Она вышла и раскланялась.

Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала:

— Позвольте мне пройти.

— Будьте осторожнее, молодая особа! — возразил он злобно и заносчиво.— Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться! — И, видя ее молчаливый испуг, он, еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул.— Да проходите же, чорт возьми, окаменелость вы этакая!..

VIII

Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустил и стал еще пьянее, чем прежде; он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась, ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим ватинном.

Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении.

— Александр Евграфыч! Помилуйте! Что вы делаете? Сейчас же ваш выход!

— Оставьте меня, оставьте! — слезливо и в нос пробормотал Костромской, вытирая лицо полотенцем. — Я уже все сыграл... оставьте меня в покое!

— Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет.

— Оставьте же меня! — закричал Костромской.

Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах.

Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл «все». Он сидел теперь один, запершись на ключ в своей уборной, перед зеркалом, между двумя горевшими с легким треском газовыми рожками, и по старой привычке тщательно вытирал лицо, размазывая по нем пьяные, но горькие слезы. Только в тумане вспоминался ему целый ряд блестящих триумфов, сопровождавших первые годы его карьеры. Венки... букеты... тысячные подарки... вечные восторги толпы... лесть газет... зависть товарищей... баснословные бенефисы... обожание красивейших женщин... Неужели все это прошло? Неужели его талант выдохся, исчез? Может быть, даже давно выдохся: год или два тому назад? А он, Костромской, что же он теперь такое? Тема для грязных закулисных анекдотов, предмет общих насмешек и недоброжелательства, человек, оттолкнувший от себя всех близких своей черствой мелочностью, эгоизмом, нетерпимостью и разнузданной заносчивостью... Кончено!

«И если бы всесплывный, — мелькало привычными обрывками в уме Костромского, — не запретил греха самоубийства... О боже, боже!..» — И жгучие, бессильные слезы текли по его когда-то красивому лицу, смешиваясь с не сошедшей еще краской.

Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами, пошел Костромской, минуя кучи наваленного всюду бутафорского хлама, к выходу.

Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно женские рыдания.

— Кто здесь? — окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости.

Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились.

— Кто тут плачет? — вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву.

Девушка плакала, и ее худенькие плечи судорожно вздрагивали.

Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым, проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя, против обыкновения:

— Дитя мое! Я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я у вас не прошу — я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть вы бы простили и пожалели меня... Сегодня, только сегодня, я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит пред этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями, мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы... Ах, ведь вы поймете, что я не рисуюсь перед вами!.. Да. Знаете ли вы, что в последние пять лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего. У ног моих, у ног безграмотного приказчика, лежала толпа. И вдруг в одно мгновение кувырком полететь с этой чудовищной высоты!.. — Он закрыл лицо руками. — Ужасно!

Теперь Юрьева уже перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского.

— Видите ли, дорогая моя, — продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, — у вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене! Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги бездарностей, про двусмысленное покровительство театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это — вздор! Все это — ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта

презренная, эта обожаемая толпа. Но,—голос Костромского нервно задрожал,— не переживайте своей славы! Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает в вас священный огонь! Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика.

И, быстро отвернувшись от Юрьевой, хотевшей что-то сказать ему и даже уже протянувшей вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены.

— Послушайте, Александр Евграфыч,— догнал его на подъезде режиссер,— идите же в кассу получить деньги.

— Отвяжитесь от меня! — досадливо отмахнулся рукой Костромской. — Я кончил... Я все кончил.

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий, веселый пес отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собою сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул,— Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать

до колбасной, от колбасной до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом,— и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой мышастый немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны и на шее болтался широкий истертый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги,— подумал Джек.— Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит болван боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему

запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека, паружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поспорил на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось назад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, повидному, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом... Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапках, туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой болсе или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, повидному, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии

к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

— Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

— Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.

— Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал,— пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги.— Вы изволили сказать: в жи...

— Да, в живодерне,— подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.

— Извините... но я вас не совсем точно понял... Живодерня... Что же это за учреждение — живодерня? Не будете ли вы так добры объяснить?..

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

— Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

— Эка невидаль! — послышался хриплый голос из темного угла.— Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один

Бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал:

— Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!

И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.

— Я там бывал три раза,— продолжал пудель,— но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак...

— Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила левретка.

— Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта, пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

— ...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

— Чорт возьми! Какая низкая подлость! — воскликнул Джек.

— Я сейчас упаду в обморок... мне дурно,— прошептала левретка.

— Это ужасно... ужасно! — простионала такса.

— Я всегда говорил, что люди подлецы! — проворчал мышастый дог.

— Какая страшная смерть! — вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:

— Однако этот суп ничего... недурен... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

— Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но,— приготовьте ваши нервы, mes-

dames,— но этого мало. Для того чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

— Какое бесчеловечие!..

— Какая низость!

— Но это же невероятно!

— О боже мой, боже мой!

— Палачи!..

— Нет, хуже палачей!..

После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.

— Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? — крикнул запальчиво Джек.

— Будьте добры, укажите это средство,— сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

— Перекусать всех людей — и баста! — брякнул дог озлобленным басом.

— Вот именно-с, самая радикальная мысль,— поддержал подобострастно Бутон.— По крайности будут бояться.

— Так-с... перекусать... прекрасно-с,— возразил старый пудель.— А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволите быть с ними знакомы?

— Гм...— откашлялся дог.

— Гм...— повторил Бутон.

— Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь... Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник,— вещи, я думаю, всем вам, господа, безызвестные?.. Предположим, что мы, собаки, со временем и задумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.

— Ну, разве философия,— сказала такса на ухо Джеку.— Терпеть не могу стариков с их поучениями.

— Совершенно справедливо, mademoiselle,— галантно махнул хвостом Джек.

Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:

— Эх, жизнь собачья!..

— Но где же здесь справедливость,— заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка.— Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

— Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам,— поклонился пудель.

— Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, повидному, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености; скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями...

— Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильней и умней,— возразил с горечью Арто.— О! Мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных... Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

— Уделит, непременно уделит,— согласились слушатели.

— Гм! — крикнул дог с сомнением.

— Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда — это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

— Действительно так,— подтвердили слушатели.

— Скажите еще,— продолжал белый пудель,— разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устройстве собачьего счастья? А люди это делают!

— Чорт побери! — вставил энергично мышастый дог.

— В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее и, повинуясь инстинкту, сбились в кучу.

— Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор!.. — услышал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.

— Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, — огрызнулся старый пудель. — Не до вас мне.

— Нет, я только одно замечание... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибку сделали... Да-с.

— Да отвяжитесь от меня, чорт возьми! Какую там еще ошибку?

— А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профес-

сор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» — закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.

Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.

КЛЯЧА

Моросил мелкий дождик. Улица казалась пропитанной туманом. Незаметная холодная влага оседала на лица прохожих. Все эти люди, куда-то торопливо бегущие с поднятыми воротниками и раскрытыми зонтиками, имели скучный или угрюмый вид. Встречаясь с нашей процессией, они снимали шапки и с холодным любопытством осматривали: оборванных факельщиков с распухшими, сизыми, зверскими лицами, идущих парами, подобрав подолы траурных кафтанов и шлепая дырявыми сапогами по лужам; пару лошадей в черных пополах, с чехлами для ушей и с огромными страшными отверстиями для глаз; черный, обшитый серебряным позументом катафалк, на вершине которого стоял белый глазетовый гроб, а на нем жестяной зеленый венок; наконец длинный ряд наемных экипажей, наполненных равнодушными, немного скучающими, немного конфузющимися мужчинами и женщинами.

В этой процессии, медленно ползущей по грязи, под сплошным, мелким, осенним дождем, было что-то жалкое, подавляющее, ужасное. Мне представлялось, что если бы то, что было раньше бедным Пашкевичем, а теперь плавно колыхалось вместе с белым глазетовым гробом на катафалке, если бы это холодное, уже тлеющее тело могло как-нибудь выражать свои желания, оно раньше всего потребовало бы: «Оставьте меня в покое, разойдитесь по домам, зачем играть эту страшную комедию?»

— Вы будете на могиле говорить речь? — спросил я моего соседа по извозчику, публициста одной из местных газет, Васютина — маленького желчного человека, которого я всегда любил за его великодушное горячее сердце, скрывавшееся под напускным цинизмом.

Он первно поморщился.

— Конечно, не буду.

— Почему же?

Он с досады схватился руками за лицо, ожесточенно стиснул его несколько раз между ладонями, побряхтел, точно от внезапной зубной боли, и заговорил с волнением:

— Почему? А по тому самому, что там и без меня этих говорильщиков найдется пропасть... О черт! Тартюфы, лицемеры проклятые! Я наперед знаю все пошлости, которые они будут произносить с их жреческим видом. «Святое знамя искусства!.. Неугасимый огонь на священном алтаре поэзии!.. Честный сеятель на ниве просвещения!..» Нет! Если бы я уж стал говорить, я бы действительно сказал им пару теплых слов.

— Что бы вы им сказали, Антон Захарович?

— А вот что я им сказал бы... «Все мы, литераторы, возьем вперед нашу пресловутую колесницу прогресса. В этом нет никакого сомнения, но в этом также нет и ничего удивительного. И волы и ослы возят тяжести, потому что они послушны, упорны, выносливы и в конце концов уверены, что за свой труд они найдут в яслях охапку сена... Но знаете ли, что выйдет, если в телегу, нагруженную булыжником, запрячь кровную арабскую лошадь? Благородное животное будет лезть из кожи, надорвет спину, разобьет грудь, искалечит ноги и сделается клячей. Тогда его выгонят в поле околевать, и оно издохнет. А трудолюбивые волы дома еще долго будут жевать свое сено, возить тяжести и равнодушно отмахиваться хвостом, когда их бьют по бокам палкой...» И я бы кончил свою речь так: «Милостивые государи! Пашкевич был талантливее нас всех, здесь собравшихся... Это была избранная натура, нежная, возвышенная и пламенная. И хотя он, потерявший всякую способность к работе, терзаемый жестоким недугом, скончался, никем не оплаканный, на грязной больничной койке, я все-таки ему завидую».

— Вы его близко знали, Антон Захарович?

— На что же еще ближе! Я был в тот самый день в редакции, когда он принес свой первый рассказ. Он краснел, бедняга, как девочка, и заикался, объясняясь с секретарем. В его фигуре и словах было что-то виноватое, точно он совершил какой-то несерьезный, детский поступок, над которым мы, авгуры печатного слова, должны будем засмеяться. Когда он брал свой первый гонорар, на него было жалко посмотреть. Мне кажется, что с таким видом человек совершает свое первое воровство. Скажите мне, сделайте милость, отчего это я всегда сам испытывал и на других наблюдал эту странную неловкость у писателей при получении гонорара? Оттого ли, что мы, русские, не созрели для печатного слова, или от сомнения в своих силах и, следовательно, в своем праве жить литературным трудом?

Я отлично помню его первые произведения. Сколько в них было огня, яркой и смелой, почти дерзкой своеобразности. И как он работал над ними! С любовью, с бесконечным терпением. Он трудился над ними, как ювелир над драгоценным алмазом, но читателям казалось, что они выливались у него с одного почерка, так они были легки и изящны по форме.

Успех опьянил его, и он решил отдать все свои силы и самого себя литературе. То болото, в котором мы с вами барахтаемся, ему казалось храмом. Компания бездарных плагиаторов, избравших литературу только средством к жизни, что у них нехватало ни ума, ни знаний, ни даже простой грамотности для других профессий, эти господа, рекламирующие рестораторов и шансонетных певиц, рисовались в его чистом воображении борцами, подвижниками...

Нет! Он ни разу не приложил руки к позору газетного дела. Но мало-помалу его произведения стали принимать характер спешной работы. Нужно было жить. Ведь никто не накормил бы его обедом и не купил бы ему ботинок за одну только его талантливость. Он хватался за первую попавшуюся тему и часто начинал писать, не зная, чем кончить. Он писал на краешке редакционного стола, заваленного газетами, под шум, смех и телефонные звонки. И все-таки, несмотря на эту лихорадочную торопливость, порою в его рассказе вспыхивала такая искра таланта, попадалось такое удивительное сравнение, такое ма-

стерское описание, что радость у меня разливалась по душе...

Я знаю, иные беллетристы выдерживают такое ужасное напряжение целыми годами. Но Пашкевич был в этом отношении похож на те великолепные, но чересчур нежные экзотические цветы, которые вянут без оранжерейного ухода, тепла и света. Напрасно он прибегал к вину и морфию. Через полтора года после первого рассказа он уже не мог выжать из своего больного, переутомленного мозга ни одного, даже самого шаблонного сюжета.

А жить опять-таки было нужно. К тому же он женился. Знаете, так женился, как женятся все эти талантливые безумцы, дети в практической жизни. Какая-то беловшвейка, или шляпница, или что-то в этом роде... соседство, темная лестница и, наконец, глупая... да, положительно, глупая честность, какая-то дурацкая строгость к самому себе... Эта красивая тварь, кажется, презирала Пашкевича всеми силами своей низкой, мещанской душонки, презирала за его кротость и всликодушие, за его неловкость, малокровие, непрактичность. Она делала ему скандалы на улице и обманывала его со всей местной литературой и военщиной. У них рождались дети — писательские дети: бледные, золотушные, рахитические. Она кричала ему на своем базарном жаргоне: «Вот они, твои дети, ты должен их кормить, почему же ты не пишешь? Садись сейчас же за стол и пиши!»

Ах, как он много писал в то время, мой милый, кроткий Пашкевич! Он сделался репортером и пробовал писать передовые статьи. Но ему был труден этот специальный напыщенный язык, несравненно более нелепый, чем язык полицейских рапортов. Иногда он по целому часу сидел в бессильном отчаянии, стараясь связать два предложения, оба начинающиеся с местоимения «который».

Ну, да что толковать,— воскликнул Васютин с озлоблением и горем.— Известная история: упадок сил, чахотка, слепота...

В четыре года сгорел человек дотла, что называется. О, подлость!

Мы приехали на кладбище. У всех были деланные, торжественные лица. Земля глухо застучала о крышку гроба. Могильщики торопились кончить.

Из толпы вышел высокий, плотный господин в пенсне, с маленькой рыжей бородкой на круглом лице. Он оглянулся по сторонам, откашлялся и заговорил языком плохих некрологов:

— Милостивые государи! Еще одна горестная утрата, еще один честный борец сошел в безвременную могилу... Покойный Пашкевич всегда высоко держал то святое знамя, под которым все мы работаем на общественную пользу, он сеял «разумное, доброе, вечное»... И в нем никогда не угасал тот священный огонь, который...

Сзади слышались странные звуки. Все обернулись. Это Васютин рыдал, облокотившись на решетку какого-то богатого мавзолея.

МОЛОХ

I

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстился по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы.

Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный.

Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия,— привычка, с которой Бобров на-днях начал упорную борьбу.

Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбежали капли. Лужи на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера

вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно прижималась под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатках — все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане.

Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту — неприятный вкус. Но всего большее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе.

По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе.

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал, в этом отношении, с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Наружность у Боброва была скромна, неяркая... Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные, и притом неодинаковой величины, зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были

нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб,— город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха,— восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и т. д.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы бестолку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщицких зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей — инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов — собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинаясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко — раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья...

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев — Свежевского.

Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, — не то крадущейся, не то кланяющейся, — с его вечным хихиканьем и потиранием холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника.

— Что это вас, батенька, так давно не видно? — спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. — Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?

— Здравствуйте, — отозвался нехотя Бобров, отымая руку. — Просто мне нездоровилось это время.

— У Зиненко за вами все соскучились, — продолжал многозначительно Свежевский. — Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас спрашивался. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой.

— Весьма польщен, — насмешливо поклонился Бобров.

— Нет, серьезно... Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только...

«Сейчас что-нибудь неприятное скажет», — подумал Бобров.

— Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! — вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский, — я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать... Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале.

— Опять будем встречать кого-нибудь?

— Совершенно верно. Угадайте, кого?

Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, повидимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость.

— Право, не знаю кого... Да я и не мастер вовсе угадывать, — сказал Бобров.

— Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите...

Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего.

— Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина.

Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброву даже сделалось противно.

— Что же вы тут находите особенно важного? — спросил небрежно Андрей Ильич.

— Как «что же особенного»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как оракула, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал — это, кажется, до вас еще было?.. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к чорту. У вас задувка¹ скоро окончится?

— Да, уже почти готова.

— Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие

¹ Задувкой доменной печи называется разогревание ее перед началом работы до температуры плавления руды, приблизительно до 1600° С. Самое действие печи называется «кампанией». Задувка продолжается иногда несколько месяцев. (Прим. автора.)

отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?

— Ни разу. Фамилию, конечно, слышал...

— А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления... получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию,— лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе незнаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке.

— На-ра-ра-рам! — фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь.

— Да вот... на что лучше... Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водою сияет,— и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает... Обжора он ужасный... и действительно, умеет поест; во всех лучших ресторанах известны битки à la Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел...

И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал:

— Позвольте... это так смешно... позвольте, я сейчас... в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек — чиновник, что ли, какой-то... я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит

в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке... Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины. Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет. Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором — сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо... Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и, чуть свет, везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шопотом: «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть... Ну-с, хорошо... Стоят они, стоят... молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девушка решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, говорит, давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют, и вдруг оба — прыг в коляску. «Что такое? Куда?» — «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!..» Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом... А то вот однажды... Что это? Вы уже уходите,

Андрей Ильич? — прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто.

— Извините, мне некогда, — сухо ответил Бобров. — А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал... Мое почтение.

И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.

III

Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать Фарватера, гнедую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом: «Но-о! Балуй, идол!» и прибавлял, кряхтя от напряжения: «Ишь ты, животная».

Фарватер — жеребец среднего роста, с массивною грудью, длинным туловищем и поджарым, немного выслым задом — легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком. Но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой донской лошади, составляют красоту Фарватера так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскатать Фарватера.

Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякий хороший русский кучер, обращаться с лошадыо сурово, отнюдь не позволяя ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «хамлетом», тем не менее он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше, и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва: Ласточка и Черноморец.

— Поил ты его, Митрофан? — спросил Бобров.

Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера — медлительность и степенность в разговоре.

— Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимши-то. Но, ты, озирайся, леший! Я тебе поверчу морду-то! — крикнул он сердито на лошадь. — Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом итти. Не терпится.

Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв в левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев гривку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя.

— Пусти, пусти поводья, Митрофан! — крикнул он, поймав, наконец, стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле.

Почувствовав шенкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменив несколько раз ногу, фыркая и мотая головой, взял от ворот широким, упругим галопом...

Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа.

Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к числу тех людей, которые, под видом высказывания всякому в глаза «истинной правды», грубо, но приятно льстят начальству, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самым безобразно деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича; любил поесть и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальшивил. Он, незаметно для самого себя, находился под башмаком у своей жены — женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносью.

Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася.

Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. «Уж эта Мака — сама простота», — говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров стушевывалась на задний план в интересах младших сестер (Маке уже перевалило за тридцать).

Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной набок и вниз, как старая пристыженная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила: «Вы такой проницательный... ну вот, определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем: «Кто выше: Лермонтов или Пушкин?» или: «Способствует ли природа смягчению нравов?» — Бету выдвигали вперед, как боевого слона.

Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли «противным» и били по рукам картами.

Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была вырождением среди своих сестер с их массивными фигурами и грубоватыми, вульгарными лицами. Может быть, одна только m-me Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико, все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка вьющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды, и ей поэтому разрешалось все: и обедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер.

Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер

могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности от города, женского общества, и Кася принимала эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки.

Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко, как на гостиницу, толклись там с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей.

В этой семье Боброва недолюбливали. Мещанские вкусы т-те Зиненко, стремившейся все подвести под линию пошлого и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и, наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости и раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже — о! это было всего ужаснее! — даже подозревали, что он «пишет в журналы повести и собирает для них типы».

Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненков. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную, грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз, и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых клейких почек тополя.

Но стоило ему побывать у Зиненков три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их фразы — всегда одни и те же в одинаковых случаях, — шаблонные и неестественные выражения их лиц. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова зиненковского обихода) раз навсегда установились пошло игривые отношения. И те и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь

и уверял, что не отдаст ее; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противным» и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломаньем.

Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она, с ее кокетством дурного тона и душевной пустотой, устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках. Но он не решался и молчал.

Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании «приятных кавалеров», подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прищелкивать языком и задорно выкрикивать: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне: «Мама, Бобров едет, я первая угадала!» А мама, лениво перетирая чайные чашки, обратится к Нине — непременно к Нине — таким тоном, как будто бы она передает что-то смешное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобров едет». И уже после этого все они вместе чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящего Андрея Ильича.

IV

Фарватер шел, звучно фыркая и попрашивая поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сиреней и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов.

На крыльце стояла женская фигура, Бобров издали узнал в ней Нину по яркожелтой кофточке, так красиво

оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув Фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремяна.

— Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого уроды! — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадыю, к которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненко вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили.

Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва.

— А-а-а! Андрей Ильич! Наконец-то вы к нам пожаловали!.. — воскликнула она нараспев.

И, ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила:

— Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите.

— Merci¹, Анна Афанасьевна.

— Merci oui, ou merci non?²

Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.

— Ну, так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, — милостиво разрешила м-ме Зиненко.

Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули:

— А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю? Яблоков? Молока? — Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие.

Играли в «барыня прислала сто рублей», в «мнения» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть в пошуду». Из гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука; был техник Миллер, отличав-

¹ Благодарю (франц.).

² Благодарю — да, или благодарю — нет? (франц.)

шийся красотою, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничего внимания.

Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом; девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали.

Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.

— Дети, идите в комнаты! — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. — Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь.

Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах.

— Нам было очень весело, — щебетали они вокруг матери: — мы так смеялись, так смеялись...

На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка.

— Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич, — нетерпеливо приказала Нина.

— Право, я не знаю, что бы вам рассказать, — возразил Бобров. — Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю: нет ли такого разговорного сборника, на разные темы...

— Фу-у! Какой вы ску-учный, — протянула Нина. — Скажите, когда вы бываете в духе?

— А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе... А разве дурно разговаривать молча?

— «Мы будем с тобой молчали-ивы...» — пропела насмешливо Нина.

— Конечно, будем молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо... Чего же еще?..

— «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», — продекламировала Нина. — А *groros*¹, вы слышали, что

¹ Кстати (франц.).

Зиночка Макова выходит замуж за Протопопова? Выходит-таки! Удивительный человек этот Протопопов.— Она пожала плечами.— Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить — никогда!

Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий, мещанский словарь Зиненок, с выражениями вроде: «Она его любит, но не уважает», «Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения: «брюнет» и «блондин».

И Бобров, из смутного желания разбередить свою злобу, спросил:

— Что же такое представляет собою этот Протопопов?..

— Протопопов? — задумалась на секунду Нина.— Он... как бы вам сказать... довольно высокого роста... шатен!..

— И больше ничего?

— Чего же еще? Ах, да: служит в акцизе...

— И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе! Подумайте: сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных, комнатных фраз. Я знаю: если кто-нибудь упомянет в разговоре про луну, вы сейчас же вставите: «Как эта глупая луна» и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите: «Свежо предание, а верится с трудом». И так во всем, во всем... Поверьте мне, ради бога, что все самобытное, своеобразное...

— Я вас прошу не читать мне нравоучений! — отозвалась резко Нина.

Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости? — думал он. — Ведь она, как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову, и, почему знать, может быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?»

— Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, — сказал он вполголоса.

Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал.

— Нина Григорьевна... Пожалуйста...

Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым, нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрёка:

— Злючка! Всегда вы меня обижаете... пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться!..

И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях.

...И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю...—

пел со страстным и тоскливым выражением Миллер.

— Но кажется мне, что люблю! — повторил взволнованным шопотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу.

«Зачем же, — растроганно думал он, — утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня — простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены,

если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей, мы их нарочно отравляем ядом нашей неутолимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении... Тихая ночь, близость любимой девушки, милые, незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка — господи! Разве не в этом вся прелесть существования?»

Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», — подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость.

Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повести «своих девочек» на вокзал.

— Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры — Лиза Белоконская...

— Это, кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой? — покорно вставил заученную реплику господин Зиненко.

— Ну да, та самая, — снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. — Она еще придется дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретилась в одном обществе с Василием Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод.

— Сумеет ли мы принять, Нюся? — спросил озабоченно Зиненко.

— Как ты смешно говоришь! Мы сделаем, что можем. Ведь уж во всяком случае мы не удивим ничем человека, который имеет триста тысяч годового дохода.

— Господи! Триста тысяч! — простонал Зиненко. — Просто страшно подумать.

— Триста тысяч! — вздохнула, точно эхо, Нина.

— Триста тысяч! — воскликнули восторженно хором девицы.

— Да, и все это он проживает до копейки,— сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила: — Женатый человек. Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена какая-то бесцветная личность и совсем не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа.

— Триста тысяч! — повторила еще раз, точно в бреду, Нина. — Чего только на эти деньги не сделаешь!..

Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам.

— Вот бы тебе такого мужа, деточка. А?

Эти триста тысяч чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. С блестящими глазами и разгоревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы о баснословных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег.

Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил.

И когда он крупною рысью ехал домой и представил себе томные, мечтательные глаза Нины, шептавшей почти в забыты: «Триста тысяч!» — ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского.

— Эта... тоже сумеет себя продать! — прошептал он, судорожно стиснув зубы и с бешенством ударив Фарватера хлыстом по шее.

V

Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», — подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения.

Он любил искренно этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрогивал Бобров, доктор Гольдберг

возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они сучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно.

Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал «Учебный курс металлургии» Мевнуса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением, и непременно из середины, все, что только попадалось ему под руку.

— А я без вас распорядился чайком,— сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва.— Ну, как попрыгиваете, государь мой Андрей Ильич? У-у, да какой же вы сердитый. Что? Опять веселая меланхолия?

— Ах, доктор, скверно на свете жить,— сказал устало Бобров.

— Отчего же так, голубчик?

— Да так... вообще... все скверно. Ну как, доктор, ваша больница?

— Наша больница ничего... живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень, из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все, как на подбор, богатыри. «Что тебе?» — спрашиваю. «Да вот, господин доктор, резал я хлеб для артели, так палец маненечко попортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку: так себе, царапинка, пустяки, но нагноилась немного; я приказал фельдшеру положить пластырь. Только, вижу, парень мой не уходит. «Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку, и ступай». — «Это верно, говорит, заклеили, дай бог тебе здоровья, а только вот што, этто башка у меня трешшеть, так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». — «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загготал. «Есть, говорит, тот грех. Ономясь, на Спаса (это, значит, дня три тому назад), загуляли мы артелью, да вина выпили ведра полтора, ну, ребята и зачали баловать промеж себя... Ну, и я тоже. А опосля... в драке-то нешто разбе-

решься?.. ка-ак он меня зубилом саданул по балде... починил, стало быть... Сначала-то он ничего было, не больно, а вот теперь трепшуть бабка-то». Стал я осматривать «балду», и что же вы думаете? — прямо в ужас пришел! Череп проломлен насквозь, дыра с пятак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались... Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец: младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие: «В драке нешто разберешь?..» Чорт знает что такое!

Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у Зиневки, до сих пор не могла успокоиться.

Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием:

— Знаете что, Андрей Ильич? Попробуйте-ка на минуточку лечь спать да хватим на ночь ложечку-другую брома. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет...

Они оба легли в одной комнате: Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался с боку на бок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый:

— Ну, что вы, голубчик? Ну, что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело? Все легче будет. Чай, все-таки не чужой я вам человек, не из праздного любопытства спрашиваю.

Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух: оба были люди чуткие и боялись колющего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому.

— Все мне тяжело и гадко, Осип Осипович, — отозвался тихо Бобров. — Первое, мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно! Я считаю себя чест-

ным человеком и потому прямо себя спрашиваю: «Что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу?» Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотня французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни!..

— Ну, уж это даже смешно, Андрей Ильич,— возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву.— Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас не довольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, «колесницу прогресса»? Чорт возьми! Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фульгону считаться благодетелем человечества?

— Ах, доктор, доктор! — Бобров досадливо поморщился.— Вы не были, кажется, сегодня у Зиненко, а вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за выражениями, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией.

— То есть какой это теорией? Позвольте... я что-то не помню никакой теории... право, голубчик, не помню... забыл что-то...

— Забыли? А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускорим пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до *titititit'a*, — уничтожили его... Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается

в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению... Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию¹, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции... И мы несемся сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней... Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса!

Доктор, уже несколько раз тицетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва.

— Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил,— затопился он не совсем, однако, уверенно.— Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспособляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов... Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего ровнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и чорт знает чем еще! Мы удалились от единого верного терапевтического пути — от медицины зверей и знахарок, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в девяноста случаях из ста в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач, и в то же время умный и честный человек, признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство — серный цвет,— вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает... Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А однако, и мы

¹ То есть в губернский город.

делаем, что можем... Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнь требует компромиссов... Иной раз хоть своим видом всезнающего авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо.

— Да, компромиссы — компромиссами, — возразил мрачным тоном Бобров, — а однако вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли...

— Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

— Пользы?! — закричал он иступленно. — Вы мне говорите о пользе? В таком случае, уж если подводить итоги пользе и вреду, то, позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики. — И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: — Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старше сорока — сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю — в месяц или, короче, *шесть* часов в день... Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, — царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет,— подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки! — закричал Бобров.— Двое суток работы пожирают целого человека. Чорт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел...

Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву (он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора). Тем не менее и его самого и Гольдберга поразила оригинальность вычисления.

— Чорт возьми, вы меня ошеломили,— отозвался с дивана доктор.— Хотя цифры могут быть и не совсем точными...

— А известна ли вам,— продолжал с еще большей горячностью Бобров,— известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей — целый ряд человеческих существований!

— Но послушайте, голубчик вы мой,— возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва,— тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих...

Бобров совсем вскочил с постели и босой забежал по комнате.

— И больница ваша и школа — все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы,— уступка общественному мнению... Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим... Вы знаете, что такое финиш?

— Финиш? Это что-то лошадиное, кажется? Что-то такое на скачках?

— Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью,— за столбом она может хоть издохнуть. Финиш — это полнейшее, максимальное напряжение сил, и, чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови... Так вот и мы. А когда финиш выжат и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами,— к чорту ее, она больше никуда не годится! Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами... Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста... Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа... И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать?

— А все-таки, пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен,— сказал упрямо Гольдберг.

— Доктор, не говорите наивных вещей! — воскликнул Бобров, садясь на подоконник.— Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников-патронов. Вам известно, как создалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели и оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными... Капитальные здания шли, как у нас говорят, «на мясо», то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по десять копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалование от другой, более богатой и ловкой 'компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах, но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника восьмьсот рабочих не получили двухмесячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд! Да стоит только акциям упасть

на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции? Для этого нужно мне приехать в Петербург — шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на триста акций, «только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите...» Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции... Хороша обеспеченность!..

Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух.

— Посмотрите, посмотрите сюда, доктор! — крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению за вода.

Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни... Это горели известковые печи¹. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязносерую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими, длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и металась яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда, по резкому звону сигнального молотка, опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подоб-

¹ Известковые печи устраиваются таким образом: складывается из известкового камня холм величиною с человеческий рост и разжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор, пока из камня не образуется негашеная известь. (Прим. автора.)

ным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался, точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск... Несмолкаемый лязг и грохот железа несли оттуда.

От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок, в глазах блеснули яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно.

— Вот он — Молох, требующий теплой человеческой крови! — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. — О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры... Но подумайте же, ради бога, — двадцать лет! Двадцать лет человеческой жизни в сутки!.. Клянусь вам, — бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!..

«Господи! Да ведь он — сумасшедший», — подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва.

— Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупостей расстраиваться. Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость... Ложитесь, да нате-ка вам бромку. «Маниак, совершенный маниак», — думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом.

Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, глядя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова.

VI

На другой день состоялась торжественная встреча Василия Терентьевича Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным.

Директор — Сергей Валерьянович Шелковников — пил стакан за стаканом сельтерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора — красивое, холеное, самоуверенное лицо светского человека — оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так сказать на бумаге, числился директором постройки. Всеми делами в сущности ворочал бельгийский инженер Андреа, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюции ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андреа. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном:

— Извините... положительно не могу уделить вам ни минуты... завален по горло... Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской.

Заслуги Андреа перед правлением были неисчислимы. Из его головы целиком вышел гениально мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и — редкое явление среди инженеров — обладал, кроме своей специальности, самыми разнообразными знаниями.

Изо всех собравшихся на станции только один этот человек, с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны, сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисших брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда, неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших, усталых век.

Приезду семейства Зиненок никто не удивился. Их почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было и холодно и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой.

Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием расселось у круглого стола семейство Зиненок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим *стыдом за другого*. С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, раздурманенную быстрой ездой, с возбужденными, блестящими глазами, очень мило одетую и, как всегда это бывает, гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной, издерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание нежной, благоухающей девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки.

Он искал случая подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые наперерыв старались ее рассмешить. И она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему почудился в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос.

На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими двадцатью с лишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и

фуражкам, глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось.

Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу.

— Здравствуйте. Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? — спросила она, крепко и нежно пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. — Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь?

— И да и нет, — ответил Бобров улыбаясь. — Нет, — потому что я ведь не имею никакого права сердиться.

— Положим, всякий человек имеет право сердиться. Особенно, если знает, что его мнением дорожат. А почему же да?

— Потому что... Видите ли, Нина Григорьевна, — сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. — Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, — помните? — я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире... Ах, да что же я боюсь и медлю... Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я...

Он не договорил... Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла.

— Что вы... что такое? — переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом, внезапно, против ее воли, задрожавшим, и опуская глаза в землю.

Она ждала признания в любви, которое всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели.

— Не теперь... потом, когда-нибудь, — замялся Бобров. — Когда-нибудь, при другой обстановке я вам это скажу... Ради бога, не теперь, — добавил он умоляюще.

— Ну, хорошо. Все-таки почему же вы рассердились?

— Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, — ну, как бы это сказать, — в самом растроганном состоянии... И когда я вошел...

— То вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина? — догадалась Нина с той внезапной, инстинктивной проникательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. — Да? Я угадала? — Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взглядом. — Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга.

Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катанья по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные, — он принял этот вызов очень серьезно и в продолжение целой недели называл ее своим другом, так же как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом: *«мой друг»*, то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом:

— Хорошо, *«мой друг»*, я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым!.. Ах, разве можно передать такие ощущения словами?.. Скажите только, замечали ли вы это?

— Замечала, — отозвалась она почти шопотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах, опустила глаза.

— А потом... потом вдруг, тотчас же, на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню, с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной манерностью во всех поступках... Не сердитесь на меня за откровенность... Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы...

— Я и это тоже заметила...

— Ну, вот видите... Я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?

Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы.

— Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич, — сказала она с упреком. — Вы нервы и нетерпе-

ливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности... Я иду туда, куда идут все, гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности... Но я с другими не чувствую ее тяжести, а с вами... С вами я всякую меру теряю, потому что... — она запнулась, — ну, да все равно... потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека я никогда еще в жизни не встречала.

Ей казалось, что она говорит искренно. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва — все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное.

— Я знаю, что вы меня считаете кокеткой... Пожалуйста, не оправдывайтесь... И я согласна, я даю повод так думать... Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим! Или эти два студента... Красивый мужчина уже по тому одному неприятен, что вечно собой любит... Поверите ли, хотя это, может быть, и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины.

При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы! Он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам.

— Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? — спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой.

Нина быстро спохватилась.

— Ну вот, какой вы, право. С вами нельзя разговаривать... Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!..

Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью:

— Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать!

— Я не знаю... не помню,— замялся расхоложенный Бобров.

— Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверно, давно уже заметила... но что? Вы этого не dokonчили... Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!..

Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка — лукавая, и обещающая, и нежная в одно и то же время... Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. «Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил», — подумал он, собираясь с духом.

Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры, Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха.

— Так слышите же... Я жду,— шепнула Нина, быстро отходя от Боброва.— Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете...

Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, гроыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы... На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров N-ской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, какого не всегда удавалось даже самое высшее железнодорожное начальство.

В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы; бритое, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным; губы складывались в презрительную, кислую гримасу.

При виде инженеров он с усилием приподнялся.

— Здравствуйте, господа,— сказал он сильным басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку.— Ну-с, как у вас на заводе?

Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. На заводе все благополучно. Ждут только приезда Василия Терентьевича, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зданий... Рабочие и мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам.

Квашнин слушал, отворачиваясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме безразличного утомления.

Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом:

— Э... па... послушайте... Кто эта девочка?

Шелковников заглянул в окно.

— Ну, вот эта... с желтым пером на шляпе,— нетерпеливо показал пальцем Квашнин.

— Ах, эта? — встрепнулся директор и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски:— Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко.

Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его:

— Зиненко... Зиненко...— протянул он задумчиво и не отрываясь от окна.— Зиненко... Кто же такой этот Зиненко?.. Где я эту фамилию слышал?.. Зиненко?

— Он у нас заведует складом,— почтительно и умышленно бесстрастно повторил Шелковников.

— Ах, вспомнил! — догадался вдруг Василий Терентьевич. — Мне о нем в Петербурге говорили... Ну-с, продолжайте, пожалуйста.

Нина безошибочным женским чутьём поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит в настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, раздумывавшееся от кокетливого удовольствия, все-таки было, со всеми своими хорошенькими родинками, видно Василию Терентьевичу.

Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона.

Это был момент, для увековечения которого, как подумал Бобров, нехватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей массивной фигурой над теснящейся около вагона группой, с широко расставленными ногами и безгливой миной на лице, похожий на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих: на их губах застыли, сморщив их, заранее приготовленные улыбки, между тем как глаза, устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодеватые кондукторы. Заглянув случайно в лицо опередившей его Нины, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, вззирающего на своего идола.

«Неужели же здесь только бескорыстное, почтительное изумление перед тремястами тысячами годового дохода? — подумал Андрей Ильич. — Что же заставляет всех этих людей так униженно вилать хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь не доступный пониманию психологический закон подобострастия?»

Постояв немного, Квашнин решил двинуться и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу.

На почтительные поклоны быстро расстулившейся перед ним вправо и влево толпы он небрежно кивнул

головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал гнусаво:

— Господа, вы свободны до завтрашнего дня.

Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора.

— Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его,— сказал он вполголоса.

— Зиненку? — предупредительно догадался Шелковых.

— Ну да, чорт возьми! — внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. — Только не здесь, не здесь,— остановил он за рукав устремившегося было директора. — Когда я буду на заводе...

VII

Закладка каменных работ и открытие кампании новой домны произошли через четыре дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с возможно большим торжеством, почему на соседние металлургические заводы: Крутогорский, Воронинский и Львовский были заранее разосланы печатные приглашения.

Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около двух тысяч рублей, однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, и вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков.

День выдался очень удачный для торжества — один из тех ярких, прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким, крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровской печи, были окружены в виде «покоя» густой толпою рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали крест и евангелие рядом с жестяной чашей для святой воды и кропилом. Священник, уже облаченный в зеленую,

затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди пятнадцати рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики — пестрая, оживленная группа из двухсот с лишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку.

Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что, при всем желании, никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем «набольшего» и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику.

— Благословен бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веко-ов,— раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника.

— Аминь,— подхватил довольно стройно импровизированный хор.

Рабочие — их было до трех тысяч человек — так же дружно, как кланялись Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами... Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все со льняными волосами и рыжими бородами, сзади них — литейщики и кузнецы в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти,— между ними виднелись и горбоносые профили иноземных увриеров¹, сзади, из-за литейщиков, выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густо мукою, и по воспаленным, распухшим, красным глазам...

Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, богородице»,

¹ Рабочих (франц.).

все эти три тысячи человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью: сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время когда хор просит богородицу — спасти от бед рабы своя... И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, наступенных землянок на привычный подвиг терпения и отваги?

Так, или почти так, думал Бобров, всегда склонный к широким, поэтическим картинам, и хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий, далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного, привычного угла для тяжелой и опасной работы...

Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог — это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями.

Пятая, вновь выстроенная домна шла, как говорится на техническом жаргоне, «спелым ходом». Из проделанного внизу ее, на аршинной высоте, отверстия бил широкий огненно-белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые серные огоньки. Шлак стекал по наклонному жолобу в котлы, подставленные к отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец.

Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело подымались наверх в железных вагонетках.

Священник окропил домну со всех сторон святою водою и, боязливо торопясь, спотыкающейся старческой походкой отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый чернолицый старик, перекрестился и поплевал на руки. То же сделали четверо его подручных. Потом они подняли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крикнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку. Зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза; некоторые подались назад. Рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый... и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно полился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. От этого тихо, как будто лениво текущего металла шел такой страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками.

От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздухоудных машин. Квашнин заранее распорядился так, чтобы приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутолоке. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массою сильных и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И, глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на который до сих пор не соглашалось общее собрание.

И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах... В помещении воздухоудных машин они слышали, бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубы, устремлялся по ним с ревом, заставляющим трястись каменные стены здания. По этим чугунным, массивным, в два обхвата шириною трубам воздух

проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до шестисот градусов и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведующий воздухоудным отделением, давал объяснения. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, а казалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами.

Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей — высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось двадцать пудлинговых печей, формой напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы — нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху, — и застывала в них сплошными кусками, пудов по сорока весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска ослепительно красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес «штуку» в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал «штуки» с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная «штука» в течение пяти секунд разрезалась на две половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семисотпудовый пресс парового молота, обжимавшего ее

с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа.

Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое двумя стальными вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее и, несколько раз перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал малопомалу форму десятисантиметрового красного рельса. Сложным движением пятнадцати станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной, на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону; двигал ее назад — и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпая фонтаном золотых искр, разрезала его на три части.

Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожа-ные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой двадцати оборотов в секунду, движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки, в виде красивых длинных спиралей, густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки, — нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих

всовывали в эту пасть конец накалившего длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек.

Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам (он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями) осмотреть гордость завода, девятисотсильный «Компаунд», то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, повидимому, скрепя сердце, чтобы только не уронить достоинства уполномочившего их собрания.

Девятисотсильный «Компаунд» помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука... Два поршня, в четыре сажени каждый, мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. Двадцатифутовое колесо, со скользящими по нем двенадцатью канатами, вращалось также беззвучно и быстро; от его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными, равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха.

Осмотрев «Компаунд», акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились, но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением:

— Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь.

Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного «сердце завода» — двенадцать цилиндрических котлов пятисаженной длины и полутора сажени высоты каждый — не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил,

акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием принялись жать ему руку.

Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно, и днем и ночью, подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клочкотало яркоебелое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые, цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище...

— Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? — услышал Бобров за своей спиной веселый, добродушный голос.

Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливое восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом.

— Я вас, кажется, напугал, дорогой мой? — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. — Прошу прощения.

— Да, немножко... вы так неслышно подошли... я совсем не ожидал.

— Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся... Послушайтесь моего совета: берите отпуск да махните куда-нибудь за границу... Ну, что вам себя здесь растравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие: пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура пройдитеесь...

Доктор подошел к краю кочегарки.

— Вот так преисподняя! — воскликнул он, заглянув вниз.— Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..

— Нет, побольше. Тысячи полторы.

— Ой, ой, ой... А ну как такая штучка вздумает того... лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?

— Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне...

Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.

— Отчего же это может случиться?

— Причины разные бывают... но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.

— Так что это можно сделать нарочно?

— Сколько угодно... Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль... видите, маленький круглый рычажок... И все тут.

Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Чорт его знает,— подумал доктор,— милый он человек, а все-таки... психопат...»

— Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки,— хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка,— так прямо на удивление.

— А ну их! Терпеть не могу инженерных обедов,— поморщился Бобров.— Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей... Отвращение!..

— Да, да, совершенно верно,— рассмеялся доктор.— Я захватил начало. Квашнин — одно великолепие: «Милостивые государи, призвание инженера — высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет в глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и...» какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько... Но ведь каков обер-жулик!.. «Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства!..» Ну, конечно, бешеные рукоплескания.

Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе:

— Да! Благодетельное искусство! А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься... дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения! То-то они запоят, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове.

— Да что вы, доктор? Разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте.

Доктор остановился, тяжело переводя дух.

— Да как же не быть? — сказал он с горечью.— Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой если еще не умер, то вечером умрет непременно... А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных... Подождите, доиграются они!..— прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.

VIII

Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его приезда ходило на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала.

В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам, около одиннадцати часов, в Шелетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых,

и кучер неизменно докладывал, что «барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак». К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич всюду возил за собою в своих частых разъездах, даже и за границу.

Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества — Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто брал за пухлый, с ямочкой, подбородок и дразнил «младенцем» и «цыпленочком», отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась.

Анна Афанасьевна с игровой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек! Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день на́рочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей триста... Бете он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касе — брошку, в которой последовательно чередовались камни — коралл, аметист, сапфир и яшма, — обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привели кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее нехватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это Квашнину. На ее лстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым, решительным басом:

— Ну вот еще, дорогая моя... пустяки какие выдумали...

Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно

подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал; он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи.

Впрочем, появлению его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то, месяцев пять тому назад, Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни — сделаться со временем миллионером и что он к сорока годам непременно будет им.

— Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич? — спросили его.

Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил:

— Все дороги ведут в Рим.

Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым медевянским псом, выражая и лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Тертьевича.

Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, — этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского... Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента.

Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился: на семейство Зиненок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминет задеть грязным хвостом и Нину... После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали — думалось ему — только ее

костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва.

Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и неуверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Не удивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству.

Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в словах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства.

Его неудержимо тянуло к Зиненкам: хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в каком случае не мог пробыть в Иванкове более двух недель.

Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через три дня после торжественного открытия кампании доменной печи. Бобров ехал верхом на Фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было часа два прохладного, безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходой, прядая ушами и мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею — всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина в темнозеленой длинной развевающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Стройная английская кобыла шла под нею эластической широкой рысью, круто собрав шею и высоко подымая тонкие, сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носком потерянное стремя.

Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпы и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичом, она сразу осадил лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие, породистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. От езды у Нины покраснелось лицо и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками.

— Откуда у вас такая прелесть? — спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцовавшего Фарватера и, перегнувшись на седле, пожать кончики пальцев Нины.

— А правда красавица? Это — подарок Квашнина.

— Я бы отказался от такого подарка. — грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины.

Нина вспыхнула.

— На каком основании?

— Да на том, что... кто же для вас в самом деле Квашнин?.. Родственник?.. Жених?..

— Ах, боже мой, как вы щепетильны за других! — воскликнула Нина язвительно.

Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась.

— Ведь ему это ничего не стоит... Он так богат...

Свежевский был уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса, тоном маленькой девочки, сознающей в своей вине:

— Ну, будет... будет, не сердитесь... Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакий!.. Видите, что значит для меня ваше мнение.

Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко, всей грудью, вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку.

— Вы, конечно, знаете о нашем пикнике? — крикнул еще издали Свежевский.

— В первый раз слышу, — ответил Андрей Ильич.

— Пикник по инициативе Василия Терентьевича? В Бешеной балке?..

— Не слыхал.

— Да, да. Пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич,— вмешалась Нина.— В среду, в пять часов вечера... сборный пункт — станция...

— Пикник по подлиске?

— Кажется. Наверно не знаю.

Нина вопросительно и растерянню взглянула на Свежевского.

— По подлиске,— подтвердил Свежевский.— Василий Терентьевич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. И я вам скажу, пикник будет колоссальный. Нечто сверхъисключительное... Только все это покамест секрет. Вы будете поражены неожиданностью...

Нина не утерпела и прибавила кокетливо:

— Все это ведь из-за меня вышло. Третьего дня я говорила, что хорошо бы компанией куда-нибудь в лес проехаться, а Василий Терентьевич...

— Я не поеду,— сказал Бобров резко.

— Нет, поедете! — сверкнула глазами Нина.— Господа, марш, марш! — крикнула она, подымая лошадь с места галопом.— Андрей Ильич! Слушайте, что я вам скажу.

Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом, она — улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он — хмурый и недовольный.

— Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг,— сказала она с глубокой нежностью в голосе.— Я хочу непременно узнать то, что вы не договорили тогда, на вокзале... Нам никто не мешает на пикнике.

И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно:

— О Нина! Как я люблю вас!

Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти в шаг и спросила:

— Так будете? Да?

— Непременно. Непременно буду!

— Смотрите же... А теперь подождем моего кавалера и — до свиданья. Я тороплюсь домой...

Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и крепким пожатием. Темные глаза Нины смотрели влюбленно.

IX

В среду, уже с четырех часов, станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу, и даже, наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалованья большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До Бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень красивой дороги... Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке.

Приглашенных было до девяноста человек; они толпились оживленными группами на платформе, со смехом и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магия моментальные снимки... Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то «сюрпризах», но от объяснений всячески уклонялся.

Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в пять часов из паровозного депо вышел новый американский десятиколесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга: вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгинов, левкоев и гвоздики, обвивали спиралью ее стальной корпус, вились вверх по трубе, свешивались оттуда вниз, к свистку, и вновь подымались вверх, покрывая цветущей стеной будку машиниста.

Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. Шесть вагонов первого класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до Бешеной балки оставалось пройти не более пятисот шагов.

— Господа, Василий Терентьевич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя,— говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к другой.— Господа, Василий Терентьевич просил меня передать всем приглашенным...

Около него составила большая кучка, он объяснил, в чем дело:

— Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало общество, и ему очень приятно отплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя...

И, не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско:

— Мы истратили на этот пикник три тысячи пятьсот девяносто рублей!

— Пополам с господином Квашниным? — послышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк.

— Что вы изволили сказать? — переспросил Свежевский, густо краснея.

— Нет, это *вы* изволили сказать: «Мы истратили три тысячи», и я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы»... в таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять...

— Ах, нет, нет... Вы не так меня поняли,— залепетал переконфуженный Свежевский.— Это все Василий Терентьевич. Я просто только... как доверенное лицо... Ну, вроде как приказчик, что ли,— добавил он с кислой усмешкой.

Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезть из коляски, как случилось никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале; многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более двухсот. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно «рыжего и толстого начальника». Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое.

Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как «рыжего и толстого начальника» до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались.

Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы, молодые, горячие лошади захрапели и стали метаться; кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы...

Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон.

— Стой, бабы! Не галдеть! — крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. — Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: в чем дело?

Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам.

— Кормилец... родной... рассмотри ты нас... Никак не можно терпеть... Отошшали!.. Помираем... с ребятами помираем... От холода, можно сказать, прямодохнем!

— Что же вам нужно? От чего вы помираете? — крикнул опять Квашнин. — Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, — ткнул он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. — Остальные молчи!

Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами.

Все-таки зараз говорило не менее двадцати баб.

— Помираем от холоду, кормилец... Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь... Никакой нам возможности нету больше... Загнали нас на зиму в бараки, а в них нешто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то как есть из лучины выстроены... И теперь-то по ночам невтерпеж от холоду... зуб на зуб не попадает... А зимой что будем делать? Ты хоть наших ребят-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить... Пишшу варить негде... На дворе пишшу варим... Мужики наши целый день на работе... Иззябши... намочши... Придут домой — обсушиться негде.

Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни обращивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и, когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски, с гневным выражением в голосе:

— Вы слышали? Что все это значит?

Шелковников беспомощно развел руками и забормотал:

— Я писал в правление, докладывал... Очень ограниченное число рабочих рук... летнее время... косовица... высокие цены... правление не разрешило... ничего не поделаешь...

— Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? — строго спросил Квашнин.

— Положительно неизвестно... Пусть потерпят как-нибудь... Нам раньше надо торопиться с помещением для служащих.

— Чорт знает, что за безобразия творятся под вашим руководством,— проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: — Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?

— Слышали, родной... Спасибо тебе... Как не слышать,— раздались обрадованные голоса.— Так-то лучше, небось, когда сам начальник приказал.. спасибо тебе... ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки.

— Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.

— А то поставили везде черкесов¹, чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит по-лоснуть.

— Ладно, ладно... Приходите смело за щепками, никто вас не тронет,— успокаивал их Квашнин.— А теперь, бабье, марш по домам, щи варить! Да смотрите у меня, живо! — крикнул он подбадривающим, молодецким голосом.— Вы распорядитесь,— сказал он вполголоса Шелковникову,— чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича... Это их надолго утешит. Пусть любят.

Бабы расходились совсем ошарашенные.

— Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы анжигеров позовем, чтобы нас греть приходили,— крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех.

— А то как же,— отозвалась бойко другая,— пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь, какой толстой да гладкой... С ним теплей будет, чем на печке.

Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть.

— Видите ли, дорогой мой,— говорил он директору, тяжело поднимаясь вместе с ним на ступеньки станции,— нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете

¹ В южном крае на заводах и в экономиях сторожами охотнее всего нанимают черкесов, отличающихся верностью и слушающим страх населению. (Прим. автора.)

обещать им все что угодно — алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, — но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену...

Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через три минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на Бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях, с факелами.

Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души; он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные и красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою... Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь.

Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски Зиненок. Нина сидела в первой. В легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенно. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого, многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупредив его, быстро и легко выскочила из экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича, но он тотчас же поспешил себя успокоить. «Ведная, она стыдится своего решения и

своей любви. Ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли... О, святая, прелестная наивность!»

Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, повидимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать... Она ни разу, даже украдкой, не обернулась назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилося вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зиненок, державшемуся тесной кучкой,— остальные дамы их, видимо, избегали,— и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами, то хоть взглядом, о причине ее невнимания.

Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он взглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она несомненно знала: ее надломленные углом тонкие брови — признак лживого характера, как думал нередко Бобров, — недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери и получила от нее выговор, — догадался Бобров и подошел к Нине.

Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями... В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее перед прямым ответом... Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во рту стало холодно... Он не знал, что подумать. Если бы Нина даже и проболталась матери, разве не могла она одним из тех быстрых, говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему: «Да, ты угадал, наш разговор известен... но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа, — подумал Бобров, в смутной тоске предчувствуя что-то тяжелое и грязное. — Так или иначе, она должна будет ответить».

Х

На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки, по узкой дорожке, спускающейся в Бешеную балку... Еще издали на разгоряченные лица пахло свежестью и запахом осеннего леса... Дорожка, становясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимолости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом. Под ногами уже шелестели желтые, сухие, скоробывшиеся листья. Вдали сквозь густую сеть чащи алела вечерняя заря.

Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким леском. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью, на другом — крытая эстрада для музыкантов. Едва только первые пары показали из чащи, как военный оркестр грянул с эстрады веселый марш. Резвые, красивые медные звуки игриво понеслись по лесу, звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой...

Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, потому что не далее как две недели тому назад эта площадка представляла собою косогор, усеянный редкими кустами...

Оркестр заиграл вальс.

Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же, без приглашения, обхватил ее талию, и они понеслись, быстро вертясь, по площадке.

Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадрили. «Может быть, — думал он, — мне удастся улучшить минуту для объяснения». Он подошел к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо.

— Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадрили?

— Ах, боже мой... Такая досада! У меня все кадрили разобраны,— ответила она, не глядя на него.

— Неужели? Так скоро? — спросил глухим голосом Бобров.

— Ну да,— Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи.— Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все кадрили...

— Вы, значит, совсем позабыли обо мне! — сказал он печально.

Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз.

— Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?..

— Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть... Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?

Она молчала, в замешательстве теребя веер. Ее выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами... Сделав тур, она села,— конечно умышленно, подумал Андрей Ильич,— на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним.

Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он еще не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями: «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей бушета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я? — догадался он.— Ну, что же, она, пожалуй, и права. Ведь для девушек эти пустяки так много значат... Разве не они составляют их радости и огорчения, всю поэзию их жизни?»

Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало: площадка оставалась почти не освещенною. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепи-

тельным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чащи. Кузнечики в степи, не заглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду: и справа, и слева, и сверху.

Бал длился, становясь все оживленнее и шумнее. Один танец следовал за другим. Оркестр почти не отдыхал... Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера.

Аромат от духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа, лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной отавы. Повсюду то медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь... Громкий говор, смех, шарканье ног о песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть.

Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раз два она чуть-чуть не задела его своим платьем. На него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться... Иногда мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развеваемой быстрым движением, и маленькая ножка в черном чулке с тонкой шиколоткой и крутым подъемом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти моменты.

Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцовавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру, и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыке и

придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей... Здесь было почти темно; вся уборная — маленькая дощатая комната, пристроенная сзади павильона, — находилась в густой тени. Бобров решился дожидаться Нины и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно билось, пальцы, которые он судорожно стискивал, сделались влажными и холодными.

Через пять минут Нина вышла. Бобров выдвинулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась.

— Нина Григорьевна, за что вы меня так мучите? — сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. — Разве вы не видите, как мне больно. О! Вы забавляетесь моим горем... Вы смеетесь надо мной.

— Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами, — ответила Нина упрямо и заносчиво. В ней проснулся дух ее семейства.

— Нет? — уныло спросил Бобров. — Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной?

— Какое обращение?

— Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня. Вам даже самое присутствие мое на вечере неприятно...

— Мне решительно все равно...

— Это еще хуже... Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену... Ну, будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я вас еще сегодня считал... Как бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше уж для вас и для меня сразу кончить...

— Что кончить? Я не понимаю вас...

Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь.

— Нет, вы понимаете. Не притворяйтесь. Нам есть что кончить. У нас были нежные слова, почти граничившие с признанием, у нас были прекрасные минуты, соткавшие между нами какие-то нежные, тонкие узы... Я знаю, — вы хотите сказать, что я заблуждаюсь... Может быть, может быть... Но разве не вы велели мне приехать

на пикник, чтобы иметь возможность поговорить без посторонних?

Нине вдруг стало жаль его.

— Да... Я просила вас приехать...— произнесла она, низко опустив голову.— Я хотела вам сказать... Я хотела... что нам надо проститься навсегда.

Бобров покачулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело.

— Проститься...— проговорил он задыхаясь.— Нина Григорьевна!.. Слово прощальное — тяжелое, горькое слово... Не говорите его...

— Я его должна сказать.

— Должны?

— Да, должна. Это не моя воля.

— Чья же?

Кто-то подходил к ним. Нина взгляделась в темноту и прошептала:

— Вот чья.

Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку.

— Зачем ты, Нина, убежала от танцев? — сказала она тоном выговора, — стала где-то в темноте и болтаешь... Хорошее, нечего сказать, занятие... А я тебя ищи по всем закоулкам. Вы, сударь, — обратилась она вдруг бранчиво и громко к Боброву, — вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой tête-à-tête...¹ в темных углах...

Она отошла и увлекла за собою Нину.

— О! Не беспокойтесь, сударыня: вашу барышню ничто не скомпрометирует! — закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать и дочь невольно обернулись.

— Ну! Не говорила я тебе, что это дурак и нахал? — дернула Анна Афанасьевна Нину за руку.— Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет... утешается... Сейчас будут дамы выбирать кавалеров, — прибавила она другим, более спокойным тоном.— Ступай и пригласи Квашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки.

¹ Наедине (франц.).

— Мама! Да куда же ему танцевать? Он и поворачивается-то насилу-насилу.

— А я тебе говорю: ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве... Во всяком случае ему будет приятно.

Точно в далеком, сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, легкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив набок голову. Василий Терентьевич слушал ее, слегка над ней нагнувшись; вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась, и замотал отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе не свойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать: «Ну, уж ничего не поделаешь... надо баловать детей...» — протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным.

Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое раз, что все сразу в нем почуяли бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, с гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный рост и толщина, казалось, не только не мешали, но, наоборот, увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблук о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся снисходительно лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых, упругих ногах. Перед тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром, красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой.

Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрямая пройти еще один тур. Но он, утомленный непри-

вычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком.

— Довольно, mesdames... пощадите старика...— говорил он, смеясь и насилу переводя дух.— Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать...

Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями... Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувства унижения, обиды и безнадежной, отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колющий клубок... Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове.

— Батюшка мой! А я-то вас ищу-ищу и никак не найду. Что это, вы куда запропалились?— услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора.— Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, насилу вырвался... Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе...

— Ах, доктор! Идите один. Я не пойду, не хочется,— через силу отозвался Бобров.

— Не пойдете? Вот так история!— Доктор пристально поглядел в лицо Боброву.— Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли,— заговорил он серьезно и с участием.— Ну, уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров.

— Тяжело мне, доктор. Гадко мне,— ответил тихо Бобров, машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом.

— Пустяки, пустяки, идем! Будьте мужчиной, плюньте... «Или есть недуг сердечный? Иль на совести гроза?»— неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо.— Я вам сейчас пропишу универсальное средство: «Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя?..» Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьчались... Ах, и пьет же, курицын сын! Точно в пустую бочку льет... Ну, будьте мужчиной, милочка... Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем!..

Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в

павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Ильича с другой стороны оказался Андреа.

Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково погладил его по спине.

— Очень рад, очень рад, садитесь к нам поближе, — сказал он дружелюбно. — Симпатичный человек... люблю таких... хороший человек... Коньяк пьете?

Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице (только полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый, талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания)...

«А и в самом деле, может быть станет легче, если выпить, — подумал Бобров, — надо попробовать, черт возьми!»

Андреа дожидался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан.

— Та-ак? — протянул Андреа, высоко подымая брови.

— Так, — ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой.

— Ладно! До которых пор?

— Стакан сам скажет.

— Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. Довольно?

— Лейте, лейте.

— Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это Martel под маркой VSOP — настоящий, строгий, старый коньяк.

— Лейте, не беспокойтесь...

И Бобров подумал с злорадством:

«Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется...»

Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки.

— Дитя мое, у вас червяк? — спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва.

— Да, червяк, — уныло покачал головою Андрей Ильич.

— В сердце?

— Да.

— Гм!.. Значит, вы хотите еще?

— Лейте,— сказал Бобров покорно и печально.

Он с жадностью и с отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно,— вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза.

Между тем лакеи разнесли шампанское, Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик.

Квашнин откашлялся.

— Милостивые государыни и милостивые государи!— начал он и сделал внушительную паузу.— Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал! Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема, и сегодняшний маленький пикник благодаря очаровательной любезности посетивших его дам останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. Пью за ваше здоровье, mesdames!

Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал:

— К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения: по летам я старик, сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться.

Андреа нагнулся к уху Боброва и прошептал:

— Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский.

Свежевский действительно выражал своим лицом самое подбострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Терентьевич упомянул о своей старости, он и головой и руками начал делать протестующие жесты.

— Я все-таки повторю старое, избитое выражение газетных. передовых статей,— продолжал Квашнин.—

Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что нам принадлежит будущее... Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разворачиваем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятные предприятия, приводим в движение тысячемиллионные капиталы?.. Знайте, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранных. Имейте же смелость и силу быть этими избранными, господа! Ура!

— Ура! Ура! — закричали гости, и громче всех выделился голос Свежевского.

Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем.

— Гнусная речь, — сказал доктор вполголоса.

После Квашнина поднялся Шелковников и закричал:

— Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфириона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура!

— Ура-а! — подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным.

Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты и за успех предприятия, и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и игриво неприличны.

Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие: сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне, на отдельном маленьком столике, красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жженку... Вдруг опять поднялся Квашнин, на лице его играла добродушно лукавая улыбка.

— Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера, — сказал он с обворожительной любезностью. — Поздравимте от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте: за здоровье Нины Григорьевны

Зиненко и...— он замялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского...— и нашего товарища, господина Свежевского...

Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собою восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием.

— Коллега, вы еще не все знаете,—шепнул Андреа.— Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов.

Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и расплескав половину бокала, и воскликнул:

— Милостивые государи! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной, великодушной скромности не закончил своего тоста... Мы должны поздравить нашего дорогого товарища, Станислава Ксаверьевича Свежевского, с новым назначением: с будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества... Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых от глубокоуважаемого Василия Терентьевича... Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие... Вероятно, я нечаянно выдал приготовленный им сюрприз и потому прошу прощения. Но, движимый чувством дружбы и уважения, я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ, Станислав Ксаверьевич Свежевский, и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь... Но я знаю, господа, никто из нас не позавидует Станиславу Ксаверьевичу (он остановился и с едкой насмешкой посмотрел на Свежевского)... потому что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что...

Речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом. Из чащи точно вынырнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом, на котором застыло, перекосив его, выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика Дехтерева. Бросив на середине площадки лошадь, дрожавшую от усталости, он подбежал к Василию Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать... В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше,

слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика.

Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти.

— А бельгийцы? — спросил он отрывисто и хрипло.

Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина.

— А чорт! — воскликнул вдруг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. — Надо же было... Подожди, ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму к губернатору. Господа, — громко и взволнованно обратился он к присутствующим, — на заводе беспорядки... Надо принимать меры, и... и, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда...

— Так я и знал, — презрительно, со спокойной злобой сказал Андреа.

И в то время когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку.

XI

Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще больше усилило общее смятение... В темноте послышались истерические женские крики.

Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет занимающегося утра, так быстро и неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью, взволнованные лица были страшны. Обеденный стол,

залитый вином и беспорядочно загроможденный посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве.

Около экипажей суматоха была еще безобразнее: испуганные лошади храпели, взвизывали на дыбы и не давались зануздывать; колеса сцеплялись с колесами, и слышался треск ломающихся осей; инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собою. В общем получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали, или, может быть, раздавили. Был слышен вопль.

Бобров никак не мог отыскать Митрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее.

Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики: «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая сильным напором, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей Квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича зловещим, точно кровавым, дрожащим светом.

Вокруг его коляски выла от боли, страха и озлобления стиснутая со всех сторон обезумевшая толпа... У Боброва что-то стукнуло в висках. На мгновение ему показалось, что это едет вовсе не Квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства.

Когда проехал Квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что

дышло, давившее ему спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел.

— Скорей на завод, Митрофан! — крикнул Андрей Ильич, садясь. — Чтоб через десять минут постпеть, слышишь!

— Слушаю-с, — ответил мрачно Митрофан.

Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа, разобрал вожжи и прибавил, полуобернувшись назад:

— Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не сердчайте.

— Ах, все равно...

Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся, возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных протянувшихся поперек дороги корнях, раскачивалась на ухабах и сильно накренилась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучера и седока балансировать.

Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним металась вокруг пролетки длинные, причудливые тени деревьев... Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забегали на несколько секунд в чашу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чем-то между собою... Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки.

Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и зарябилось багровое блестящее пламя факела, и вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстиралось черное, однообразное поле.

— Да погоняй же, Митрофан, мы с тобой никогда не доедем! — крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка и без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом Фарватера, скакавшего, изогнувшись кольцом, на пристяжке. Кучер недоумевал, что сделалось с его барином, всегда любившим и жалевающим своих лошадей.

На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий гост Андреа сразу открыл ему глаза на все: и на холодную сдержанность Нины в продолжение пынешнего вечера, и на негодование ее мамыши во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу об ухаживании самого Квашнина за Ниной... «Так и надо ему, так и надо, рыжему чудовищу, — шептал Бобров, ощущая такой прилив злобы и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. — О, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного, жирного мешка, битком набитого золотом. Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!..»

Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но действие его выразилось в необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения... Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич, незаметно для самого себя, то разговаривал вслух, то стонал, то громко и отрывисто смеялся, между тем как пальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки.

— Барин, да вы никак больны? Нам бы домой ехать, — сказал несмело Митрофан.

Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло:

— Не разговаривай, дурак!.. Гони!..

Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский

костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доменных печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурой воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда вся сплошь, без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный — смутный и зловещий — гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы.

— Куда тебя несет, дьявол! Не видишь разве, что едешь на людей, сволочь! — услышал Бобров впереди грубый окрик, и на дороге, точно вынырнув из-под лошадей, показался рослый бородатый мужик, без шапки, с головой, сплошь забинтованной белыми тряпками.

— Погоняй, Митрофан! — крикнул Бобров.

— Барин! Подождли, — услышал он дрожащий голос Митрофана.

Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь.

Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарево становилось все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной кручи в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать места, по которому проезжал. Вдруг лошади стали.

— Ну, чего же ты остановился, Митрофан? — раздражительно закричал Бобров.

— А куда ж я поеду, коли впереди люди? — отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе.

Бобров, как ни всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной неровной стены, над которой пламенело небо.

— Каких ты там еще людей видишь, чорт возьми! — выругался он, слезая с пролетки и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены.

Но едва он отошел пять шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая, тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно, в молчании подвигавшаяся вперед. Пройдя машинально вслед за рабочими шагов пятьдесят, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина, или сам Бобров заблудился — понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера — никто ему не откликнулся. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но странно — рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор.

Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева; в груди при каждом вздохе ощущалась острая боль; кровь сильными, частыми ударами билась в темя; ушибленный висок нестерпимо ныл...

Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться вверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных, болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабканье по насыпи — все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары.

Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне, во время молебна, группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный, он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное: ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и в брюшной полости

появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину.

Андрей Ильич очнулся от обморока по крайней мере через полчаса. Внизу, у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доменным печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах; большой висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах: он слышал ее соленый, металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему, и усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, беспредметная злоба переполняли его душу...

Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро: и земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда при особенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собою вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбегавшиеся мысли.

— Ну, скажи же, скажи, что мне делать? Скажи ради бога,— страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, *постороннему*, как будто сидевшему внутри его.— Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно!.. Невыносимо больно!.. Мне кажется, я убью себя... Я не выдержу этой муки...

А другой, *посторонний*, возражал из глубины его души, также *вслух*, но насмешливо грубо:

— Нет, ты не убьешь себя. Зачем перед собой притворяться?.. Ты слишком любишь ощущение жизни, для того чтобы убить себя. Ты слишком немошен духом для этого. Ты слишком боишься физической боли. Ты слишком много размышляешь.

— Что же мне делать? Что же мне делать? — шептал опять Андрей Ильич, ломая руки.— Она такая нежная,

такая чистая — моя Нина! Она была у меня одна во всем мире. И вдруг — о, какая гадость! — продать свою молодость, свое девственное тело!..

— Не ломайся, не ломайся; к чему эти пышные слова старых мелодрам,— иронически говорил *другой*.— Если ты так ненавидишь Квашнина, поди и убей его.

— И убью! — закричал Бобров, останавливаясь и бешено подымая вверх кулаки. — И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием. И убью!

Но *другой* заметил с ядовитой насмешкой:

— И не убьешь... И отлично знаешь это. У тебя нет на это ни решимости, ни силы... Завтра же опять будешь благороден и слаб...

Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя: что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать? А сделать что-то нужно было непременно, сделать что-то большое и важное, но что именно, — Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же с необычайной яркостью вспомнился недавний разговор с доктором на этом самом месте.

Внизу никого из кочегаров не было: все они разбежались. Котлы давно успели охладеть. Только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь... Безумная мысль вдруг, как молния, мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и прыгнул в кочегарку.

В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурилась вода. Бобров все бросал и бросал, лопату за лопатой, уголь; в то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая еще там, на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным.

Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче.

Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью, кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний, *постоянный*, голос говорил громко и насмешливо:

— Ну, что же, остается сделать одно еще движение! Но ты его не сделаешь... Basta... Ведь все это смешно, и завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы.

Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришел в заводскую больницу.

Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным раковинником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления.

— Что с вами, Андрей Ильич, на вас лица нет? — проговорил он с испугом.

Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольной пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях; волосы падали беспорядочными прядями на лоб.

— Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось? — повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву.

— Ах, это все пустяки... — простонал Бобров. — Ради бога, доктор, дайте морфия... Скорее морфия или я сойду с ума!.. Я невыразимо страдаю!..

Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно притворив дверь, сказал:

— Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает... Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам... Но... голубушка моя, — в голосе доктора послышались слезы, — милый мой Андрей Ильич... не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов

стоило побороть эту поганую привычку! Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию... вы уже больше никогда... понимаете, никогда не отстанете.

Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба:

— Все равно... мне все равно, доктор... Я не могу больше выносить.

Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкапа футляр с працацовским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову.

ПЕРВЕНЕЦ

Это случилось в Москве. Мне только что минуло семнадцать лет — возраст, в котором жизнь литератора представляется торжественным путем к славе, усыпанным розами и лаврами. Вступить на этот путь казалось мне верхом счастья, доступного смертному.

Я теперь не помню ясно содержания моего первого рассказа. Если не ошибаюсь, в нем говорилось о том, что было прекрасное майское утро, что молодой и красивый человек, по имени Вольдемар, влюбился в это утро в девицу Людмилу, исполненную необыкновенных достоинств, и что девица Людмила изменила самым коварным образом Вольдемару ради кавалерийского офицера. Рассказ назывался «Ранние слезы».

Переписав «Ранние слезы» по крайней мере раз восемь, я отнес их поэту Венкову, который часто бывал у нас в доме и благоволил ко мне. Поэт Венков писал одновременно почти во всех русских газетах и журналах и обладал изумительной способностью повсюду втискивать гражданскую идею. Если он описывал грозу, то непременно в конце стихотворения выражал надежду, что и над дорогой родиной когда-нибудь «разойдутся нависшие тучи». Вид водопада напоминает ему плененную мысль, разбившую насильственные оковы.

Я и теперь совершенно точно припоминаю его характерную физиономию: яйцевидное лицо, все изрытое оспой и постоянно склоненное набок, жиденькая, беспорядочная, трясущаяся бороденка песочного цвета, длинный нос, под-

слеповатые глаза и высокий конический лоб, по обе стороны которого падали на плечи прямые, редкие волосы. Он никогда не присаживался и постоянно ходил по комнате из угла в угол, причем так широко и смешно расставлял свои кривые ноги, как будто бы находился на палубе корабля во время бури. Если же это бывало дома, то, сделав три-четыре конца от одного угла до другого, он каждый раз подходил к небольшому шкафчику, открывал его, доставал оттуда графинчик с настойкой и две рюмки (одну для себя, другую для собеседника), пил со страшными гримасами на лице и, спрятав настойку обратно в шкаф, продолжал ходить своей морской походкой по комнате.

Иван Лиодорович принял мой рассказ очень снисходительно и обещал куда-нибудь пристроить, хотя наверно не ручался за успех. Но и этого туманного обещания было для меня гораздо более, чем достаточно.

Однако прошел месяц, и другой, и третий, рассказ давно уже находился в редакции «Московского иллюстрированного листка», а между тем судьба его была покрыта мраком неизвестности. Вероятно, за это время я порядком-таки надоед бедному Ивану Лиодоровичу. Каждую среду и субботу — нас по этим дням отпускали из училища домой — я неизменно являлся к нему. В моих глазах он всегда читал один и тот же жадный вопрос и ничем не мог меня успокоить, кроме неопределенных увещаний, что «надо подождать, потерпеть... нельзя же сразу... Редакция прямо завалена рассказами». Ужасные слова: редакция завалена рассказами! Но ведь то другие, посторонние, неинтересные рассказы, а не мои «Ранние слезы»...

Счастье пришло, как и всегда оно приходит, в то время, когда я всего менее ожидал. Однажды в воскресенье я был оставлен без отпуска за единицу, полученную мною *по предмету военной фортификации* (наука, одно название которой и теперь еще заставляет меня вздрагивать). В девять часов вечера стали один за другим являться отпускные юнкера. Кто-то сказал мне — я в то время был в курилке: «Калинин пришел из отпуска и ищет вас». Меня это сообщение немного удивило: с Калининым, хлыщеватым и глупым малым, мы до сих пор почти ни разу не разговаривали. Зачем я мог ему понадобиться?

Мы встретились на лестнице, ведущей из курилки в роту. В руках у Калинина был длинный бумажный сверток.

— Пэслюшайте,— сказал Калинин, коверкая, по-обыкновенению, фатовским манером свою речь,— кэкой-то «шпак» (на нашем языке это означало штатский) просил меня передать вам вот эту штуку.

Он сунул мне в руки бумажный сверток.

— Какой шпак? — спросил я, сконфузившись за «шпака».

— Не знаю... Дэвольно гнусного вида... Остановил меня на улице и спрашивает, не знэком ли я с вами. Я говорю — знэком. Так передайте, говорят, п'жэлста.

Сверток издавал сильный запах типографской краски. Сердце замерло у меня в груди от какого-то сладкого предчувствия. Я нетерпеливо развернул бумагу и увидел два номера «Иллюстрированного листка».

Впоследствии нередко были в моей жизни моменты очень большого счастья. Но еще ни разу до сих пор не испытывал я такого сильного наплыва восторга, как в ту минуту, когда мои глаза увидели эти правильные строчки черных букв, отчетливо напечатанных на белой глянцеви-той бумаге. Припадок обурявшей меня радости носил даже несколько дикий характер, и я не сумел ее выразить не чем иным, как безумными скачками через пять ступенек сразу. Прибежав в спальню, я продолжал бесноваться, прыгая через кровати и табуретки. Наконец, успокоившись немного, я опустил вниз висячую лампу с контр-абажуром и развернул «Листок»... Но строчки прыгали перед моими глазами, и буквы сливались в черные полосы.

Нужно было во что бы то ни стало поделиться с кем-нибудь моей радостью. Увидав кого-то из более мне близких товарищей, я бросился к нему:

— Посмотри... вот здесь... в журнале... мой рассказ напечатан.

Я задыхался от волнения. Что же касается до него, он изумился и обрадовался гораздо менее, чем я ожидал.

— Ну? Неужели? — спросил он довольно равнодушным тоном и протянул руку за номером.

Он стал читать, а я, обняв его сзади, заглядывал через его плечо в дорогие строки. Он читал довольно медленно. Какое-то ревнивое чувство вдруг овладело мною.

— Подожди, я тебе дам потом, я еще сам не прочел,— сказал я, вырывая от него «Листок».

Но едва я отошел от него, как потребность сообщить еще кому-нибудь о моем блаженстве опять неудержимо заговорила во мне. Я показал «Листок» по крайней мере десяти товарищам. Все они старались казаться заинтересованными, но, к моему великому огорчению, их участие не удовлетворяло меня.

Наконец вокруг меня собралась порядочная кучка оповещенных. Кто-то попросил прочесть вслух, и я начал голосом, прерывающимся от волнения и недавней беготни, с давно знакомой красивой фразы:

«Было прекрасное майское утро...»

Когда я кончил, слушатели выразили снисходительное одобрение.

— Интересно будет прочитать критику,— заметил чей-то уверенный голос.

Тем временем моя аудитория привлекла новых любопытных. Узнав, в чем дело, они тоже выразили желание послушать, и я во второй раз с тем же удовольствием прочел свое произведение.

И каждый раз, когда я снова начинал его читать, я находил в нем все новые красоты. Но мне и этого было мало. Я заставлял читать вслух других, а сам прислушивался с закрытыми глазами, стараясь вообразить себя посторонним человеком.

На другой день меня подозвал к себе Дрозд — мой ротный командир.

— Дайте мне сейчас то, что вы там намарали,— приказал он суровым тоном.

Я притворился непонимающим.

— Что такое, господин капитан?

— Там вы... чепуху какую-то написали в газетишке, дайте ее сюда... и без разговоров...

Нечего было делать: я принес ему один номер «Листка». Он развернул его и, ткнув пальцем в мои инициалы С. и М., спросил:

— Это?

— Это, господин капитан,— ответил я с гордым достоинством.

— Ступайте в карцер,— произнес ротный командир, разрывая драгоценный номер вдоль страниц.— И если

это повторится в следующий раз, вы будете исключены из училища

Я пошел в карцер Поступок Дрозда с номером «Листка» хотя и возмущал меня до глубины души, но я уже знал и утешал себя сознанием, что двигатели просвещения всегда терпели и будут терпеть несправедливые нападки невежественной толпы.

Я отсидел двое суток, но мне не было скучно, потому что со мною был оставшийся в живых номер «Листка», и я читал свой рассказ запоем. Я даже прочел его вслух моему тюремному сторожу, сверхсрочному унтер-офицеру, который выразил свое одобрение восклицанием: «Ловко!»

С той поры прошло много, очень много лет. Я уже по опыту знаю, что на литераторском пути гораздо более терний, чем роз, и, получая номер со своим произведением, не радуюсь ему, а спокойно считаю количество строк. Но в моей душе иногда шевелится жгучая зависть к тогдашней наивной радости и светлой вере.

ПРАПОРЩИК АРМЕЙСКИЙ

Предисловие

Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожи на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и Трехлистник, и Оракул Соломона, и письмовник Курганова, и Иван Выжигин, и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большею частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, обернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листов прекрасной, шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листов стояла подпись: «Кэт», а на некоторых — просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за двадцать пять до наших

дней. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков вроде кавычек, скобок.

*

5 сентября. Скука, скука и еще раз скука!.. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятия в роте:

— Ефименко, что такое часовой?

— Часовой — есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

— Почему же он лицо неприкосновенное?

— Потому, что до его никто не смеет доторкнуться, ваше благородие.

— Садись. Ткачук, что такое часовой?

— Часовой — есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

И так без конца...

Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадаетеся в супе мозговая кость — это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое... Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-ль-ба шеренгою».

Сколько раз начинал я этот самый дневник... Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь и которая теперь так же, как и я, томится от тоски.

Разве я не имею права на счастье? Я не глуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому

судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте.

В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтоб потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но возможно ярче и полнее... Однако дни проходили за днями, попрежнему тягучие и однообразные... Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.

7 сентября. Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты, одна за другой, уходят копать бураки у окрестных помещиков; остались только наша да одиннадцатая. Город точно вымер. Эта пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым ораньем петухов,— раздражают и угнетают меня...

Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо тяжелыми! Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании! Вот и в настоящую минуту я представляю себе: раннее утро... солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском... Бивуак ожил и закопошился... Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы, выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим

сапогом жестяной самовар-паучок (что ему, конечно, строжайше запрещено), кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый парок... Кое-где, между палатками, офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут — и палатки сняты: на том месте, где только что раскидывался «бел город полотняный», валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги... Гам встревоженного бивуака растет. Все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах, с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суеде нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки и как постепенно каждая кучка разворачивается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута — и роты, бряцнув одна за другой ружьями, сходятся на середину поля в правильный огромный четырехугольник.

А потом утомительный тридцати- сорокаверстный переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать, солдаты начинают скучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно, на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги; она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых особенно ярко, точно у негров, блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевают между ними иерархическая разница, и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, даже на такие сложные, как корпусный маневр — с его практичностью, с его умением всюду и ко всему приспособляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропу-

скаешь между ушей. Что бы и кто бы ни встретился по дороге: хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих волов, придорожная корчма, еврейская «балагула», бархатное поле, распаханное под озими,— все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья...

Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле, в стороне от дороги... Стой!.. Ружья в козлы!.. В один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков... И вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как утомляется постепенно сонный лагерь. И еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера: то коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый, без сомнения фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка... А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому, горьковатому запаху росистой травы.

8 сентября. Сегодня мой «ротный», Василий Акинфиевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодное условие — чуть не по 2½ копейки за пуд — с управляющим господина Оболянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свекло-сахарного завода. Она неумолительна для солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, буде я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия.

Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфиевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность.

Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение! Идете, точно отец дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично.

С солдатами Василий Акинфиевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфиевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже и собственных рублей двадцать пять в месяц прибавит, что Василий Акинфиевич своего в обиду не даст, а, наоборот, за него хоть с самым полковым погрызется. Знают все это, и я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфиевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть.

Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему «благородному». В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом франтовстве, манерничанье, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «бэгэрэдный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфиевич тянул служебную лямку с солдатских чинов. А в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завистых и напояженных армейских моншеров.

С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему, вместе с карманом, свою наивную, добрую и чистую душу. Но, даже и открывая душу, Василий Акинфиевич не перестает ни на минуту сквернословить, — это тоже его дурная черта.

Меня он, кажется, по-своему любит — я все-таки недурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапором. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки

любят его употреблять в ласкательно игривом смысле, в память дней своей юности.

Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антабках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшейся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его, одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки...

Я ловлю себя... А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль?.. Нет, Василий Акинфиевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни, вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело... А я?..

Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий... у него жена, две дочки, два-три соседних помещика, может быть, маленький романчик?..

Завтра выступаем.

11 сентября. Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию «Конский брод». Оказалось, что управляющий имения, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфиевичем и за мной коляску. Чорт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком! Четверня пугом породистых, прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом: в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст восемь. Дорога чудная; с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы вожов, нагруженных доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфиевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около ста тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности, если принять во внимание, что Обольянинов — единственный хозяин предприятия.

В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая — Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он

похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке, кажется в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию генерального штаба. Толст он необычайно, жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок; волосы на голове — короткие, прямые, с проседью, усы торчат воинственными щетками, короткая эспаньолка под нижней губой; глаза под густыми вздерошенными бровями, быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул; губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он, должно быть, глух, потому что в разговоре отчаянно кричит.

Я думаю, Бергер нам искренно обрадовался. Таким людям, как он, обеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим». Василию Акинфиевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне — тоже.

Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены четыре комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на три. Капитан, повидимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны козяев. Только один раз, именно, когда Бергер, выдвинув ящик письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфиевич пробурчал вполголоса:

— Ну, уж это лишнее... это уж бэтэрэдство и всякая такая вещь. (Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову: «и всякая такая вещь»). Вообще он не из красноречивых капитанов.)

Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, повидимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил: не нужно ли нам еще чего-нибудь? Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал:

— Сейчас я вам пришлю кáзачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам.

Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.

— Кушаете? Ну и прекрасно,— сказал он.— А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет двадцать в своем собственном имении... У нас под Гайсином собственное имение было... Вы не думайте, пожалуйста: мы, Бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно у меня есть даже права на баронский титул, но... к чему? Дворянские гербы любят позолоту, а на нашем она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества!

Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана коломьянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старое венгерское воспитывалось в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух — веселым.

Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжерее и конюшнях, о жалованье, которое он платит служащим. самого себя Бергер сначала отрекомендовал главноуправляющим всеми делами. Но через полчаса он проболтался: оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель Ольховатской усадьбы, попросту — эконо́м, и получает девятьсот рублей в год на всем готовом, кроме платья.

— И куда столько добра одному человеку! — воскликнул наивно капитан, видимо пораженный теми колоссаль-

ными цифрами «наших» доходов и «наших» расходов, которыми так щедро сыпал Фальстаф.

Фальстаф сделал лукавое лицо.

— Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек,— он игриво ткнул меня большим пальцем в бок,— ну-ка, возьмите да женитесь... Тогда и меня, старика, не забудете...

Я спросил с небрежным видом человека, выдавшего виды:

— И хорошенькая?

Фальстаф так и побагровел от хохота.

— Ага! Забирает? Прекрасно, воин, прекрасно... Атака с места в карьер. Тра-там-та-та-та. Люблю, когда по-военному.— Потом он вдруг, точно от нажима пружинки, сразу перестал смеяться и прибавил: — Как вам сказать?.. На чей вкус... Уж очень она того... сублийна. Жидка больно...

— Бэгэрэдство! — вставил капитан, скривив рот.

— Этого сколько угодно. Гордая. Соседей знать не хочет. У! Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится... И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побранила бы. И — никогда! Принесите то-то. Сделайте то-то... Ступайте... И все это так холодно, не шевеля губами!

— Бэгэрэдство! — сказал капитан и презрительно шмыгнул носом.

Так мы просидели часов до одиннадцати.

Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы.

Странное дело: как ужасно долго тянется день на новом месте и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот я пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно, по крайней мере месяца два живу в Ольховатке и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.

12 сентября. Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию... Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац,— одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя

львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы; дорожки между ними посыпаны красным песком; посредине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг — легкий забор из проволочной колючей решетки. За домом — флигель, службы, скотный и птичий дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на трех-четырех десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди.

Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок, с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть даже сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь» чего-нибудь. Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мыслей от этого непонятного, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как и мы? Чувствуют ли они преимущество своего положения? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь, знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что они все-таки ни о чем этом не думают и никаких пытливых вопросов себе не задают и серое однообразие нашей жизни им кажется таким же неинтересным, таким же естественным и таким же для нас привычным и незаметным, каким кажется мне мировоззрение хотя бы моего денщика Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтует. Меня возмущает сознание, что в обществе этих людей, отшлифованных и вылощенных вековой привычкой к роскоши и утонченному этикету, «я», именно «я», а не кто другой, буду смешон, дик, даже неприятен своей манерой есть и жестикулировать, моими выражениями и наружностью, может быть вкусами и знакомствами... Одним словом, во мне ропщет человек, созданный по образу и по подобию божию, но — или потерявший то и другое с течением времени, или обокраденный кем-то...

Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфиевич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления!

13 сентября. Хотя сегодня и роковое число — чортова дюжина, но день выдался очень интересный.

Я опять бродил сегодня по саду. Не помню, где я читал сравнение осенней природы с той изумительной неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы...

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих кленов. Под ногами шуршат желтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пестро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зеленые ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светлослимонными, то налестыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпурный. Небо густое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор. И во всем этом ярком празднике смерти чувствуется безотчетная темная грусть, от которой сердце сжимается медленной и сладкой болью.

Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего уха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акаций образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. (Я так сразу и подумал, что это девушки. Потом мое предположение сразу оправдалось.) Их лиц я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей, брюнетки, зазорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядит подростком, на голове у нее небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица. Но мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов в то время, когда, не замечая моего приближения, она продолжала рассказывать на английском языке что-то, вероятно, очень забавное своей соседке.

Некоторое время я колебался: идти ли мне дальше, или вернуться? И если идти, то кланяться им, или нет? Мною опять овладели вчерашние сомнения плебейской души. С одной стороны, думал я, эти девушки, если не здешние хозяйки, то, наверное,— гости, я в некотором роде тоже

гость и потому с ними равноправен... Но, с другой стороны, позволяет ли Герман Гоппе в своих правилах светского такта кланяться незнакомым дамам? Не покажется ли барышням мой поклон смешным, или, что еще хуже, не сочтут ли они его за знак подчиненности служащего, «наемного человека»? И то и другое представлялось мне одинаково ужасным.

Однако, размышляя таким образом, я продолжал подвигаться вперед. Брюнетка первая услышала шум сухих листьев под моими ногами и что-то быстро шепнула барышне в шелковом платке, указывая на меня глазами.

Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся: это я узнал по той сковывавшей движения неловкости, которую я всегда испытываю от устремленных на меня сзади пристальных взглядов. На самом конце аллеи я обернулся. В ту же секунду, как это часто бывает, обернулась в мою сторону и барышня в белом платке. До меня донеслось какое-то английское восклицание и звонкий смех. Я покраснел. И восклицание и смех относились несомненно к моей особе.

Вечером опять приходил Фальстаф, на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах. Я его спросил как будто бы нечаянно:

— Вы не знаете, кто эти две барышни, которых я встретил сегодня в саду? Одна брюнетка, такая свеженькая, а другая, почти девочка, в светлосером платье?

Он широко улыбнулся, отчего все лицо его сморщилось, а глаза совершенно исчезли, и лукаво погрозил мне пальцем:

— Ага! Попался на удочку, сын Марса! Ну, ну, ну, не сердись... не буду, не буду... А все-таки интересно?.. А?.. Ну, уж так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Которая помоложе — это молодая барышня, Катерина Андреевна, вот, что я вам говорил, наследница-то... Только какая же она девочка? Разве что на вид такая щупленькая, а ей добрых лет двадцать будет...

— Неужели?

— Да-а! Если еще не больше... У! Это такой бесенок... Вот брюнеточка — так она в моем вкусе... этакая сдобненькая, — Фальстаф плотоядно причмокнул губами, — люблю таких пышек. Ее звать Лидией Ивановной... Простая такая, добрая девушка, и замуж ей страсть как хочется выскочить... Она Обольяниновым какой-то дальней родственницей приходится, по матери, но бедная, — вот и гостит теперь на линии подруги... А впрочем, ну их всех в болото! — заключил он неожиданно и махнул рукой. — Давайте коньяк пить.

С последним доводом я не мог внутренне не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге?

Поздно ночью, по уходе Фальстафа (казачок опять почтительно поддерживал его за талию), когда я уже был в постели, Василий Акинфиевич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке.

— А ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку, — сказал он, зевая и почесывая волосатую грудь. — Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым поят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь... А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают. Отчего бы это? Разрешите-ка...

И, не дожидаясь моего ответа, он продолжал язвительным тоном:

— Оттого, батенька вы мой, что все эти бэгэрэдные люди и всякая такая вещь... претонкие дипломаты... Да-с... У них какая манера? Я ихнего брата хорошо изучил, шатаюсь по вольным работам. Он и любезен с тобой и обед тебе сервирует (справедливость требует сказать, что капитан выговаривал: «сельвирует»), и сигарка, и всякая такая вещь... а ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает, как червяка низменного... И заметьте, поручик, это только настоящие, большие «алистократы» (здесь он уже умышленно, для иронии, исковеркал слово) такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоче да посомнительнее, тот больше форсит и ломается: сейчас стеклышко в глаз, губы распустит и думает, что птица... Ну, а у настоящих — первое дело простота... Потому что им и ломаться нечего, когда у них в крови презрение живет

к нашему брату... И выходит очень естественно и преле-
стно, и всякая такая вещь...

Окончив эту обличительную **речь**, Василий Акипфие-
вич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату.

Что ж? Ведь он, по-своему, пожалуй, и прав. Но я все-
таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку —
как будто бы немножко нетактично.

14 сентября. Сегодня я опять встретил их обенх и
опять — в саду. Они шли обнявшись. Маленькая поло-
жила голову на плечо подруги и что-то напевала с полу-
закрытыми глазами. При виде их у меня тотчас мелькнула
мысль, что мои случайные прогулки могут быть истолко-
ваны в дурную сторону. Я быстро свернул по первой боко-
вой дорожке. Не знаю, заметили меня барышни или нет,
но очевидно, что мне надо для прогулок выбрать другое
время, иначе я рискую показаться назойливым армейским
кавалером.

15 сентября. Вечером Лидия Ивановна уехала на
станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже
не вернется, потому, во-первых, что следом за ней
повезли изрядное количество багажа, а во-вторых — она
и хозяйская барышня очень уж долго и трогательно
прощались перед расставанием. Кстати, при этом слу-
чае я впервые увидел из своего окна самого Андрея
Александровича и его жену. Он — совсем молодчина:
стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара; седые
волосы на голове острижены под гребенку, подбородок —
бритый, усы — длинные, пушистые и серебряные, а гла-
за — точно у ястреба, только голубого цвета, а то такие
же круглые, впалые, неподвижные и холодные. Жена
производит впечатление запуганной и скромной особы:
она держит голову немного набок, и с губ ее не сходит
не то виноватая, не то жалостливая улыбка. Лицо жел-
тое и доброе. Вероятно, она в молодости была очень кра-
сива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет.
На балконе также появилась какая-то сгорбленная ста-
рушенция в черной наколке и зеленых буклях, — вышла,
опираясь на палку и еле волоча за собою ноги, хотела,
кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с от-
чаянным видом палкой и опять скрылась.

16 сентября. Василий Акипфиевич просил меня при-
смотреть за работами до тех пор, пока он не оправится

от внезапных припадков своего балканского ревматизма. «В особенности», — говорил он, — наблюдайте внимательно за приемкой бураков, потому что солдаты и так уж жалуются, что у здешних десятников берковицы чересчур полные. Я, по правде говоря, побаиваюсь, как бы в конце концов не вышло между теми и другими какого-нибудь крупного недоразумения».

Солдаты работали по трое. Они уже практическим путем выработали такую сноровку. Один копачом выковыривает бураки из почвы, двое ножами обрезают их и очищают от земли. Тройки эти состояются обыкновенно из работников равной силы и ловкости, плохого нет расчета принимать — только другим будет помехой.

Читал я, — не помню где, кажется что в «Разведчике», — соображения какого-то досужего мыслителя, будто от вольных работ нет никакой пользы: только одежда рвется да солдат распускается.. И вовсе это неправда... Нигде нет такого доверчивого, почти родственного согласия между начальником и солдатом, как на вольных работах. И уж если согласиться с тем, что и нижнему чину нужны каникулы среди его тяжелой военной науки, то ведь лучшего отдыха для него, как любимый полевой труд, не сыскать. Только надо, чтобы все заработанные деньги шли солдату без всяких посредников... Где у человека чешется, он сам об этом знает.

А работают наши прекрасно: нанятым крестьянам и вполсилу за ними не угнаться. Только Замошников, по обыкновению, ничего не делает Замошников — это любимец и баловень всей роты, начиная от капитана и кончая последним рядовым — Никифором Спасобом (этот Спасоб — со своей хромою ногой и бельмом на правом глазу — уже четвертый год представляет собою ходячее и вопиющее недоразумение военной службы). Правда, Замошников за всю свою службу никак не мог выучить по азбуке Гребенюка гласных букв, а в «словесности» проявляет редкую, исключительную тупость, но такого лихого запевалы, мастера на все руки, сказочника и балагура не сыщется во всем полку... Он, повидимому, хорошо сознает свою роль и смотрит на нее, как на некоторого рода служебную обязанность. На походе он поет без передышки, и его хлесткие, забористые слова часто заставляют приставших солдат сочувственно гого-

тать и нравственно встряхиваться. Василий Акинфиевич, хотя и держит Замошникова чаще, чем других, под ружьем, за что тот вовсе не в претензии, но признавался мне как-то, что такой затейщик в военное время, да при трудных обстоятельствах,— чистая драгоценность.

Однако Замошников вовсе не плоский шут и не лодырь, и за это-то я его особенно люблю. Просто жизнь в нем кипит неудержимым ключом и не дает ему ни минуты посидеть спокойно на месте.

Вот и нынче: пробираясь от партии к партии и дойдя, наконец, до бабьего участка, он затеял с хохлушками длинный разговор, благодаря которому ближние солдаты побросали работу и катаются от хохота по земле. Я еще издали слышу, как он подражает то пискливой и стремительной бабьей ругани, то ленивому говору старого хохла... Увидев меня, он делает озабоченное лицо, шарит по земле и спрашивает: «Ну, а кто из вас, землячки, загубил моего копача?» Я кричу на него, стараясь принять строгий вид. Он вытягивается в струнку, держась, как и всегда пред начальством, с грациозной молодцеватостью, но в его добрых голубых глазах еще дрожит огонек недавнего смешливого задора...

17 сентября. Наше знакомство состоялось, но состоялось при самых исключительно комических условиях. Что скрываться перед собой — я втайне очень желал этого знакомства, но если бы я мог предчувствовать, что оно произойдет так, как оно сегодня произошло, я бы от него отказался.

Местом действия опять-таки был сад. Я уже писал, что там есть озеро с круглым островком посредине, заросшим густым кустарником. На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около нее привязана на цепи длинная плоскодонная лодка.

В этой-то лодке и сидела Катерина Андреевна, когда я проходил мимо. Держась обеими руками за борта и перегибаясь телом то на одну, то на другую сторону, она старалась раскачать и сдвинуть с места тяжелую лодку, глубоко всосавшуюся в илистое дно. На ней был матросский костюм с широким вырезом на груди, позволявшим видеть белую, тонкую шею и худенькие ключицы, резко выступавшие от мускульного напряжения, и тоненькую золотую цепочку, прятанную под платьем... Но я взгля-

нул только мимоходом и, сделав полупоклон, с прежним скромным достоинством отвернулся. В это время женский голос, свежий и веселый, вдруг крикнул:

— Пожалуйста, будьте так добры!

Я сначала подумал, что это восклицание относится к кому-нибудь другому, идущему сзади меня, и даже невольно обернулся назад... Но она смотрела именно на меня, улыбалась и энергично кивала мне головой.

— Да, да, да... вы, вы. Будьте так добры, помогите мне чуть-чуть сдвинуть эту противную лодку. У меня одной нехватает сил.

Я отвешиваю самый галантный поклон, нагнув вперед туловище и слегка приподняв назад левую ногу, стремительно сбегая к воде и делаю вторичный, такой же светский поклон. Воображаю, хорош я был! Барышня стоит в лодке, продолжает смеяться и говорит:

— Столкните ее немножко... Потом уж я сама справлюсь.

Я берусь обеими руками за нос лодки, широко расставляю для устойчивости ноги и предупреждаю с изысканной вежливостью:

— Потрудитесь присесть, mademoiselle... Толчок может выйти очень сильным.

Она садится и глядит на меня в упор смеющимися глазами и говорит:

— Право, мне так совестно, что я злоупотребляю вашей добротой...

— О, это такие пустяки, mademoiselle!..

Ее внимание придает моим движениям уверенную грацию. Я — хороший гимнаст и от природы обладаю достаточной физической силой. Но лодка не двигается, несмотря на все мои старания...

— Лучше не трудитесь, — слышу я нежный голосок. — Это, должно быть, слишком тяжело... и может повредить вам... Право, мне так...

Неоконченная фраза виснет в пространстве... Сомнение в моих силах удесатеряет их... Мощное усилие — толчок — бух!.. Лодка летит, как стрелка... и я, по всем законам равновесия, шлепаюсь ничком в тину.

Когда я встаю, то чувствую, что у меня и лицо, и руки, и белоснежный китель, только что надетый в это утро, — все покрыто сплошным слоем коричневой, вязкой

и вонючей грязи. В то же время я вижу, что лодка быстро скользит по самой середине озера и что со дна ее поднимается упавшая во время толчка со скамейки девица... Первый предмет, кидающийся ей в глаза,— я. Неистовый хохот оглашает весь сад и сто раз повторяется в чаще деревьев... Я вынимаю платок и сконфуженно вожу им сначала по кителю, потом по лицу... Но во-время соображаю, что от этого только сильнее размазывается грязь и моя фигура приобретает еще более жалкий вид. Тогда я делаю геройскую попытку: самому расхохотаться над комичностью своего положения... и потому испускаю какое-то идиотское ржанье. Катерина Андреевна пуще прежнего заливается смехом и едва может выговорить: — Уходите... уходите скорей... вы... схватите простуду...

Я кидаюсь сломя голову прочь от этого проклятого места, но всю дорогу, до самого дома, в моих ушах звенит беспощадный несмолкаемый хохот...

Капитан, увидев меня, только руками развел.

— Хоро-ош! Нечего сказать!.. Где это вас угораздило?

Я ему ничего не ответил, захлопнул дверь своей комнаты и с озлоблением поворотил два раза ключ...

Увы! Теперь все и навеки потеряно...

Р S Хороша она или дурна собой?.. Я так был погружен в свое геройство (казнись, казнись, несчастный!), что даже не успел путем взглянуть в нее... А впрочем, не все ли равно?

Завтра во что бы то ни стало еду в полк, хотя бы для этого пришлось притвориться больным... Здесь я своего позора не переживу.

Кэт — Лидии.

«18 сентября. Ольховатка.

Милая и дорогая моя Лида!

Поздравь меня скорей. Лед тронулся... Таинственный незнакомец, оказывается,— самый любезный в мире *chevalier sans peur et sans reproche*¹. Честь этого открытия принадлежит мне, потому что ты, гадкая, уехала и некому меня удерживать от моих глупостей, которых я успела наделать без тебя целую тысячу.

¹ Рыцарь без страха и упрека (франц.).

Раньше всего признаюсь тебе, что я устроила вчера на таинственного незнакомца облаву. Я села в лодку и, когда он проходил мимо, попросила его оттолкнуть меня от берега. О, я отлично знаю, что ты удержала бы меня от такой выходки! Надо было видеть поспешность, с которой таинственный незнакомец бросился исполнить мою просьбу... Но — бедный — он не рассчитал своих сил, упал в воду и весь перепачкался в грязь... У него был самый плачевный и в то же время самый смешной вид, какой только можно себе вообразить: шапка свалилась на землю, волосы упали на лоб, и с них текла ручьями грязь, руки с растопыренными пальцами точно окаменели... Я тотчас же подумала: «Не надо смеяться... Он обидится». Уж лучше бы мне не думать этого!.. Я принялась хохотать, хохотать, хохотать... Я хохотала до истерики... Напрасно я кусала себя до крови губы и щипала себя больно за руку. Ничто не помогло... Переконфуженный офицер обратился в бегство... Это с его стороны было очень неостроумно, потому что я забыла на берегу весла. Пришлось до тех пор носиться по волнам разъяренной стихии, пока ветром не прибило мой утлый челн в камыш. Там, хватаясь попеременно обеими руками за стебли и подтягивая таким образом лодку, мне удалось кое-как добраться до берега... Однако, выскакивая из лодки, я все-таки умудрилась промочить ноги и платье чуть не до колен.

Знаешь ли, он мне очень нравится, и какое-то странное предчувствие говорило мне, что между нами завяжется интересный флирт, *l'amour impatient*¹, как говорит Прево... В нем есть что-то мужественное, крепкое и в то же время нежное. Над таким человеком приятно властвовать. Кроме того, он, должно быть, очень скромный, то есть не болтлив; кажется не глуп, а главное — в его фигуре и движениях чувствуется прочное здоровье и большая физическая сила. Когда он так неудачно хлопотал около лодки, мною овладела дикая, но очень соблазнительная мысль: мне страшно хотелось, чтобы он взял меня на руки и быстро-быстро нес по саду... Это ведь не составило бы для него большого труда, милая моя Лидочка?..

¹ Незавершенная любовь (франц.).

Какая разница между ним и примелькавшимися петербургскими танцорами и спортсменами, в которых всегда чувствуешь что-то поношенное, что-то привычное и неприятно бесстыдное. Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, притом стыдлив и, мне кажется, страстен.

Завтра или послезавтра я буду делать ему авансы (кажется, по-русски так выражаются?). Прошу тебя, Лидочка, исправлять без стеснения мои галлицизмы, как ты мне сама обещала.. Право, мне стыдно, что я делаю ошибки в своем родном языке. Что он так великолепно упал в озеро — ничего не значит. Никто, кроме меня, не был свидетелем этого трагического происшествия... Дело другого рода, если бы он был так неловок перед глазами большого общества. О, тогда я непременно стыдилась бы его... Это, должно быть, такая наша специально женская психология.

Прощай, мой славный Лидочек. Целую тебя.

Твоя Кэт».

19 сентября. Все в мире проходит — боль, горе, любовь, стыд, и это в сущности чрезвычайно мудрый закон. Третьего дня я был уверен, что если бы перед моим отъездом я столкнулся где-нибудь нечаянно с Катериной Андреевной, то я непременно умер бы от стыда. А между тем я не только не уехал из Ольховатки, но даже успел заключить дружбу с этим очаровательным существом. Да, да, именно дружбу. Она сегодня сама под конец нашей длинной и очень душевной беседы сказала слово в слово следующую фразу: «Итак, m-г Лапшин, будемте друзьями, и пусть никто из нас не вспоминает более об этой несчастной истории». Конечно, под несчастной историей подразумевалось мое приключение с лодкой.

Теперь я знаю ее наружность до самых тончайших подробностей, но описать ее я не могу. Да, по правде сказать, я это вообще считаю невозможным. Часто читаешь в каком-нибудь романе описание наружности героини: «у нее было прекрасное, классически правильное лицо, с глазами, полными огня, прямым очаровательным носиком и с прелестными алыми губками, из-за которых блистали два ряда великолепных жемчужных зубов». Удивительная наивность!.. Разве это пошлое описание даст

хотя малейшее понятие о той неуловимой совокупности и взаимной гармонии черт, которые делают каждую физиономию непохожей на миллион других.

Вот и я в настоящую минуту необыкновенно ярко вижу пред собою ее лицо: круглый овал, матовая бледность, брови, почти прямые, очень черные и густые; у переносья они сходятся в виде темного пушка, что придает им несколько суровое выражение; глаза большие, зеленые, с громадными близорукими зрачками; рот маленький, чуть-чуть неправильный, чувственный, насмешливый и гордый, с полными, резко очерченными губами, матовые волосы собраны тяжелым и небрежным узлом на затылке.

Уехать вчера я не мог. Капитан болен не на шутку с утра до вечера растирается муравьиным спиртом и пьет декокт из какой-то петушиной травы... Бросить его в таком положении было бы не по-товарищески. Тем более что капитанская «петуховка» — не что иное, как замаскированный запой.

Вчера вечером пошел в сад. Я даже не посмел признаться себе, что тайне надеялся застать там Катерину Андреевну. Не знаю, видела ли она, как я входил в калитку, или все объясняется случайностью, но мы ветрелись лицом к лицу на главной дорожке в то время, когда я только что вышел на нее из аллеи.

Солнце садилось. Половина неба рдела, обещая на утро ветер. Катерина Андреевна была в белом платье, перехваченном в талии зеленым бархатным кушаком. На огненном фоне заката ее голова прозрачно золотилась тонкими волосами.

Увидев меня, она улыбается, но не зло, а скорее ласково, и протягивает мне руку.

— Я отчасти виновата во вчерашнем... Скажите, вы не простудились?

Тон ее вопроса искренний и участливый... Все мои страхи рассеиваются... Я даже нахожу в себе столько смелости, что рискую сам над собой пошутить:

— Пустяки... Маленькая ванна из грязи... Это, скорее, полезно... Вы слишком добры, mademoiselle...

И мы оба принимаемся хохотать самым откровенным образом. Действительно, что же было такого ужасного или постыдного в моем невольном падении? Я решительно не понимаю!..

— Нет, этого так нельзя оставить,— говорит она, продолжая смеяться.— Вы должны потребовать реванш... Вы умеете грести?

— Умею, mademoiselle.

— Ну, так пойдете... Да не называйте меня постоянно mademoiselle. Впрочем, вы не знаете моего имени?

— Знаю, Катерина Андреевна?

— Ах, это страшно длинно: Ка-те-ри-на, да еще вдобавок Андреевна. Дома меня все называют Кэт... Зовите меня просто Кэт...

Я на ходу шаркаю по песку ногай, что должно означать молчаливое согласие.

Я подтягиваю лодку к берегу. Кэт, крепко опираясь на мою протянутую руку, уверенно бежит по дощечкам для гребцов на корму. Мы медленно скользим по озеру. Поверхность так скользка и неподвижна, что кажется густой. Встревоженные тихим движением лодки, за кормой с легким журчаньем лениво расплываются в обе стороны морицинки, розовые от последних лучей солнца. У берегов в воде отражаются вверх ногами, но еще красивее, чем в действительности, прибрежные косматые ветлы, на которых зелень еще не тронута желтизной. Пара лебедей, легких, как кусочки снега, плывут за нами издали, белая в темной воде.

— Вы постоянно проводите лето в деревне, mademoiselle Кэт? — спрашиваю я.

— Нет. В прошлом году мы ездили в Ниццу, а раньше были в Баден-Бадене... Я не люблю Ниццы — это город умирающих. Кладбище какое-то... Зато я играла в Монте-Карло. Просто как безумная!.. А вы были за границей?

— Как же! И даже с приключениями.

— В самом деле? Это, должно быть, интересно. Расскажите, пожалуйста.

Это случилось два года тому назад, весной. Наш батальон стоял в отделе, в крошечном пограничном местечке — Гусятине. Оно обыкновенно называется русским Гусятиным, потому что по ту сторону узенькой речонки, всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, находится австрийский Гусятин... И когда я говорю не без гордости: в бытность мою за границей,— я подразумеваю именно этот самый австрийский Гусятин.

Однажды, заручившись благосклонностью станового пристава, мы собрались туда довольно большим обществом, состоявшим исключительно из офицеров и полковых дам. Проводником был местный штатский доктор, он же служил нам и переводчиком... Едва мы вступили, выражаясь высоким штилем, на чуждую территорию, как нас окружила толпа оборванных, грязных ребятишек — русинов. Тут мы, кстати, имели случай убедиться в той глубокой симпатии, которую к нам, русским, питают наши западные братья славяне. Мальчишки, следуя за нами от плотины и до самых дверей ресторации, ни на секунду не переставали осыпать нас отборнейшею русскою бранью... Австрийские евреи кучками стояли на улице, в хвостатых меховых шапках, с пейсами до плеч, в лапсердаках, из-под которых виднелись белые чулки и пантуфли. При нашем приближении они указывали на нас другу другу пальцами, и в их быстром гортанном говоре, с характерными завываниями на концах фраз было что-то угрожающее.

Наконец мы добрались до ресторана и заказали себе гуляши и мясляци. Первое — какое-то национальное мясное кушанье поволам с красным перцем, а второе — притворное венгерское вино. Пока мы ели, в крошечную залу набралась густая толпа гусятинских обывателей, созерцавших с откровенным любопытством чужеземных гостей. Потом трое человек из этой толпы подошли и поздоровались с доктором — он тотчас же представил их нашим дамам. За этими тремя подошло еще четверо, потом еще человек шесть. Что это были за субъекты, — я до сих пор не могу себе представить, но несомненно, что все они занимали административные должности. Между ними находился какой-то пан-комисарж, и пан-подкомисарж, и пан-довудца, и еще какие-то паны. Все они ели с нами гуляши, пили мясляци и поминутно говорили дамам: «служу пани» и «падам до ног панских»... В заключение пан-комисарж просил нас остаться до вечера и посетить назначенный на этот день складковъный бал. Мы согласились.

Все обстояло самым прекрасным образом, и наши дамы с увлечением юсились в вихре вальса с своими новыми знакомыми. Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам заказыв-

вать для себя танец, платя за него музыкантам двадцать копеек. С этим обычаем мы вскоре примирились, но пассаж не замедлил произойти, и совсем для нас неожиданно.

Кому-то из нас захотелось пива, и он сказал об этом одному из наших новых знакомых — представительному черноусому господину с великолепными манерами, про которого наши дамы решили, что он непременно должен быть одним из окрестных магнатов. Магнат оказался чрезвычайно любезным человеком. Он крикнул: «зараз панове!», исчез на минутку и тотчас же воротился с двумя бутылками пива, штопором и салфеткой подмышкой. Обе бутылки были им открыты с таким удивительным искусством, что наша полковница даже выразила вслух свое одобрение. На ее комплимент магнат возразил со скромным достоинством: «О, это для меня дело привычное, сударыня!.. Ведь я же служу в этом самом заведении кельнером!» Конечно, после этого неожиданного признания наша компания оставила австрийский бал с поспешностью, даже несколько неприличной.

В то время, когда я рассказываю, Кэт звонко смеется, наша лодка огибает островок и въезжает в узенький канал, над которым свесившиеся с обоих берегов деревья образуют полутемный, прохладный свод. Здесь пахнет сильно болотной травой, вода кажется черной, как чернила, и кипит под веслом.

— У! Как хорошо! — восклицает Кэт и содрогается плечами.

Так как разговор грозит иссякнуть, я спрашиваю:

— Вам, вероятно, очень скучно в деревне?

— Очень скучно, — отвечает, чуть-чуть помолчав, Кэт и небрежно прибавляет, бросая на меня быстрый кокетливый взгляд, — по крайней мере до сих пор. Еще пока летом гостила здесь моя подруга, — вы ее, кажется, видели? — тогда хоть было с кем поболтать...

— Разве у вас совсем нет знакомых среди окрестных помещиков?

— Нет. Папа никому не хотел делать визитов... Ужасно скучно... По утрам на мне лежит обязанность читать вслух бабушке «Московские ведомости»... Вы не поверите, какая это тоска!.. В саду так хорошо, а тут изволь читать про какие-то конфликты между просвещен-

ными державами и про сельскохозяйственный кризис... Я иной раз с отчаяния возьму да пропущу строк двадцать или тридцать, так что во всей статье не останется ровно никакого смысла... Бабушка, однако, далека от подозрения и часто удивляется: «Ты замечаешь, Кэт, как нынче непонятно стали писать?» Я, конечно, соглашаюсь: «Действительно, бабушка, очень непонятно». Зато, когда чтение кончается, я чувствую себя как школьница, отпущенная на каникулы...

Разговаривая таким образом, мы катаемся по озеру до тех пор, пока не начинает темнеть... При прощании Кэт фразой, брошенной вскользь, дает мне понять, что ежедневно утром и вечером она имеет обыкновение гулять по саду.

Это все случилось вчера, но я не успел ничего вчера записать в дневник, потому что все остальное время до полуночи лежал на кровати, глядел в потолок и предавался тем несбыточным, невероятным мечтам, которые, несмотря на их невинность, совестно передавать на бумаге.

Сегодня мы опять встретились, но уже без малейшего смущения, как старые знакомые. Кэт необыкновенно добра и мила. Когда я в разговоре выразил, между прочим, сожаление, что прискорбный случай с лодкой сделал меня в ее глазах смешным, она протянула мне откровенным движением руку и произнесла незабвенные слова:

— Будемте друзьями, monsieur Лапшин, и не станем вспоминать об этой истории.

И я знаю, что ласковый тон этих слов никогда не изгладится из моей памяти никакими другими словами. Во веки веков.

20 сентября. О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли. Вид у нее очень утомленный: глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее обыкновенного.

— Вы не обращайтесь особенного внимания на мое нездоровье,— сказала она в ответ на мое соболезнование.— Это пройдет... Я приобрела нехорошую привычку

читать в постели. Не заметишь, как увлечешься, и читаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница.

Потом, полушутя, полусерьезно, она спросила:

— Вы не умеете гипнотизировать?

Я отвечал, что не пробовал, но, вероятно, сумею.

— Возьмите меня за руку, — сказала Кэт, — и смотрите мне пристально в глаза. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть.

Я так и сделал. Ее маленькая, холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебегали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт. Как будто бы в ответ на мое бессознательное движение, я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку со словами:

— Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете...

— Напротив, я думал о вас, mademoiselle Кэт, — возразил я.

— Может быть. Но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы — нехороший...

Я — нехороший! Свидетель бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, может быть, мое несчастное лицо имеет способность выражать вовсе не то, что я чувствую?

Однако — странная вещь — замечание Кэт вдруг заставило меня впервые *почувствовать* в ней женщину, и мне стало неловко.

Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигрень у Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилась все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более, чем следовало, задержать ее руку и сказала:

— Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра.

Но как это было хорошо сказано! Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу. Это «подождите» я перевел таким образом: «Я знаю, что вам очень приятно со мной видеться;

мне это тоже не противно, но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много — не правда ли?» Кэт дает мне право ждать себя! У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли.

Что, если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное? Блуждая после ухода Кэт по дорожкам сада, я невольно мечтал об этом. Ведь ни о чем не запрещено мечтать ни одному человеку? И я представлял себе, как между нами возникает пламенная, скромная и доверчивая любовь, ее первая любовь, моя, хотя не первая, но зато самая сильная и последняя. Я представлял себе ночное свидание, скамейку, облитую кротким сиянием луны, голову, доверчиво прижавшуюся к моему плечу, и сладкое, еле слышное «люблю», робко произнесенное в ответ на мое пылкое признание. «Да, я люблю тебя, Кэт,— говорю я с подавленным вздохом,— но мы должны расстаться. Ты — богата, я — бедный армейский офицер, у которого нет ничего, кроме безмерной любви к тебе. Неравный брак принесет тебе несчастье. Ты будешь потом упрекать меня». — «Я люблю тебя и не могу без тебя жить! — отвечает она. — Я пойду за тобой на край света». — «Нет, дорогая, нам нужно расстаться... Тебя ждет иная жизнь... Помни только одно, что я никогда, никогда в моей жизни не перестану любить тебя».

Ночь, скамейка, луна, поникшие деревья, сладкие слова любви... Как все это возвышенно, мило, старо и... глупо. Вот и теперь, пока я пишу эти строки, капитан, только что выпивший на ночь «петуховки», кричит мне из своей постели:

— Что это вы все строчите, поручик? Уж не стихи ли часом? Вот бы раздолжили таким «бэгэрэдством».

Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу. Кривя рот в сторону, он говорит иногда:

— Слишки-с? Кому это нужно-с?

И он язвительно декламирует:

Передо мной портрет стоит
Неодушевленный, но в рамке;
Перед ним свеча горит,
Букет торчит
И роза в бане.

— Чепуха-с, ерунда-с и всякая такая вещь...

Но и он не чужд искусству и поэзии. В период усиленных приемов «петуховки» он играет иногда на гитаре и поет старые, диковинные, смешные романсы, каких теперь не поют уже лет тридцать.

Сейчас я лягу в кровать, но знаю, что заснуть мне будет трудно... Но разве мечты, хотя бы самые несбыточные, не составляют неотъемлемого и утешительного права каждого смертного?

21 сентября. Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я и капитан будем обедать у самого Андрея Александровича, я бы рассмеялся в лицо этому предсказателю. Я, между прочим, только что вернулся из палата, и даже в зубах у меня дымится еще та самая сигара, которую я закурил в великолепном кабинете. Капитан в своей комнате растирается муравьиным спиртом и ворчит что-то про «бэгрэдство и всякую такую вещь». Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным в своих сегодняшних лаврах торреадора и бесстрашного спасителя особы прекрасного пола. Увы! Должно быть, сама судьба избрала нас обоих выступать здесь в комических ролях: меня — в приключении на берегу озера, его — в сегодняшнем подвиге.

Впрочем, надо рассказать все по порядку. Было часов одиннадцать утра. Я сидел за письменным столом и писал своим домашним письмо в ожидании капитана, который должен был прийти к завтраку. Он действительно пришел, но в самом неожиданном виде: весь в пыли, красный, переконфуженный и злой.

Я поглядел на него вопросительно. Он начал стаскивать с себя сюртук, продолжая браниться.

— Это вот... такая вышла вот... глупая штука и... всякая такая вещь!.. Представьте себе — иду сейчас с работ... Прохожу двором и вижу, что из палисадника, что перед палатом, выползает эта самая старушка, ну... мать или бабушка, что ли, или кто там? — не знаю. Прекрасно-с. Бредет она себе потихонечку, вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает теленок, знаете, обыкновенный теленок, еще и году ему нет... скачет, знаете, хвост кверху, и всякая такая вещь... ну, просто телячий восторг на него накати... Увидел старушку и прямо к ней. Та — кричать! Палкой на него машет... А теленок еще пуще — так вокруг нее

и танцует, думает, играют с ним. Покатилась моя старушка на землю... ни жива ни мертва и даже кричать больше не может... Вижу я, что нужно помогать — бегу изо всей мочи... прогоняю этого дурацкого телка... смотрю, а старушка лежит, чуть дышит и даже кричать больше не может. Я думал, что уже дуба дала со страху. Ну, поднял ее кое-как, отряхнул от пыли, спрашиваю, не ушиблась ли? Та — только глазами ворочает и стонет. Наконец говорит: «Проведите меня в дом». Обнял я ее вокруг спины, поволок, на балкон втащил. На балконе сидит сама хозяйка здешняя, жена самого... Перепугалась ужас как. Охает. «Что такое с вами, маман, что случилось?..» Усадили мы с ней старушку в кресло, натерли какими-то духами. Ничего... отдышалась понемногу. Ну, и начала же она потом расписывать. Я уж не знал, куда мне и деваться... «Иду я, говорит, по двору, и вдруг прямо на меня летит бык... огромный бешеный бык... глаза в крови, морда вся в пене... Налетел на меня, ударил в грудь рогами, свалил на землю... Дальше я, говорит, ничего не помню...» Ну, одним словом, оказалось, что я какое-то чудо совершил: кинулся будто бы этому самому быку навстречу, схватил его за рога и, ей-богу, чуть ли не через себя перекинул... Я слушал-слушал и говорю наконец: «Вы ошибаетесь, сударыня, это не бык, это был просто телок...» Куды тебе! И слушать не хочет «Вы, говорит, это из скромности». В это время приходит барышня ихняя. Тоже разохалась. Старушка ей всю эту комедию рассказала. Чорт знает что за идиотская история! Называют меня и героем и спасителем, жмут руки и всякая такая вещь... Слушаю их: и смешно мне и стыдно, право... Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать... Насилу-то, насилу от них отделался... Этакая ведь глупая штука вышла! Глупее, кажется, и нарочно не выдумаешь...

Мы сели завтракать. За завтраком, после нескольких рюмок «петуховки», капитан немного успокоился. Он уже собирался опять итти на работы, как вдруг стремглав влетел в комнату наш казачок с лицом, перекошенным от испуга, и с вытаращенными глазами.

— Пан... сами пан сюды идут!

Мы тоже бог весть почему испугались, вскочили, забегали, стали торопливо надевать скинутые сюртуки.

В эту самую минуту в дверях показался Обольянинов и остановился с легким поклоном:

— Господа, я боюсь, что причинил вам беспокойство моим визитом,— сказал он с самой непринужденной и в то же время холодной любезностью,— пожалуйста, оставайтесь, как были, по-домашнему...

Он был в легкой просторной чесучовой паре, удивительно шедшей к его большому, росту и молодившей его лицо. А лицо у него истинно аристократическое: я никогда не видел такого изысканного профиля, такого тонкого, гордого, орлиного носа, такого своевольного, круглого подбородка и таких надменных губ.

Затем он обратился к капитану:

— Позвольте мне выразить мою глубокую признательность... Если бы не ваша смелость...

— Промилуйте, что вы-с,— возразил капитан, конфузясь и делая руками несообразные жесты.— Да я же ничего особенного не сделал, за что благодарить? Телок-с! Собственно говоря, просто неловко, и всякая такая вещь.

Обольянинов опять сделал не то насмешливый, не то вежливый поклон.

— Эта скромность делает честь вашему мужеству, капитан. Тем не менее я считаю долгом принести благодарность и от матушки и от себя лично.

Тут капитан совсем застыдился, покраснел,— отчего лицо его сделалось коричневым,— и еще нелепее замахал руками.

— Да помилуйте... ничего тут особенного... просто телок.. Да я.. сделайте одолжение... всегда... вижу, телок бежит, ну, я сейчас... помилуйте...

Я увидел, что капитан решительно запутался, и поспешил к нему на помощь.

— Присядьте, прошу вас,— сказал я, придвигая ему стул.

Он вскользя скинул меня равнодушным взглядом, бросил небрежное перся, но не сел, а только взялся рукой за спинку стула.

— Мне очень жаль, господа, что мы до сих пор не были знакомы,— сказал помещик, протягивая капитану руку.— Во всяком случае сделаемте это: лучше поздно, чем никогда...

Растерявшийся капитан ничего не мог ответить и только чрезвычайно низко поклонился, пожимая белую выхоленную руку.

Что касается меня, я довольно бойко отрекомендовался: поручик Лапшин, а потом прибавил, хотя несколько неразборчиво.

— Очень приятно... поверьте... такая честь...

В конце концов я не уверен, кто из нас сделал лучше: я или капитан.

— Я думаю, вы, господа, не откажетесь отобедать у меня, — сказал Оболянинов, беря со стула свою шляпу. — Мы обедаем равно в семь...

Мы еще раз поклонились, и наш хозяин удалился с той же великолепной непринужденностью, как и вошел.

К семи часам мы явились в палат. Всю дорогу капитан ворчал что-то про «бездарство», постоянно поправлял нацепленный для чего-то на грудь иконостас и, повидимому, находился в самом подавленном настроении духа... Впрочем, надо сказать, и я чувствовал себя не особенно развязно.

Когда мы пришли, то попали прямо в столовую — большую, несколько мрачную комнату, всю отделанную массивным резным дубом. Андрея Александровича не было, в столовой находились только его жена да старушка мать, спасенная от смерти капитаном. Произошло легкое замешательство, конечно, больше с нашей стороны. Мы должны были сами представляться... Нас попросили сесть... Разговор неминуемо зашел об утреннем происшествии, но, продержавшись минут пять, истощился без всякой надежды на возобновление, и мы четверо сидели молча и глядели друг на друга, тяготясь нашим молчанием.

К счастью, скоро в столовую вошла Кэт в сопровождении отца. Увидев меня, она удивленно закусилла нижнюю губку, и брови ее высоко поднялись. Нас представили. По лицу Кэт я догадался, что о нашем случайном знакомстве в саду никому не должно быть известно... Милая девушка! Конечно, я исполнил твое безмолвное приказание.

После обеда, во время которого Оболянинов тщетно старался вызвать капитана на разговор, — на меня он почему-то мало обращал внимания, — старуха выразила

желание сыграть в ералаш. Так как Василий Акинфиевич никогда не берет карт в руки, то четвертым усадили меня.

В продолжение двух часов я мужественно переносил самую томительную скуку. Старая дама два первых роббера играла еще туда-сюда. Но потом ее старческое внимание утомилось. Она начала путать ходы и брать чужие взятки... Когда требовались пики, несла бубны.

— Матап, ведь у вас есть еще пики,— замечал ей с несколько насмешливым почтением Андрей Александрович.

— Ну вот, ты меня еще учить вздумал! — обижалась старушка. — Стара я, голубчик, стала, чтобы меня учили... Если не даю пик, стало быть у меня их и нет.

Однако спустя минуту она сама начинала ходить с отыгранных пик.

— Видите, матап, нашлись же у вас пики,— говорил ей сын с тем же оттенком добродушной насмешки, и она совершенно искренно изумлялась.

— Не понимаю, голубчик, откуда они у меня взялись! Просто — не понимаю...

Впрочем, я сам играл рассеянно. Я все время прислушивался, не раздадутся ли сзади меня легкие шаги Кэт... Она, бедная, билась около получаса, стараясь занять капитана, но все ее старания разбивались о капитанское каменное молчание. Он только краснел, вытирал клетчатым платком вспотевший лоб и на каждый вопрос отвечал: «Да-с, сударыня... нет, сударыня». Наконец Кэт принесла ему целую грудку альбомов, гравюр, и он всецело погрузился в них.

Несколько раз Кэт нарочно проходила мимо карточного столика. Наши глаза каждый раз встречались, и каждый раз в ее глазах я видел лукавый и нежный огонек... Наше никем не подозреваемое знакомство делало нас чем-то вроде двух заговорщиков, двух людей, посвященных в одну тайну, и эта таинственность притягивала нас друг к другу крепкими задушевыми нитями.

Было уже темно, когда, окончив ералаш и покурив в кабинете, мы возвращались домой. Капитан шел впереди. На террасе я вдруг почувствовал, да, именно почувствовал, *что-то* присутствие. Я раскурил сильнее сигару и в красноватом, вспыхивающем и потухающем свете увидел платье и дорогое улыбающееся лицо.

— Умница, паинька-мальчик, хорошо себя вел, — услышал я тихий шопот.

В темноте моя рука схватила ее руку. Темнота вдруг придала мне необыкновенную смелость. Сжав эти, нежные холодные пальчики, я поднес их к губам и стал быстро и жадно целовать. В то же время я твердил радостным шопотом:

— Кэт, моя милая... Кэт!

Она не рассердилась. Она только слабо отдергивала свою руку и говорила с притворным нетерпением:

— Не надо, не надо... Идите... Ах, какой вы непослушный... Ступайте, вам говорят.

Но когда я, боясь на самом деле ее рассердить, разжал свои пальцы, она вдруг удержала их и спросила:

— Как ваше имя? Вы мне до сих пор не говорили.

— Алексей, — ответил я.

— Алексей? Как это хорошо!.. Алексей.. Алексей... Алеша.

Потрясенный этой неожиданной лаской, я стремительно протянул вперед руки, но... они встретили пустоту. Кэт уже не было на балконе.

О, как безумно я ее люблю!

Кэт — Лидии.

«21 сентября. Ты, конечно, помнишь, милая моя Лидочка, как папа восставал против наших офицеров? Как он называл их насмешливо «армеутами»? Поэтому ты, без сомнения, удивишься, если я тебе скажу, что они сегодня у нас обедали. Сам папа отправился к ним во флигель и пригласил их. Причина этой внезапной перемены — та, что сегодня утром старший из офицеров спас мою *grande mère*¹ от неизбежной смерти. В том, что рассказывает бабушка, есть что-то невероятное. Она будто бы шла по двору, на нее внезапно налетел бешеный бык, храбрый офицер кинулся между ней и быком, — вообще целая картина во вкусе Шпильгагена.

Положив руку на сердце, я тебе скажу, мне не особенно нравится то, что папа притащил их. Во-первых, они оба в обществе так теряются, что на них мучительно смотреть... В особенности старший: он ел рыбу прямо с

¹ Бабушку (франц.).

ножа, все время странно конфузился и имел самый смешной вид. Во-вторых, мне жаль, что наши свидания в саду потеряли почти всю прелесть своей оригинальности. Раньше, когда никто не мог даже и подозревать о нашем случайном знакомстве, в этих свиданиях было что-то запретное, выходящее из ряда. Теперь уже — увы! — никому даже не придет в голову удивиться, увидав нас вместе.

Что Лапшин влюблен в меня по уши, в этом я уже совсем не сомневаюсь — у него очень, даже чересчур красноречивые глаза! Но он так скромен и нерешителен, что мне волей-неволей приходится идти к нему навстречу. Вчера, когда он уходил от нас, я нарочно ждала его на балконе. Было темно, и он стал целовать мои руки. Ах, дорогая Лидочка, в этих поцелуях было что-то обворожительное! Я их чувствовала не только на руках, но на всем моем теле, по которому каждый поцелуй пробежал сладкой нервной дрожью. В эту минуту я очень жалела, зачем я не замужем. Мне так хотелось еще продлить и усилить эти новые, незнакомые для меня ощущения.

Ты, конечно, прочтешь мне нотацию за то, что я кокетничаю с Лапшиным. Но ведь это меня ни к чему не обязывает, а ему, без сомнения, доставляет удовольствие. Кроме того, не больше чем через неделю мы уедем отсюда. У него и у меня останутся воспоминания — и больше ничего.

Прощай, милая Лидочка. Жаль, что ты не будешь зимой в Петербурге. Во всяком случае не забывай писать мне. Поцелуй от меня твою маленькую сестренку. Твоя навеки Кэт».

22 сентября. «Счастье, призрак ли счастья?.. Не все ли равно?»

Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы.

Да и правда, не все ли равно? Если я был счастлив хоть час, хоть одно только короткое мгновение, зачем отравлять его сомнениями, недоверием, вечными вопросами неудовлетворенного самолюбия?..

Перед вечером Кэт вышла в сад. Я дожидался, и мы пошли вдоль по густой аллее, по той самой аллее, где я впервые увидал мою несравненную Кэт, королеву моего

сердца. Она была задумчива и часто отвечала невпопад на мои вопросы, которые я бестолку предлагал, чтобы только избавиться от неловких, тяготивших и ее и меня молчаливых пауз. Но ее глаза не избегали моих; они смотрели на меня с такой нежностью. Когда мы поравнялись с той скамейкой, я сказал:

— Как мне памятно и дорого это место, mademoiselle Кэт!

Она спросила:

— Почему?

— Здесь я впервые увидел вас. Помните, вы сидели с своей подругой и еще рассмеялись, когда я прошел мимо.

— О да, конечно, помню! — воскликнула Кэт, и ее лицо оварилось улыбкой. — С нашей стороны было совсем нетактично так громко смеяться. Вы, может быть, приняли этот смех по своему адресу?

— Признаться — да.

— Видите, какой вы подозрительный! Это нехорошо! А дело просто-напросто было так: когда вы прошли, я сказала Лиде на ухо одну вещь, — действительно про вас, но я не хочу вам ее повторять, чтобы не испортить вашего самолюбия лишним комплиментом. Лиди остановила меня, потому что боялась, что вы услышите мои слова. Она очень «ртуде»¹ и всегда останавливает мои выходки. Тогда я нарочно, чтобы подразнить ее, сказала голосом моей бывшей гувернантки — очень чопорной старой мисс: «стыдно, shocking, стыдно». Вот и все. И эта буффонада заставила нас громко расхохотаться. Ну что? Вы теперь довольны?

— Совершенно. Но что вы сказали обо мне?

Кэт покачала головой с укоризненным, лукавым видом.

— Вы чересчур любопытны, и я ничего вам не скажу, я и без того слишком добра с вами. Не забывайте, пожалуйста, что вы еще должны быть наказаны за вчерашнее дурное поведение.

Я понял, что она вовсе не думает на меня сердиться, но на всякий случай опустил с виноватым видом голову вниз и сказал с притворным смущением:

— Простите меня, mademoiselle Кэт... Я увлекся и не мог совладать со своим чувством.

¹ Степенная (франц.).

И, видя, что она не перебивает меня, я прибавил еще более тихим, но в то же время страстным тоном:

— Вы так прекрасны, *mademoiselle* Кэт!

Минута была благоприятная. Мне казалось, что Кэт дожидается продолжения моих слов, но внезапная робость овладела мной, и я только спросил, умоляюще заглядывая ей в глаза:

— Ведь вы не совсем рассердились на меня? Скажите... Меня это так мучит.

— Нет, не сержусь,— прошептала Кэт, отворачивая от меня свою голову стыдливым и бессознательно красивым движением.

«Ну, вот, момент готов,— подбодрил я себя внутренне.— Вперед! Вперед! В любви нельзя останавливаться на полдороге! Смелей!»

Но смелость решительно покинула меня, и наше молчание после слов, почти близких к признанию, стало еще тягостнее. Должно быть, потому-то Кэт, дойдя вторично до конца аллеи, и простилась со мной.

Когда она мне протянула свою маленькую, нежную, но решительную ручку, я задержал ее в своей и посмотрел вопросительно в глаза Кэт. Мне показалось, что я читаю в них молчаливое согласие. Я стал опять так же жадно, как тогда на террасе, целовать эту милую ручку. Сначала Кэт сопротивлялась и называла меня непослушным, но потом я вдруг почувствовал на своих волосах глубокое теплое дыхание, и моей щеки быстро коснулись свежие, очаровательные губки. В ту же секунду — я не успел даже выпрямиться — Кэт выскользнула из моих рук, отбежала на несколько шагов и только там, на безопасной дистанции, остановилась.

— Кэт, подождите, ради бога, мне так много нужно вам сказать! — воскликнул я, подходя к ней.

— Стойте на месте и молчите! — приказала Кэт, сдвигая брови и топая нетерпеливо ногой по шуршащим листьям.

Я остановился. Кэт сделала из ладони вокруг своего рта подобие рупора, наклонилась слегка вперед и тихо, но явственно прошептала:

— Завтра, когда только взойдет луна, ждите меня у пристани. Я уйду потихоньку. Мы будем кататься, и вы

мне скажете все, что хотите... Понимаете? Понимаете вы меня?

После этих слов она повернулась и быстрым шагом, ни разу не оглянувшись назад, пошла по направлению к калитке... А я стоял и глядел ей вслед, растерянный, взволнованный и счастливый...

Кэт, дорогая моя Кэт! Если бы твое и мое положение в обществе были одинаковы... Положим, говорят, что любовь выше всяких сословных и иных предрассудков... Но нет, нет! Я останусь твердым и самоотверженным.

О боже мой! Как быстро разлетаются мои бедные, наивные, смешные мечты! Я пишу эти строки, а за стеной капитан, лежа в кровати, играет на гитаре и поет сиплым голосом старинную-старинную песню.

Жалкий человечиска! — говорю я самому себе. — Для того, чтобы ты не набивал себе голову праздным и невыполнимым вздором, сядь и назло самому себе запиши слова:

Юный прапорщик армейский
Стал ухаживать за мной,
Мое сердце встрепенулось
К нему любовью роковой.

•

Моя маменька узнала,
Что от свадьбы я не прочь,
И с улыбкою сказала:
«Слушай, миленькая дочь!

•

Юный прапорщик армейский
Тебя хочет обмануть,
От руки его злодейской
Трудно будет усколизнуть».

•

Юный прапорщик армейский
Проливал потоки слез,
Как-то утром на рассвете
В ближайший городок увез.

•

Там в часовне деревя-янной,
Пред иконою творца,
Поп какой-то полупьяный
Сочетал наши сердца.

А потом в простой телеге
Он домой меня отвез.
Ах! Как это не по моде,
Много пролила я слез.

Нет ни сахара, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена...
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена.

Да, да, стыдись, бедный армейский прапорщик. Рви себя за волосы! Плачь, плачь в тишине ночи! Спасибо, Василий Акинфиевич, за мудрый урок.

24 сентября. И ночь, и любовь, и луна, как поет мадам Рябкова, жена командира второй роты, на наших полковых вечерах... Я никогда даже в самых дерзновенных грезах не смел воображать себе такого упойтельного счастья. Я даже сомневаюсь, не был ли весь сегодняшний вечер сном — милым, волшебным, но обманчивым сном? Я и сам не знаю, откуда взялся в моей душе этот едва заметный, но горький осадок разочарования?..

Я пришел к пристани поздно. Кэт дожидалась меня, сидя на высокой каменной балюстраде, окаймляющей площадку пристани.

— Так что ж, едем? — спросил я.

Кэт еще плотнее укуталась в свою накидку и нервно содрогнулась под ней плечами.

— О нет, слишком холодно... Смотрите, какой туман на воде...

Действительно, темная поверхность озера видна была только на пять шагов. Дальше вставали и двигались неровные, причудливые клочья седого тумана.

— Походимте лучше по саду, — сказала Кэт.

Мы пошли. В этот странный час светлой и туманной осенней ночи запущенный парк казался печальным и таинственным, как заброшенное кладбище. Луна светила бледная. Тени оголенных деревьев лежали на дорожках

черными, изменчивыми силуэтами. Шелест листьев под нашими ногами пугал нас.

Когда мы вышли из-под темного и как будто бы сырого свода акаций, я обнял Кэт за талию и тихо, но настойчиво привлек ее к себе. Но она и не сопротивлялась. Ее тонкий, гибкий теплый стан слегка лишь вздрогнул от прикосновения моей руки, горевшей точно в лихорадке. Еще минута — и ее голова прислонилась к моему плечу, и я услышал нежный аромат ее пушистых, разбившихся волос.

— Кэт... как я счастлив... Как я люблю вас, Кэт... Я обожаю вас...

Мы остановились. Руки Кэт обвились вокруг моей шеи. Мои губы увлажнил и обжег поцелуй, такой долгий, такой страстный, что кровь бросилась мне в голову, и я зашатался... Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо. Ее глаза увеличились, стали громадными и в то же время такими темными и такими глубокими под длинными ресницами, как таинственные пропасти. А ее влажные губы звали все к новым, неутоляющим, мучительным поцелуям.

— Кэт... милая... ты моя?... совсем моя?..

— Да... совсем... совсем...

— Навсегда?

— Да, да, мой милый...

— Мы с тобой никогда не расстанемся, Кэт?..

По ее лицу промелькнуло неудовольствие.

— Зачем ты об этом спрашиваешь? Разве тебе не хорошо со мной?..

— О, Кэт!

— Так зачем же спрашивать о том, что будет? Живи настоящим, мой дорогой.

Время остановилось... Я не мог дать себе отчета, сколько прошло минут или часов с начала нашего свиданья. Кэт опомнилась первая и сказала, выскользнув из моих объятий:

— Поздно... меня могут хватить... Проводи меня домой, Алеша...

Когда мы опять шли по темной аллее из акаций, она прижималась ко мне с зябкой и ласковой кошачьей грацией.

— Мне одной было бы здесь страшно, Алеша...

Какой ты сильный... Обними меня... Еще... крепче, крепче... Возьми меня на руки, Алеша... понеси меня...

Она была легка, как перышко. Держа ее на руках, я почти бегом пробежал аллею, а Кэт все сильнее, все нервней обвивала мою шею, целовала мою щеку и висок и шептала, обдавая мое лицо порывистым горячим дыханием:

— Скорей, еще скорей!.. Ах, как хорошо — как мне хорошо. Алеша! Скорее!..

У калитки мы простились.

— Что вы сейчас будете делать? — спросила Кэт, когда я, поклонившись, целовал попеременно ее руки.

— Я сейчас буду писать свой дневник, — ответил я.

— Дневник?.. — Лицо Кэт выразило удивление — как мне показалось — *неприятное* удивление. — Вы пишете дневник?

— Да, почти ежедневно.

— Вот как!.. И я тоже фигурирую в вашем дневнике?

— Да. Может быть, это вам неприятно?

Она рассмеялась принужденным смехом.

— Это смотря по тому... Конечно, вы когда-нибудь покажете мне ваш дневник?

Я пробовал отнекиваться, но Кэт так настаивала, что в конце концов пришлось согласиться.

— Смотрите ж, — сказала она, прощаясь со мной и грозя мне пальцем, — если я увижу хоть одну пометку — берегитесь!

Когда я пришел домой и стукнул дверью, капитан проснулся и заворчал на меня:

— Где это вы все шляетесь, поручик? На рандевую, небось, ходили? Бэгэрэдство и всякая такая вещь...

Сейчас только я перечитал все глупости, которые я писал в этой тетрадке с самого начала сентября. Нет, нет, Кэт не увидит моего дневника, а то мне придется краснеть за себя каждый раз, как только я о нем вспомню. Завтра предаю этот дневник уничтожению.

25 сентября. Опять ночь, опять луна и опять странная, неизъяснимая для меня смесь очарования любви и мучений ущемленного самолюбия. Не игрушка ли... Чьи-то шаги под окном...

«28 сентября. Ангел мой, Лидочек!

Мой короткий роман близится к мирному окончанию. Завтра мы уезжаем из Ольховатки. Я нарочно не предупредила Лапшина, а то бы он, чего доброго, вздумал бы явиться на вокзал.

Он очень чувствительный молодой человек и вдобавок совершенно не умеет владеть своей мимикой. Я думаю, он был бы способен расплакаться на вокзале.

Роман наш вышел очень простым и в то же время очень оригинальным романом. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись своими постоянными ролями. Я нападала, он защищался. Он требовал от меня клятв в верности чуть ли даже не за гробом. Наконец он мне порядком-таки наскучил. Это — человек не нашего круга, не наших манер и привычек и даже говорит не одним с нами языком. В то же время у него слишком большие требования. Щадя его самолюбие, я ему ни разу даже не намекнула о том, как мог бы его принять папа, если бы он явился пред ним в качестве претендента на мою руку.

Глупый! Он сам не хотел продлить эти томительные наслаждения неудовлетворенной любви. В них есть нечто очаровательное. Задохаться в тесном объятии и медленно сгорать от желания — что может быть лучше этого? Наконец — почему знать? Может быть, есть еще более дерзкие и еще более томительные ласки, о которых я даже и представления не имею. Ах, если бы в нем было хоть немножко той смелости, изобретательности и... и испорченности, которую я раньше с отвращением чувствовала во многих моих петербургских знакомых!

А он, вместо того чтоб становиться с каждым днем смелее и смелее, ныл, вздыхал, говорил с горечью о неравенстве наших положений (как будто бы я согласилась когда-нибудь стать его женой!), намекал чуть ли не на самоубийство. Повторяю тебе, это стало невыносимо. Только одно, одно наше свидание осталось у меня в памяти, — это когда он носил меня на руках по саду и по крайней мере молчал. Ах, да, милая Лидочка, между прочим, он проболтался мне, что пишет дневник. Это меня испугало. Бог знает, куда мог бы потом попасть этот

дневник. Я потребовала, чтобы он дал мне его. Он обещал, но обещания своего не исполнил. Тогда (несколько дней тому назад), после долгой ночной прогулки и уже попрощавшись с Лапшиным, я подкралась к его окну. Я застигла его на месте преступления. Он писал, и, когда я его окликнула, он страшно перепугался. Первым движением его было — закрыть бумагу, но, ты понимаешь, я велела ему отдать мне все написанное. Ну, моя дорогая! Это так смешно и так трогательно, и так много жалких слов!.. Я сохраню этот дневник для тебя.

Не упрекай меня. Я не боюсь за него — он не застрелится, и я не боюсь также и за себя — он будет торжественно молчалив во всю свою жизнь. Но, признаюсь, мне отчего-то неопределенно тоскливо.. Впрочем, все это пройдет в Петербурге, как впечатление дурного сна.

Обнимаю тебя, моя возлюбленная сестра. Пиши мне в Петербург. Твоя К.»

ДЕТСКИЙ САД

Илья Самойлович Бурмин служил старшим писцом в сиротском суде. Когда он овдовел, ему было около пятидесяти лет, а его дочке — семь. Сашенька была девочкой некрасивой, худенькой и малокровной; она плохо росла и так мало ела, что за обедом каждый раз приходилось ее стращать волком, трубочистом и городовым. Среди шума и кипучего движения большого города она напоминала те чахлые травинки, которые вырастают — бог весть каким образом — в расщелинах старых каменных построек.

Однажды она заболела. Вся ее болезнь заключалась в том, что она по целым дням безмолвно сидела в темном уголку, равнодушная ко всему на свете, тихая и печальная. Когда Бурмин ее спрашивал: «Что с тобой, Сашенька?» — она отвечала жалобным голосом: «Ничего, папа, мне просто скучно...»

Наконец Бурмин решился позвать доктора, жившего напротив. Доктор спустился в подвал, где Бурмин занимал правый задний угол, и долго искал места для своей енотовой шубы. Но так как все места были сыры и грязны, то он остался в шубе. Кругом его, но на почтительном расстоянии, столпились бабы — обитательницы того же подвала — и, подперши подбородки ладонями, глядели на доктора жалостными глазами и вздыхали, слыша слова «апатия», «анемия» и «рахитическое сложение».

— Ей нужно хорошее питание, — сказал строгим тоном доктор, — крепкий бульон, старый портвейн, свежие яйца и фрукты.

— Да, да... так, так, так,— твердил Илья Самойлович, привыкший еще у себя в сиротском суде к подобострастному согласию со всяким начальством.

В то же время он сокрушенно глядел вверх на зеленые стекла окна и на пыльные герани, медленно умиравшие в промозглой атмосфере подвала.

— Всего важнее свежий воздух... Я бы особенно рекомендовал вашей дочери южный берег Крыма и морские купанья...

— Да, да, да... Так, так...

— И виноградное лечение...

— Так-с, так-с... Виноградное...

— А главное, повторяю, свежий воздух и зелень, зелень, зелень... Затем, извините... Чрезвычайно занят... Что это? Нет, нет... не беру, с бедных не беру... Всегда бесплатно... Бедных всегда бесплатно... До свидания-с.

Если бы у Ильи Самойловича потребовали для благополучия его дочери отдать на отсечение руку (но только левую, правой он должен был писать), он ни на секунду не задумался бы. Но старый портвейн и — 18 рублей и 33¹/₃ коп. жалованья...

Девочка хирела.

— Ну, скажи мне, Сашурочка, скажи, моя кисинька, чего бы ты хотела? — спрашивал Илья Самойлович, с тоской глядя в большие серьезные глаза дочери.

— Ничего, папа...

— Хочешь куклу, деточка? Большую куклу, которая закрывает глаза?

— Нет, папа. Ску-учно.

— Хочешь конфетку с картинкой? Яблочко? Башмачки желтые?

— Скучно!

Но однажды у нее явилось маленькое желание. Это случилось весной, когда пыльные герани ожили за своим зеленым стеклом, покрытым радужными разводами.

— Папа... в сад хочу... Возьми в сад... Там... листики зелененькие... травка... как у крестной в садике. Поедем к крестной, папочка...

Она только раз и была в саду, года два тому назад, когда провела два дня на даче у крестной матери, жены писмоводителя мирового судьи... Она, конечно, не могла помнить, как сенсационно швыряла «писмоводителька»

чуть ли не в лицо своим кумовьям стаканами со спитым чаем и как умышленно громко, тоном сценического *à part*¹, ворчала она за перегородкой о всякой шушере, перекатной голи, которая и т. д.

— Хочу к крестной в сад, папочка...

— Хорошо, хорошо, деточка, не плачь, кнсюринька моя, вот будет хорошая погодка, и в садик тогда пойдешь...

Наступила, наконец, хорошая погодка, и Бурмин отправился с дочкой в общественный сад. Сашенька точно ожила. Она, конечно, не посмела принять участия в делах из песка котлет и вкусных пирожных, но глядела на других детей с нескрываемым удовольствием. Сидя неподвижно на высокой садовой скамеечке, она казалась такой бледной и болезненной среди этих краснощеких, мясистых детей, что одна строгая и полная дама, проходя мимо нее, произнесла, обращаясь, повидимому, к старой, тенистой липе:

— Удивляюсь, чего это полиция смотрит?.. Пускают в сад больных детей... Какое безобразие! Еще других перезаразят...

Замечание строгой дамы не удержало бы, без сомнения, Илью Самойловича от удовольствия видеть лишний раз радость дочери, но, к сожалению, городской сад находился очень далеко от Разбойной улицы. Девочка не могла пройти пешком и ста саженьей, а конка туда и обратно обходилась обоим сорок четыре копейки, то есть гораздо более половины дневного жалованья Ильи Самойловича. Приходилось ездить только по воскресеньям.

А девочка все хирела. Из ума Бурмина между тем не выходили слова енотового доктора о воздухе и зелени.

«Ах, если бы нам воздуху, воздуху, воздуху!» — сотни и тысячи раз твердил про себя Илья Самойлович.

Эта мысль обратилась у него чуть ли не в пункт помешательства. Почти напротив его подвала простирался огромный пустырь городской земли, где попеременно то в пыли, то в грязи купались обывательские свиньи. Мимо этого пустыря Илья Самойлович никогда не мог пройти без глубокого вздоха.

¹ В сторону, про себя (франц.).

— Ну, что стоит здесь развести хоть самый маленький скверик? — шептал он, покачивая головой. — Детишкам-то, детишкам-то как хорошо будет, господа!

С планом превращения этого пустыря он как истый фанатик идеи носился всюду. Его на службе даже прозвали «пустырем». Однажды кто-то посоветовал Илье Самойловичу:

— А вы бы написали проектец и подали бы в городскую думу...

— Ну? — обрадовался и испугался Илья Самойлович. — В думу, вы говорите?

— В думу. Самое простое дело. Так и так, мол, состоя в звании обывателя... в виду общей пользы, украшения, так сказать, города... ну, и все такое.

Проект был написан через месяц, проект безграмотный, бессвязный и наивный до трогательности. Но если бы каждый штрих его каллиграфических букв сумел вдруг заговорить с той страстной надеждой, с какой его выводила на министерской бумаге рука Ильи Самойловича, тогда без сомнения и городской голова, и управа, и гласные побросали бы все текущие дела, чтобы немедленно осуществить этот необычайно важный проект.

Секретарь велел прийти через месяц, потом через неделю, потом опять через неделю. Наконец он ткнул бумагой чуть ли не в самый нос Бурмина и закричал:

— Ну, чего вы лезете? Чего? Чего? Чего? Это дело не ваше, а городского самоуправления!

Илья Самойлович поник головой. «Самоуправления, — скорбно шептали его губы. — Да, вот оно, штука-то, самоуправления!»

Потом секретарь вдруг спросил строгим тоном, где служит Илья Самойлович. Бурмин испугался и стал просить извинения. Секретарь извинил, и Бурмин, скомкав бумагу, поспешно выбежал из думы.

Но неудача не убила его деятельности пропагандиста. Только теперь в его уме к образу Сашеньки, продолжавшей хиреть без солнца и воздуха, присоединились бледные личики многих сотен других детей, задыхавшихся, подобно его дочери, в подвалах и на чердаках. Поэтому он настойчиво являлся со своим проектом и в полицию, и в военное ведомство, и к мировым судьям, и к частным благотворителям. Конечно, отовсюду его прогоняли.

Один из его сослуживцев, копиист Цытронов, считался очень светским человеком, потому что посещал трактир «Юг» и читал единственную городскую газету — «Непогрешимый». Он как-то, не то шутя, не то серьезно, сказал Илье Самойловичу:

— Вот если бы про этот пустырь продернуть в фельетоне, тогда было бы дело другого рода... Вы не читали никогда фельетонов «Скорпиона»?.. Какое перо! Так прямо и катает: у Николай Николаича, мол, гордая походка и левое плечо выше правого. Ядовитый господин!

Скрепя сердце переступил Илья Самойлович порог редакции (в думу он шел гораздо смелее). В большой комнате, пахнувшей резиной и типографской краской, сидело за столом пять косматых мужчин. Все они выстригали из огромных куч газет какие-то четырехугольные кусочки и зачем-то наклеивали их на бумагу.

Как ни добивался Илья Самойлович, чтобы ему показали «Скорпиона», он не успел в этом.

— Скажите сначала, зачем вам его надо? — говорили ему косматые мужчины. — Разве вы не знаете, что псевдоним сотрудника есть редакционная тайна?

Однако, когда Илья Самойлович рассказал им свой заветный проект, косматые мужчины сделали откровенны и обещали Бурмину свое покровительство.

А Сашенька уже не вставала с кровати и лежала в ней бледная, вытянувшаяся, с носиком, заострившимся, как у мертвеца.

— Хочу в садик, папочка, в садик, скучно мне, папа, — твердила она тоскливым голосом.

Может быть, ее больной организм инстинктивно жаждал чистого воздуха, подобно тому как рахитические дети бессознательно едят мел и известь?

Бурмин старался согреть поцелуями ее худенькие, холодные руки и говорил ей неожиданные трогательные слова, которые становятся такими смешными в чужой передаче.

Весной, когда иссохшие герани потянулись опять к солнцу, Сашенька умерла. Подвальные бабы обмыли ее и обрядили и положили сначала на стол, а потом в гроб. Илья Самойлович точно окаменел. Он не плакал, не произносил ни слова и не отводил глаз от маленького бледного личика.

Только в день похорон, когда убогая процессия проходила мимо пустыря, он немного оживился. На пустыре копошились с лопатами десятка два рабочих.

— Что же это такое? — спросил Илья Самойлович Яковлевну, свою соседку по подвалу, торговавшую на базаре селедками.

— Чи я знаю? — ответила Яковлевна сквозь обильные слезы. — Кажут люды, що якийсь садок тут поставлять. Дума... чи як ей?..

Тогда Илья Самойлович вдруг прерывисто вздохнул, перекрестился, и громкие облегчающие рыдания неудержимо вырвались из его груди.

— Ну, вот и слава богу, и слава богу, — сказал он, обнимая Яковлевну. — Теперь и у наших деточек свой садик будет. А то разве нам можно на конках ездить, Яковлевна? Ведь это не шутка — сорок четыре копейки туда и обратно.

ALLEZ!¹

Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием m-lle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и, всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.

— Allez!..

В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорежавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапещий там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем как места за ложами и галлерей совсем утонули во мраке.

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными

¹ Вперед, марш! (франц.)

в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из подмышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше.

Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов — все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно шелкает им...

— Allez!..

А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции у ног девочки висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина, в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напوماженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и... хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. Опушенные безжалостные руки поднимаются опять, взгляд акробата становится еще напряженнее... Пространство внизу, под ногами, кажется бездной.

— Allez!..

Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху «живой пирамиды» из шестерых людей. Она скользит,

извиваясь гибким, как у змей, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в «икарийских играх». Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги... И везде те же глупо красивые лица, напояженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:

— Allez!..

Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. «Публика волнуется и начинает расходиться,— говорили вокруг нее,— идите и покажите публику!..» Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку «грациозной наездницы», но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа, к публике.

— Allez!..

В этот сезон в цирке «работал» в качестве гастролера клоун Менотти,— не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не взирая со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками,— а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и т. д. и т. д. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров «разбитым» и с приподнятой горечью говорил про себя: «Да! Мы — шуты, мы должны смешить *сытую* публику!» На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты,

или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что в общем производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показала в цирк на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь.

Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался.

Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, войдя наверх, Нора на минуту остановилась — частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:

— Allez!..

И она пошла... Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.

В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла бриллианты и медали Менотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольд-крем и — что всего важнее — верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил о чем с ней говорить и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.

Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших «воз-

душные полеты». Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконец, однажды ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:

— *Allez!*..

Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: «К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с».

Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

Малиновые с золотом обои, яркий свет двух канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Менотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры — все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка...

Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней. Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:

— Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!

Она встала, задыхаясь, и зашептала:

— А-а! В таком случае... в таком случае...

Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы.

Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.

Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса... Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:

— Allez!..

БРЕГЕТ

Я необыкновенно живо помню этот длинный декабрьский вечер. Я сидел у круглого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый истрепанный том «Северной пчелы», тот самый милый мне по воспоминаниям том, который я непременно каждый раз заставлял и терпеливо прочитывал с начала до конца, приезжая на рождественские каникулы в Ружичную. Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Его лицо оставалось в тени; только страшные белые усищи и трубка между ними попали в светлый круг и рисовались чрезвычайно отчетливо. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Всегда есть что-то ужасное, какая-то утрюмая и злобная угроза в этих звуках, начинающихся глухим рыданием, восходящих по хроматической гамме до пронзительного визга и опять спускающихся вниз. А деревья в это время качаются и гудят своими вершинами, ветер свистит и плачет в трубах, и при каждом новом порыве бури кажется, будто кто-то бросает в ставни горсти мелкого сухого снега. И когда я прислушивался к этому дьявольскому концерту, моя мысль невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помещицком доме, затерянном среди унылых снежных равнин, сижу глаз на глаз с дряхлым, больным стариком, далеко от города, от привычного общества, и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж

больше не окончится это завывание вьюги, и эта длительная тоска, и однозвучный ход маятника...

— Ты говоришь — случайности,— произнес вдруг Василий Филиппович, грузно повертываясь в своем кресле и заслоняясь рукой от света,— а ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет да удерет такую штуку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?..

Я сначала не понял, к чему относилось это восклицание, но потом вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла, и спросил:

— Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?

— Да так себе... сижу я вот теперь... тихо кругом... на дворе погода... ну и того, знаешь, разная старина в голову лезет. Припомнился мне один случай, вот я и сказал...

Дядя замолчал и долго с томительным кряхтением укутывал больные ноги. Потом он начал:

— Собрались мы раз у ротмистра фон Ашенберга на именины. Было дело зимой. А мы, надо тебе сказать, то есть наш N-ский гусарский полк, только что воротился тогда из венгерской кампании, и начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам. Глушь и тоска — просто невероятные. Ездили мы, правда, по окрестным полям,— ну, да посуди сам, что ж тут веселого? Оставалось нам только одно — беспросветное пьянство и карты, карты и пьянство. Так мы и положили себе за правило, что

...кто в день два раза не пьян,
Тот, извините, не улан...

Ну, так вот, собрались мы. Во-первых, штаб-ротмистр Иванов 1-й.. Теперь в полках старики плачутся, что измелечал народ и что молодежь никуда не годится. Также и штаб-ротмистр Иванов 1-й на нас плакался. А надо тебе сказать, что по летам он был самый старший офицер в полку, и все знали (и весь полк этим гордился), что он в свое время с самим Денисом был на ты, а с Бурцовым пил и дебоширил целых шесть месяцев подряд. Затем был майор Кожин,— этот славился по всей легкой кавалерии своим изумительным голосом. Чорт знает, что за голос был! Иной раз во время хорошей выпивки возьмет стакан, приставит ко рту, да как гаркнет! Ну, вот ты смеешься, а у него, честное слово, одни осколки оставались в руках. Были два поручика — Резников и Белаго; мы их звали

«инсепараблями», или мужем и женой, потому что они никогда не расставались и всегда жили на одной квартире. Был еще казачий есаул Сиротко, или иначе — «ежова голова», — потому что он ко всякому слову прибавлял «ежова голова». Потом был корнет граф Ольховский — так себе, телятина, однако ничего... добрый малый, хотя и наивный и глуповатый; его к нам только что из юнкеров произвели... Был также в этой компании поручик Чекмарев, наш общий любимец и баловень. Про него даже штаб-ротмистр Иванов 1-й говорил иногда в добрую минуту: «Вот этот мальчишка... еще куда ни шло, у него кишки в голове гусарские... Этот не выдаст...» Веселый, щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник — словом, чудесный малый. И что к нему особенно привлекало наши грубоватые сердца, — так это какая-то удивительная нежность, почти женственность в улыбке и обращении. Кроме того, надо тебе сказать, что он был очень богат и его кошелек всегда был в общем распоряжении.

Собрались мы все люди холостые (у нас в полку женатых всего только двое было) и выпили страшно много. Пили за здоровье хозяина, пили круговую, пили «аршинную» — выстраивали рюмки в длину на аршин и пили, позвали песенников и с песенниками пили, вызвали оркестр полковой — под оркестр пили... Есаул Сиротко — ежова голова — к каждой рюмке говорил присловье: два сапога — пара, без троицы дом не строится, без четырех углов дом не становится, — и так чуть ли не до пятидесяти, и большая часть из них были совсем неприличные.

В это время кто-то, кажется один из «инсепараблей», вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в дьябелок, иначе ландскнехт. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. Ольховский нам эти часы сейчас же и показал. Действительно, хорошие часы: с резьбой, с украшениями, и когда сверху надавить пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Старинные часы.

Ольховский немного заважничал.

— Это, говорит, очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров.

Чекмарев на это улыбнулся.

— Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете.

Ольховский недоверчиво покачал головой:

— Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь...

— Как вам угодно. Хотите пари?

— С удовольствием... Когда же вы их достанете?

Но это пари показалось обществу неинтересным. Есаул Сиротко взял Ольховского за ворот и оттащил в сторону со словами:

— Ну, вот, ежовы головы, затеяли ерунду какую-то. Пить так пить, а не пить, так уж лучше в карты играть...

Попойка продолжалась. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом:

— Драбанты — к чорту! (Драбантами у нас назывались денщики.) Двери на запор! Чикчиры долой! Жженка идет!..

Прислуга была тотчас же выслана, двери заперты, и огонь потушен. Утвердили сахарную голову над тремя скрещенными саблями, под которыми поместили большой котел. Ром вспыхнул синим огоньком, и штаб-ротмистр Иванов 1-й затынул фальшивым баритоном:

Где гусары прежних лет?

Где гусары удалые?

Мы подтягивали ему нестройным хором. Когда же он дошел до слов:

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вокруг огня
С красно-сизыми носа-а-ами,—

голос его задрожал и зафальшивил больше прежнего.

Жженка еще не сварилась, как вдруг есаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул:

— Братцы мои! Ежовы головы! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, ребята.

— Сиди, сиди, врешь все,— сказал штаб-ротмистр Иванов 1-й.

— Ей-богу же, голубчик, нужно... Пустите, ежовы головы. К восьми часам надо быть непременно, я ведь все

равно скоро вернусь. Ольховский, сколько часов теперь? Позвони-ка!

Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном:

— Вот так штука!..

— Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг.

— Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик.

— А ну-ка, посветите, господа.

Зажгли огонь, принялись искать часы, но их не находилось. Всем нам почему-то сделалось неловко, и мы избегали глядеть друг на друга.

— Когда вы у себя их последний раз помните? — спросил фон Ашенберг.

— Да вот как только дверь заперли... вот сию минуту. Я еще снимал мундир и думаю; положу их около себя, в темноте по крайней мере можно будет час узнать...

Все замолчали и потупились. Иванов 1-й внезапно ударил кулаком по столу с такой силой, что стоявшие на нем рюмки зазвенели и попадали.

— Чорт возьми! — закричал он хрипло. — Давайте же искать эти поганые часы. Ну, живо, ребята, лезь под стол, под лавки. Чтобы были!..

Мы искали около четверти часа и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно: «Ах, господа, да чорт с ними... да ну их к бесу, эти часы, господа...» Но Иванов 1-й прикрикнул на него, страшно выкатывая глаза:

— Дурак! Наплевать нам на твои часы. Понимаешь ли ты, что *при-слу-ги* здесь не бы-ло.

Наконец мы сбились с ног в поисках за этими проклятыми часами и сели вокруг стола в томительном молчании. Кожин тоскливо обвел нас глазами и спросил еле слышно:

— Что же теперь делать, господа?

— Ну, уж это ваше дело, что делать, майор, — сурово возразил Иванов 1-й. — Вы между нами старший... А только часы должны непременно найтись.

Было решено, что каждый из нас позволит себя обыскать. Первым подошел есаул Сиротко, за ним штаб-ротмистр Иванов 1-й. Лицо старого гусара побагровело, и шрам от сабельного удара, шедший через всю его седую голову и через лоб до переносицы, казался широкой белой

полосой. Дрожащими руками он выворачивал карманы с такой силой, точно хотел их совсем выбросить из чикчир, и бормотал, кусая усы:

— Срам! Мерзость! В первый раз Н-цы друг друга обыскивают... Позор! Стыдно моим сединам, стыдно...

Таким образом, мы все поочередно были обысканы. Остался один только Чекмарев.

— Ну, Федюшка, подходи... что же ты? — подтолкнул его с суровой и грустной лаской Иванов 1-й.

Но он стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с места.

— Ну, иди же, Чекмарев,— ободрял его майор Кожин.— Видишь, все подходили...

Чекмарев медленно покачал головой. Я никогда не забуду кривой, страшной улыбки, исказившей его губы, когда он с трудом выговорил:

— Я... себя... не позволю... обыскивать...

Штаб-ротмистр Иванов 1-й вспыхнул:

— Как, чорт возьми? Пять старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет? У меня вся морда, видишь, как исполосована, и зубы выбиты прикладом, и, однако, меня обыскивали... Что же ты, лучше нас всех? Или у тебя понятия о чести шепетильнее, чем у нас? Сейчас подходи, Федька, слышишь?

Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой.

— Не пойду,— прошептал он.

Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряженной улыбке.

Иванов 1-й вдруг переменял тон и заговорил таким ласковым тоном, какого никто не мог ожидать от этого старого пьяницы и грубого солдата:

— Федюша, голубчик мой, брось глупости... Ты знаешь, я тебя, как сына, люблю... Ну, брось, милый, прошу тебя... Может быть, ты как-нибудь... ну, знаешь, того... из-за этого дурацкого пари... понимаешь, пошутил... а? Ну, пошутил, Федюша, ну, и кончено, ну, прошу тебя...

Вся кровь бросилась в лицо Чекмареву и сейчас же отхлынула назад. Губы его задергались. Он молча с прежней страдальческой улыбкой покачал головой... Стало ужасно тихо, и только сердитое сопенье майора Кожина оглушительно раздавалось в этой тишине.

Иванов 1-й глубоко, во всю грудь, вздохнул, повернулся боком к Чекмареву и, не глядя на него, сказал глухо:

— В таком случае знаете, поручик... мы хотя и не сомневаемся в вашей честности... но, знаете... (он быстро взглянул на Чекмарева и тотчас же опять отвернулся), знаете, вам как-то неловко оставаться между нами...

Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол. Но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, медленно прошел к двери. Мы безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу.

О продолжении попойки нечего было и думать, и фон Ашенберг даже и не пробовал уговаривать. Он позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все мы — совершенно отрезвленные и грустные — сидели молча, точно еще ожидали чего-то.

Вдруг Байденко, денщик хозяина, воскликнул:

— Ваш выс-кродь! Тутечка якись часы!

Мы бросились к нему. Действительно, на полу, под котелком, предназначенным для жженки, лежал брегет Ольховского.

— Чорт его знает,— бормотал смущенный граф,— должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул.

Прислуга была вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела. Молодежь подавала сочувствующие голоса за Чекмарева, но старики смотрели на дело иначе.

— Нет, господа, он оскорбил нас всех и вместе с нами весь полк,— сказал своим густым решительным басом майор Кожин.— Почему мы позволили себя обыскать, а он — нет? Оскорби одного офицера — это решилось бы очень просто: пятнадцать шагов, пистолеты, и дело с концом. А тут совсем другое дело. Нет-с, он должен оставить N-ский полк, и оставит его.

Фон Ашенберг, Иванов 1-й и есаул подтвердили это мнение, хотя видно было, что им жаль Чекмарева. Мы стали расходиться. Медленно, безмолвно, точно возвращаясь с похорон, вышли мы на крыльцо и остановились, чтобы проститься друг с другом.

Какой-то человек быстро бежал по дороге, по направлению к дому фон Ашенберга. Иванов 1-й раньше всех

нас узнал в нем денщика поручика Чекмарева. Солдат был без шапки и казался страшно перепуганным. Еще на ходу он закричал, еле переводя дух:

— Ваш-скородь... несчастье!.. Поручик Чекмарев застрелился!..

Мы кинулись на квартиру Чекмарева. Двери были не заперты. Чекмарев лежал на полу, боком. Весь пол был залит кровью, дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах... Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавшее уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилась на его губах все та же мучительная, кривая улыбка.

— Посмотрите, нет ли записки,— сказал кто-то.

Записка действительно нашлась. Она лежала на письменном столе, придавленная сверху... чем бы ты думал?.. золотыми часами, брегетом,— и что всего ужаснее — брегет был, как две капли воды, похож на брегет графа Ольховского.

Записку эту я помню наизусть. Вот ее содержание:

«Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь богом, клянусь страданиями господина Иисуса Христа, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же брегет, как у корнета графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае если часы Ольховского найдутся и моя невинность будет, таким образом, доказана, прошу штаб-ротмистра Иванова 1-го все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой брегет».

И затем подпись.

Дядя Василий Филиппович совсем ушел в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под ее прикрытием и, наконец, сказал:

— Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик...

ПУТАНИЦА

— Мне кажется, никто так оригинально не встречал рождества, как один из моих пациентов в тысяча восемьсот девяносто шестом году,— сказал Бутынский, довольно известный в городе врач психиатр.— Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо.

С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки исписанной бумаги различного формата. Каждая связка была заномерована и обозначена какой-нибудь фамилией.

— Все это — литература моих несчастных больных,— сказал Бутынский, роясь в ящике.— Целая коллекция составлена мною самым тщательным образом в течение последних десяти лет. Когда-нибудь, в другой раз, мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного... А теперь... вот, не угодно ли вам прочесть эту бумажку?

Я взял из рук доктора небольшую тетрадку, в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел (оставляю рукопись целиком, с любезного разрешения доктора):

«Его Высокородию
г-ну доктору Бутынскому,
консультанту при психиатрическом отделении N-ской
больницы.

Содержащегося в помянутом отделении дворянина
Ивана Ефимовича Пчеловодова

П р о ш е н и е

Милостивый государь!

Находясь уже более двух лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно, и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы и в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к нижеследующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше человеческое обращение с больными заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство.

Убедительно прошу вас — дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на невязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме два года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но, право, теперь сомневаюсь при употреблении самых детских правил синтаксиса.

Прошу же я вашего *особого* внимания потому, что мне хорошо известно, что все психически больные склонны считать себя посаженными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и товарищам по несчастью. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся врачи к их многочисленным заявлениям и просьбам. Я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить.

Это случилось 24 декабря 1896 года. Я служил тогда старшим техником на сталелитейном заводе «Наследники Карла Вудта и К°», но в середине декабря сильно поспорил с директором из-за безобразной системы штрафов, которой он опутал рабочих, вспылал в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу.

Делать мне больше на заводе было нечего, и вот в конце рождества я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе N., в кругу близких родственников.

Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело по три человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в N., на Нижней улице, есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию; я теперь не могу ее припомнить с точностью, но — что-то вроде Сердюк... Средняк... Сердолик... одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С. Р. Д. и К. Я так подробно останавливаюсь на его фамилии потому, что, если бы вы отыскиали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ. Он среднего роста, плотен, с розовым, довольно миловидным пухлым лицом, блондин, усы маленькие, тщательно закрученные вверх, бороду бреет.

Спать мы не могли и, чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы полушутя, полусерьезно стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть три или четыре часа. Вдруг академик сказал:

— Господа! Есть великолепное средство. Только не знаю, согласитесь ли вы. Пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего. Тогда другой должен остаться при нем, а третий пойдет к обер-кондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника, что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг

начал приходить в нервное состояние, и что, ввиду безопасности прочих пассажиров, его не мешало бы заблаговременно изолировать.

Мы согласились, что план академика прост и верен. Но никто из нас не высказывал первым желания сыграть роль сумасшедшего. Тогда купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания:

— Бросим жребий, господа!

Изю всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным; но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и... конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца.

Комедия с обер-кондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе.

Иногда, во время больших остановок, мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие:

— Хорошо-с... Ну, а это купе?.. Потрудитесь его отворить!

Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни:

— Извините, в этом купе вам будет неудобно... здесь везут больного... сумасшедшего... он не совсем спокоен...

Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги. План наш оказался верным, и мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, беспокойно, точно у меня во сне было предчувствие беды. Душили меня какие-то тяжкие кошмары, и помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика.

Я проснулся окончательно в десять часов утра. Моих компаньонов не было (они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром). Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел на меня. Я привел свою одежду в порядок, застегнулся, вынул из сака полотенце и хотел идти в уборную умываться. Но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Вzbешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу, но не мог даже пошевелиться. Руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками.

— Чего вы от меня хотите? — закричал я, задыхаясь под тяжестью его тела.— Убирайтесь!.. Оставьте меня!..

В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело с сумасшедшим. Дитина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтением:

— погоди, голубчик, вот посадят тебя на цепуру, тогда и узнаешь, чего от тебя хотят... Узнаешь тогда, брат... узнаешь.

Я начал догадываться об ужасной истине и, дав время моему мучителю успокоиться, сказал:

— Хорошо, я обещаюсь не трогаться с места. Пустите меня. «Конечно,— думал я,— с этим болваном напрасны всякие объяснения. Будем терпеливы, и вся эта история без сомнения разъяснится».

Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно покойно, он стал понемногу разжимать руки и, наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся на диван напротив. Но глаза его не переставали следить за мною с напряженной зоркостью кошки, стерегушей мышь, и на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка.

Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил:

— Здесь больной?

Другой голос ответил скороговоркой:

— Точно так, господин начальник.

Вслед за тем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом.

Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем:

— Господин начальник станции, ради бога!..

Но в то же мгновение голова проворно спряталась, гроыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника.

Наконец мы доехали до N. Только минут через десять после остановки за мною пришли... трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник моего пальто.

Таким образом меня извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с

великолепными подусниками и с безмятежными голубыми глазами в тон околышку фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему:

— Господин офицер, умоляю вас, выслушайте меня...

Он сделал знак артельщикам остановиться, подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном:

— Чем могу служить?

Видно было, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится настороже. Я понял, что все мое спасение в спокойном тоне, и я, насколько мог связно, неторопливо и уверенно рассказал офицеру все, что со мной произошло.

Поверил он мне или нет? Порою его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу, временами же он как будто сомневался и только кивал головой с тем хорошо мне знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей или сумасшедших.

Когда я кончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко:

— Видите ли... я, конечно, не сомневаюсь... но, право, мы получили такие телеграммы... И потом... ваши товарищи... О, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы но... знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с доктором каких-нибудь десять минут. Без сомнения он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии, и отпустит вас; согласитесь, что я ведь в конце концов вовсе не компетентен в этом деле.

Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования и делать попыток к бегству.

Мы приехали в больницу как раз к часу визитаций. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек двадцати студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий, пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек сразу возненавидел меня.

— Только, пожалуйста, не волнуйтесь,— сказал доктор, не спуская с меня своих тяжелых глаз.— Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Враги остались там... в другом городе... Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые, славные люди, многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?

Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему, но во-время сдержался: я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал.

Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию, сколько мне лет, чем занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отвечал коротко и точно.

— А давно ли вы себя чувствуете больным? — обратился ко мне внезапно доктор.

Я отвечал, что я больным себя совсем не чувствую и что вообще отличаюсь прекрасным здоровьем.

— Ну да, конечно... Я не говорю о какой-нибудь серьезной болезни, но... скажите, давно ли вы страдаете головной болью, бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций? Головокружения? Не испытываете ли вы иногда произвольных сокращений мышц?

— Наоборот, господин доктор, я сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал беспокойно,— это в прошлую ночь.

— Это мы уже знаем,— сказал спокойно доктор.— Теперь не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Криворечье, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе?

Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандармскому офицеру. Но рассказ мой не был так связан и так уверен, как раньше,— меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Да, кроме того, и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, волновала меня.

В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес:

— Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателю такая тема — публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью.

Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю,— сказал главный врач с притворной ласковостью.

Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня вопросом:

— А скажите, какой у нас сегодня месяц?

— Декабрь,— не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом.

— А раньше какой был?

— Ноябрь...

— А раньше?

Я должен сказать, что эти месяцы на «брь» всегда были для меня камнем преткновения, и для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с разбега от августа. Поэтому я несколько замялся.

— Ну-да... порядок месяцев вы не особенно хорошо помните,— заметил небрежно, точно вскользь, главный врач, обращаясь больше не ко мне, а к студентам.— Некоторая путаница во времени... Это ничего. Это бывает... Ну-с... дальше-с. Я слушаю-с.

Конечно, я был неправ, сто раз неправ, и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло:

— Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!

Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача.

Он сделал едва заметное движение глазами. В эту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне

себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали...

— Это явление называется *garpuz*, — неожиданный, бурный порыв! — услышал я сзади себя размеренный голос главного врача в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной.

.

Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод — что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем (который, как вам известно — прусский шпион), ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги протерли свою жестокость до того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди.

Также и о крысах. Эти животные, повидимому, одарены...».

— Что же это такое, доктор! Мистификация? Бред безумного? — спросил я, возвращая Бутынскому рукопись. — Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?

На лице Бутынского мелькнула горькая усмешка

— Увы! Здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка, — сказал он, пряча листки в стол. — Я отыскал этого купца, — его фамилия Свириденко, — и он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше: высадившись на станции, они вместе с художником выпили так много чаю с ромом, что решили продолжать шутку и вслед поезду послали телеграмму такого содержания: «Не успели сесть в поезд, остались в Криворечье, присмотрите за больным». Конечно, идиотская шутка! Но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода «Наследники Карла Вудта и К°». Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненор-

мальностей у Пчеловодова, он так-таки напрямик и ответил, что давно уже считал старшего техника Пчеловодова сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести.

— Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все это известно? — заволновался я. — Выпустите его, хлопчите, настаивайте!..

Бутынский пожал плечами.

— Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм.

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я с своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придавал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту

эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью,— поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разбуряемые морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и открыли ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувство-

вали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу на грязной широкой постели лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха,— женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал,— сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать».

— Ну, а ты?

— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Матушка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к чорту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душевной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мер-

палов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустил ся на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова

нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть,— думал он,— и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная,— заговорил вдруг незнакомец.— Морозно... тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил,— продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков).— Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в

настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома поды-
хают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной
ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных,
озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он
ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное
лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьез-
ным тоном:

— Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по
порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы при-
думаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца была что-то до
того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тот-
час же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и
спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей бо-
лезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих
несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слу-
шал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее
и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая про-
никнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной
души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением
вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мер-
цалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку
Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встре-
тились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться,
но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили
в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом
со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные,
замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя
на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца
и неподвижностью матери, они плакали, размазывая
слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их
в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул
с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поно-
шенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она
даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор,
ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! По-
кажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое

и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал из всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменялось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мною идет Кирила, сотский из Зульни, впереди — полесовщик Талимон. Оба они шагают редко, но размашисто: под их ногами, обутыми в лыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка. Время от времени Талимон сходит с тропинки, нагибается и шарит руками в буреломе. Он разыскивает лучину, которую еще утром нащипал для костра, и никак не может найти ее. Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику, особенно перед своим всегдашним соперником — сотским, не хочется, и я слышу, как он, не выпуская изо рта короткой трубки, ворчит что-то про «злодиев» и «бисовых сынов».

Сегодня мы разложим в лесу костер и около него вздремнем часа три-четыре, до той поры, когда начнет чуть-чуть брезжить рассвет. К заре мы уже должны быть в «будках», чтобы не прозевать первого тетеревиного тока.

Сотский Кирила и Талимон — мои всегдашние спутники по охоте. Кирила — высокий, костлявый и весь какой-то развинченный мужик. У него худое желтое лицо, впалые щеки, плохо выбритый острый подбородок и огромный лоб, по обе стороны которого падают прямые, длинные волосы: в общем его голова напоминает голову опереточного математика или астронома. На нем надет поверх кожуха войлочный «латун», уже старенький, но чистый

и франтоватый, — правая сторона у латуна коричневая, а левая — серая, и все швы оторочены красным шнурком. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирила надевает набекрень так, что она закрывает ему один глаз, и тогда вся деревня знает, что «сотник иде на пановку».

Кирила служил «в москалях», был под Плевной и получил георгиевский крест, — за что получил? — добиться от него толком невозможно. Из его же собственного рассказа выходит только, что «як турци нас забрали в плен, то разом узяли с нами и майора Птицына, а потом, як мы вси стали утекать, то майора Птицына турци забили геть до смерти...» В настоящее время он уже десятый год подряд служит по выборам сотским, получает за это восемь рублей в год, исполняет свои обязанности с неугасаемым «административным восторгом» и в душе чрезмерно преувеличивает размеры облекающей его власти. Арестанты из его села отправляются до следующего этапа не иначе, как со связанными назад руками, между которыми продета длинная веревка; за каждый из концов этой веревки держатся конвоирующие двое мужиков, что придает всей процессии внушительный и комический вид. Сотский ведет очередь, кому из хозяев итти на какие общественные работы, и хотя уверяет, что у него на это есть какая-то «ханстриюкция», но, кажется, руководствуется при распределении наряда более симпатиями, заключенными за чаркой, нежели указаниями таинственной инструкции. Он до некоторой степени предводительствует общественным мнением, и по праздникам в толпе, собравшейся на лужайке около монопольного забора (эта лужайка — своеобразный сельский клуб), особенно громко раздается его голос. До моего окна доносятся неизменно одни и те же задорные фразы: «Я ему докажу...» «Закон не позволяет...» «Як мене поставили начальством...» Пьян он бывает редко, но, выпивши, безобразничает. Тогда он ходит непременно по самой середине улицы и требует, чтобы перед ним снимали шапки. «Що ж ты? Не бачишь, що начальство иде?» — кричит он, подпираясь руками в бока. В эти пьяные минуты случается, что ему приходит в голову какая-нибудь сумасбродно административная затея, например, отдать приказ, чтобы завтра же все село выезжало строить новый мост через Горынь, и с неременным условием окончить постройку к вечеру. Крестьяне ему не

противоречат, отлично зная, что на другой день сотский даже и не вспомнит о своем вдохновенном предприятии.

Кирила ужасно любит разговаривать со всяким начальством. При этом разговоре он от излишнего усердия вихляет всем туловищем, подергивает бедрами и отчаянно жестикулирует большим пальцем правой руки, оттопыренным в сторону от остальных пальцев, сжатых в кулак. Многословная его речь так и пестрит кудреватými выражениями, вроде: «какая разница!», «окончательно совсем», «без никакого внимания». Титулы, которыми он величает исправника и станового, всегда разнообразны и нелепо преувеличены. Если же в присутствии властей сотскому приходится вести разговор с лицом, ему самому подчиненным, то хотя голова сотского и обращена к этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть с изыгрывающим выражением, в тоне его слов слышится угодливая пренебрежительность, — дескать, «видите, пане; какая мужицкая необразованность, и как мы с вами все это хорошо и тонко понимаем...»

В комнатах с ним разговаривать неудобно, потому что он кричит, как на пожаре (голос у него фальцет — осипший и надсаженный), тотчас же перебивает всякого, кто при нем заговорит, сам тараторит безумолку и ничего не слышит, кроме своих собственных витиеватых фраз. Дома у себя и с крестьянами он гораздо проще, естественнее, но с начальством и с господами почему-то считает необходимым быть как можно бестолковее и при первом же удобном случае охотно впадает в роль шута. Начальство, кажется, любит его, но при каждом проезде не преминет собственноручно прибить, о чем Кирила потом рассказывает со всеми признаками хвастливого удовольствия: «От як мині врядник в пыку запалил! Беда!..» Получив служебную бумагу, он, прежде чем ее распечатать, со значительным видом надевает на нос огромные, круглые прадедовские очки в роговой оправе и затем уже, наморщив лоб и сжав губы, рассматривает документ, держа его нередко вверх ногами. Конечно, эти внушительные приемы никого не обманывают, потому что всякому известно, что ни в Зульне, ни в Крешеве, ни в Яблонном, с его окрестностями, ни один человек не умеет читать, кроме бывшего шинкаря Лейбы Фикуса, к которому потом сотский и отнесет бумагу для прочтения.

Кирила недурной стрелок, но охотник несчастливый, а главное дело, хвастун. Отправляясь на охоту и заломив шапку набок, он кричит на весь лес и божится, что сегодня уж наверняка принесет домой полную сумку, а сумка у него чудовищных размеров. При промахе он сначала с изумлением смотрит на ружье, пожимает плечами и в недоумении спрашивает: «Що це таке с моей стрельбой зробилось?» — потом идет на то место, где сидела дичь, и тщательно разыскивает перья или следы крови. Если же ему случится убить что-нибудь, то он несет дичь на ксендзовский двор или к органисту и продает там. Каждый раз после охоты он доводит меня до калитки и, сняв шапку и склонив просительно набок свою ведевильную голову, говорит заискивающим, тихим голосом:

— Паньчу, а як бы вы сотнику пожаловали на крючок водки?..

Талимон — человек другого склада. Он совсем плохой хозяин, и его хату можно безошибочно найти, потому что она самая худшая во всем селе: дрань на крыше дырявая, еле держится, стекла в окнах почти все повыбиты и заменены тряпками, стены ушли в землю и покосились. Кожух у Талимона испещрен заплатами и разодран подмышками, из шапки кое-где повылезли клочья ваты, но вся одежда сидит на нем хорошо, почти изящно. Он невысок ростом, поджар и очень ловок в движениях. Все его лицо от самых глаз заросло волосами; черные усы сливаются с черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Под широкими черными бровями глубоко сидят большие, круглые черные глаза, которые смотрят сурово, недоверчиво и немного испуганно: я это странное выражение не раз подмечал у людей, проводящих большую часть жизни в лесу. Голос у Талимона глуховатый, иосового тембра, не лишенный приятности, но говорит он редко и мало — тоже, как все лесные люди. Смеется он еще реже, но зато улыбка совершенно изменяет его лицо: оно вдруг становится таким ласковым и добродушным, что на него просто залюбуешься.

Талимон скромн, застенчив и уступчив. Он ни про кого не отзывается дурно, разве только, если при нем похвалят плохого охотника, то он слабо и презрительно махнет рукой. Про свои охотничьи успехи он никогда не говорит без особенного повода, но рассказ его, при всей суровой

сжатости, всегда занимателен и картинен. Когда сотский с криком и нелепыми телодвижениями начинает руководить порядком охоты, Талимон не возражает ему, а делает по-своему, что выходит гораздо лучше, и чему сотский беспрекословно подчиняется, приписывая, однако, успех охоты своим распоряжениям.

У Талимона есть одна дорогая и трогательная общественная черта: он охотно берет на себя самые неприятные, хлопотливые обязанности и безропотно становится на охоте на худшие места. Он первый лезет по пояс в болото, первый переправляется по жидкому весеннему льду, строит шалаши, разводит костры, чистит ружья... Здоровье у него плохое. Часто, идя вместе на охоту, я слышу его кашель, такой странный, отрывистый и сухой, что я долго не мог к нему привыкнуть: все мне казалось, что Талимон чему-то внезапно рассмеялся, и я с любопытством оборачивался в его сторону. Я думаю, что у него наследственная чахотка и что он не проживет долго, особенно при его молчаливой, упорной страсти к спиртному. Если же кашель начинает его мучить чересчур сильно, тогда Талимон приходит ко мне за лекарством. Лекарство это, изобретенное едва ли не самим Талимоном, состоит из большой рюмки водки, куда я капаю четыре или пять капель французского скипидара. «А ну-ка, паныч, дайте мини трошки тэрпэтыны... що-сь у меня в грудях заложило», — говорит он в этих случаях, после нескольких минут нерешительного колебания на пороге моей комнаты. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что, если бы я предложил Талимону принимать скипидар на воде, я бы рисковал потерять навсегда единственного своего пациента.

В хозяйственном быту Талимон лентяй, каких свет не создавал. Вместо самого необходимого домашнего дела, он предпочитает целые сутки бродить по лесу с ружьем за плечами. Когда его тринадцатилетняя дочь Варка вместе со своим братишкой Архипом вспахивают кое-как, неумелыми слабыми руками, жалкий клочок поля, Талимон только смотрит на них с завалинки, равнодушно покуривая трубку, околоченную медью.

Оба они — и сотский, и Талимон — стреляют из таких ружей, каких я более нигде не встречал: фунтов по пятнадцати весом, около вершка калибром, с самодельными ложами и чудовищной отдачей, способной свалить

на землю телеграфный столб. Эти редкие предметы достались им по наследству, и оба охотника не согласятся променять их ни на какую централку.

— Теперь такой «стрельбы» не могут сделать,— говорит иногда Талимон, любовно поглядывая на свой аркебуз.— Это «стрельба» настоящая, бо она ще за Катерину Великую зроблена. О!..

И надо видеть, с каким многозначительным видом подымается кверху черный палец Талимонов при этом: о!

У них обоих есть собаки — отдаленные ублюдки гончих, у Кирилы — Сокол, а у Талимона — Свирьга. Собаки, надо отдать им справедливость, прескверные, но меня они интересуют в том отношении, что на них до смешного отразился характер их господ. Рыжий Кирилов Сокол, едва почуя заячий след, бросается бежать по прямой линии и громким лаем дает знать о себе зверю за целую версту. На убитого зайца он тотчас же накидывается и начинает его с ожесточением пожирать, и отогнать его удается, только пустив в ход ружейный приклад. Подходя на зов к человеку, Сокол волнообразно изгибается туловищем, крутит головой, подобострастно взвизгивает, лихорадочно машет хвостом и, наконец, дойдя до ваших ног, переворачивается на спину. Куски, которые ему дают, он вырывает из рук и уносит их куда-нибудь подальше. Взгляд у него напряженный, занскивающий и фальшивый.

Свирьга—маленькая, черная, гладкая сучка, с остренькой мордочкой и желтыми подпалинами на бровях. Зверя она гонит молча, «нышком», как говорит Талимон. Нрав у нее нелюдิมый, нервный и довольно дикий; ласк она, повидимому, терпеть не может. Она страшно худая. Талимон ее никогда не кормит, потому что, по его мнению, «пес и жинка мусят сами себя годувать», то есть должны сами себя пропитывать. Собака относится к хозяину с полным равнодушием, но я знаю, что, несмотря на эту кажущуюся холодность, Свирьга и Талимон сильно привязаны друг к другу.

Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена казенного хвойного леса отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом,

а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые вер-хушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и приятной ясно-стью, которую можно наблюдать только раннею весной, по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, про-летая где-то очень близко, невидимый жук и как он, сухо щелкнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотца. Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им более редким, мелодическим и грустным уханьем. Изредка над головой пролетала с пугливым криканьем утка, да слышно было, как с громким и коротким бляньем перелетает с места на место бекас-баранчик. Высыпали пер-вые звезды, и никогда их мерцающее сиянье не казалось мне таким золотым, таким чистым, кротким и радостным.

— Стойте, паныч... заждит трошки,— сказал вдруг Талимон, присев на корточки сбоку дороги.— Сдается, здесь и заночуем...

Действительно, из-под густой сосновой ветки он выта-щил охапку лучины, загодя наколотой им из старого смо-ляного пня. Я дал ему спичку, и сухое сосновое дерево тотчас же вспыхнуло ярким, беспокойным пламенем, рас-пространяя сильный запах смолы. Затем он навалил сверх лучины сухой прошлогодней желтой хвои, которая сразу задымилась и затрещала.

Сотский не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Ах! — крикнул он с досадой.— Ничего не умеешь сделать. Пусти меня.

Талимон сейчас же уступил ему свое место и только с застенчивым видом вытер нос рукавом латуна.

Но у сотского дело не спорилось, и начавший было разгораться костер чуть-чуть совсем не потух.

— Что же ты не помогаешь... стоишь, як пень! — крик-нул он с сердцем на Талимона.

С помощью Талимона, притащившего кучу хвороста, костер разгорелся веселым шумным огнем. Я в это время доставал из сумки провизию, к большому удовольствию

сотского, провожавшего глазами каждый предмет, появившийся из нее. Талимон из деликатности делал вид, что не замечает моих движений. Я предложил им водки. Сотский торопливо принял из моих рук серебряный стаканчик, гаркнул своим сиплым фальцетом: «За ваше здоровье, ваше высоко-родие» — опрокинул залпом водку в рот, а воображаемые остатки лихо выплеснул себе через плечо. Талимон — хотя я видел, что ему хочется выпить не меньше сотского, — сначала немного поцеремонился.

— Пейте, пейте, паныч, — уговаривал он меня таким ласковым тоном, как будто хотел сказать, что ему ничего, он как-нибудь потерпит, обойдется, но что мне не выпить никак нельзя.

Я наставлял. Сдавшись, наконец, и взяв стаканчик, он снял шапку и несколько секунд нерешительно глядел на водку; потом слегка кивнул мне головой и промолвил: «Ну! Будьте здоровы, паныч» — и с видимым наслаждением выпил. После этого оба мои спутника отрезали по толстому куску свиного сала, надели его на шомпола и сунули в огонь. Поджариваемое сало заворчало и, растапливаясь, капало в огонь синими горящими каплями.

Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав в воздухе искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнее, ногами к огню, головой наружу, и долго все трое возились, уминая под собой место и выгребая сухие веточки и сосновые шишки, мешавшие лежать. Потом все притихли и молча глядели на пламя, охваченные тем непонятным, тихим очарованием, которое ночью так властно и так приятно притягивает глаза к яркому огню.

Над костром вдруг низко и прямо пролетела большая серая птица, медленно махая крыльями и жалобно пища. Мы проводили ее глазами, пока она не утонула во мраке.

— Это канюка, — сказал Талимон, поправляя ногой полено, выбросившее от толчка густой сноп искр.

— Что такое? — переспросил я.

— Канюка, ваше благородие... такая птаха, — закричал сотский и весь заерзал на своем месте. — Звесно, так мы ее называем — канюка... То есть ей, значит, такое название — канюка.

— А паныч знает, чего она так кричит? — спросил с легкой усмешкой Талимон.

— Нет, не знаю... Почему же?

— Не могу сказать, чи правда тому, чи нет, а только старые люди кажут, что ее господь проклял.

— Ах! — пренебрежительно мотнул головой сотский, — очень нужно панычу твои байки слушать... Какая разнища...

— Нет, отчего же, — возразил я. — Расскажи, пожалуйста, Талимон. Это очень интересно.

— Что ж... ведь не я ее выдумал... старые люди говорят, — обратился Талимон к сотскому, точно оправдываясь перед ним. — Бачите, паныч, як это дело вышло, — продолжал он более спокойно. — Случилось один раз... давно это было... может, сколько сот лет тому назад... случилось как-то, что зробилась на земле великая суша. Дождь не падал целое лето, и все речки и болота повысыхали... Птицы первые зажурились... Звесно: птаха пьет хоть и помалу, але вельми часто, и без воды ей кепсько...¹ Вот и стали птицы просить у господа бога: «Дай ты нам, господи боже, хоть трошки водицы, а то мы без нее все, сколько нас есть, скоро поумираем». Сжалился над птицами бог и говорит им: «Хорошо, дам я вам воды. Соберитесь все вы, сколько вас есть, в одно место и ройте землю, и как докопаетесь до воды, тогда и напьетесь... на всю вашу братию, пока что, хватит...» Как услышали эти слова птицы, з́араз слетелись в одно место... в лес, скажем, чи в долинку... и давай копать лапками землю. Все птицы собрались: и бузько, и книга, и шуляк, и крук, и ворона... роют, роют, одно перед другим старается... Только одна канюка ничего не хочет делать. Сидит и смотрит, как другие работают, да перышки свои перебирает. Увидел это господь бог и спрашивает: «Отчего же ты, серая птаха, не хочешь слушать моего приказа? Разве ты не чула, как я всем птицам велел копать криницу?» А канюка отвечает господу богу: «Как же, господи, буду я копать криницу? Бачишь, якие у меня ножки гарненькие! Боюсь я их испачкать землею, не стану я копать криницы». А ножки у нее, панычу, и правда, гарненькие, желтенькие такие. Да... Рассердился тогда господь бог на канюку и сказал: «Будь же ты, серая птица, проклята отныне и до века!.. Пусть теперь и ты и весь род твой не смеет пить

¹ Кепсько — худо, плохо.

воды: а ни из речки, а ни из ривчака, а ни из болота, а ни из криницы или става, ни из стоячей воды, ни из текучей. А только позволяю я тебе пить воду после дождя с зеленого листика...» Вот с тех пор летает эта самая птица и кричит, а наиболее летом... Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетит к речке — речка ей воды не дает, подлетит к лужице — и та перед ней расступается. Так она от воды до воды и летает, и все канючит... жалостливо так, вот как сейчас, паныч, слышали... За это самое, что она канючит, ее и называют канюкой... И это верно, паныч,— закончил он убежденным тоном,— я сам бачил, как она сидит около речки и кричит... Хочется ей пить, да, видно, господне проклятие крепче... Вот так-то...

— Ат!.. Байки! — отозвался сотский.

— Так что же, что байки? — заступился я за Талимона.— Байку тоже занятно послушать. Ночь длинна... торопиться нам некуда.

Кирила тотчас же с обычной неустойчивостью и беспотковостью переменял мнение.

— Ну да... воно так,— захихикал он угодливо.— Я ж понимаю, что панычу любопытно... Паныч думает, я не понимаю? Я усе понимаю. Звесно, что старые люди больше нашего знают... Я ж могу понимать!..

Мы притихли. Вдруг Талимон быстро приподнялся на локте и, сдвинув брови, острым неподвижным взглядом уставился в лесную чащу.

— Кто-то идет,— сказал он вполголоса.

Сотский тоже приподнялся и повернул голову по направлению взгляда Талимона. Я как ни напрягал внимание, ничего не мог расслышать за треском разгоревшегося костра.

— Кто там иде-ет? Что ты бреше-ешь? — протянул насмешливо Кирила.

— Тихо! — махнул на него рукой, не оборачиваясь, Талимон.

Действительно, его не обманул тонкий охотничий слух. Через минуты две или три послышался легкий треск сухих веток под чьими-то ногами, и из чащи точно вынырнула высокая фигура мужика в новом кожухе и картузе.

— Помогай бог! — сказал он глухим, сильно простуженным голосом и слегка приподнял картуз.

— Здорово! — ответили разом Талимон и Кирила, прикоснувшись к своим шапкам.

— Ишел я по лесу и вижу ваш огонь,— продолжал пришедший, присаживаясь на корточки.— Дай, думаю, посмотрю, что за люди... Скучно одному.

— Седайте,— проговорил из вежливости Талимон, не смотря на то, что гость уже успел усесться.

Этого мужика зовут Александром. Мне никогда не доводилось с ним разговаривать, но я нередко видел его и особенно много о нем слышал благодаря той простой и в то же время тяжелой крестьянской драме, которая на глазах всей деревни разыгрывалась в его семье. Два года тому назад его жена Ониська — хорошенькая, но распутная и глупая бабенка — вернулась из ближнего городка, где она служила в разных местах за кухарку. Вернулась она в деревню не по своей охоте. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведет себя нехорошо, путается со всеми городскими господами и с их мужской прислужгой, и что даже проезжие посылают «из номеров» мишуреса за Ониськой. Александр не раз являлся в город, отнимал у жены все зажитые ею платья и вещи и рубил их в мелкие кусочки на пороге, а жену избивал и уводил в деревню. Но она улучала минуту и тайком сбегала опять в город. В последнее время ее «водворила на место жительства» полиция, к содействию которой обратился — не знаю уж по чьему совету — Александр.

Вместе с городским гардеробом Ониська привезла с собою легкость городских нравов и презрение к деревенской необразованности. Держала она себя с соседями заносчиво, употребляла в разговоре никому неизвестные слова, ела в пост скромное и даже в одно воскресенье — смешно сказать — явилась в церковь с синим пенсне на носу, за что Александр получил от священника, отца Анатолия, строгий выговор.

Поведение ее не стало лучше в деревне. Она таскалась сначала с сыном волостного писаря, потом с конторщиками соседнего лесного имения, потом с помещичьими кучерами и, наконец, в настоящее время ее постоянным кавалером сделался вольнопрактикующий фельдшер Кацейовский, вертлявый и наглый человек с темным прошлым, лечивший с одинаковым неуспехом и лошадей, и коров, и баб с их ребятами. Знал ли обо всем этом Александр —

трудно сказать. Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей, но с лица его не сходило угрюмое выражение упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне покачивали головами и со свойственным им безошибочным инстинктивным чутьем говорили: «Не добром кончится это дело... що-сь буде промеж Онисьи с Александром...»

— Ты коней, что ли, пасешь? — спросил несколько минут спустя сотский.

Александр, неподвижно глядевший в огонь, вдруг встrepенулcя, точно его внезапно разбудили.

— Я-то? — протянул он, с усилием отрываясь от огня и, повидимому, стараясь понять, о чем его спрашивают. — Коней, ты говоришь? Да, да, коней.

— Оно действительно... теперь злодий как раз подкрадется, — поучительно заметил Кирила.

Александр опять уставился на огонь. Я вгляделся пристальнее в его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно тоскливое выражение. И поза, в которой он сидел, сгорбившись, с головой, ушедшей в плечи, охватив обеими руками острые колени, показалась мне усталой и беспомощной. Самый голос у Александра был какой-то жалкий, пришибленный и до странного глухой, как будто бы он раздавался сквозь закрывавшую рот мягкую подушку.

Пламя костра трепетало с бурным ропотом, а на лицах трех крестьян бегали длинные дрожащие тени от носов и глазных впадин. Когда же огонь вспыхивал особенно ярко, эти лица принимали медный оттенок, а в глазах ярко загорались красные точки.

Около костра было тепло, светло и уютно, но там, дальше, куда не достигал освещенный колеблющийся круг, там ночь стала непроницаемо черной, и временами до нас доносилось ее холодное, сырое дыхание. Обступившие нас вокруг деревья слились в одну сплошную, темную — темнее ночи — живую толпу, точно со всего леса сбежались сюда ночные тени и с любопытством глядели сверху, покачиваясь и перешептываясь. Иногда на мгновение выделялся из этого заколдованного круга голый прямой ствол сосны, внезапно облитый красноватым светом, но тотчас же пугливо прятался в густую толпу ночных призраков.

Я лег на спину и долго глядел на темное, спокойное, безоблачное небо,— до того долго, что минутами мне казалось, будто я гляжу в глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но приятно кружиться голова. А в душу мою сходил какой-то томный, согревающий мир. Кто-то стирал с нее властной рукою всю горечь прошедших неудач, мелкую и оздобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе. И вся жизнь, со всеми ее мудреными задачами, вдруг ясно и просто сосредоточилась для меня на этом песчаном бугре около костра, в обществе этих трех человек, несложных, наивных и понятных, почти как сама природа.

Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание: точно вдали кто-то вздохнул во всю ширину необъятной груди... Даже трудно было определить, с какой стороны послышался этот звук: он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих.

— Птаха яка-сь,— заметил вполголоса Александр.

— Сова! — решил тотчас же уверенно сотский.

— Нет, это не птаха,— задумчиво отозвался Талимон.— Господь его знает, что оно такое... Трапляется это часом в лесу, когда ночь тихая...

— Трапляется, трапляется,— с задором передразнил сотский,— а что трапляется и сам не знает... Ну, что такое трапляется?

— Разное бывает... — мягко и уклончиво возразил Талимон.— Лес у нас великий, в иное место никто не заглядает, даже лоси и волки. Одному богу звесно, что там ночью робится... Старые полесовщики много чего бают, потому что они целый век все в лесу да в лесу... все видят, все слышат... Да что ж? — обвел он нас глазами,— я и сам многое слышал...

— Ты слышал... Много ты слышал!..

— А что ж? — с добродушной настойчивостью продолжал Талимон.— Вот и слышал. Бывает часом так, что идешь примерно в ночной обход. Тихо так в лесу... аж листик не колыхнет... А вдруг как зарегочет что-сь, как зарегочет... чудно так... не то человек смеется, не то конь ржет, не то заплакал кто-то.

— Ат!..

— А вот еще однажды слышал я в ночь на светлое.

воскресенье, как печаловский колокол звонит. Что ж, скажешь, может быть, неправда тому? — укоризненно обратился Талимон к сотскому.

— Нет, это правда. Печаловский колокол звонит, я это знаю, — подтвердил своим глухим голосом Александр.

Я заинтересовался: что такое означает звон печаловского колокола. Сотский в ту же минуту завозился туловищем, ногами и руками и закричал так громко, что по лесу побежало эхо:

— Что вы их слушаете, паныч! Они вам с три короба наговорят. А! Бабы брехня... Не слушайте их, ваше благородие.

Но я гораздо энергичнее, чем прежде, попросил сотского молчать. Талимон принялся рассказывать, но сначала немного стеснялся и все озирался на своего противника. Александр попрежнему тупо и печально глядел на огонь, не изменяя своей жалкой позы. Время от времени он коротко кивал головой и приговаривал: «Да, да... это верно... это так». Сотский с умышленной небрежностью повернулся спиной к рассказчику.

— Это тоже, паныч, дуже старое дело, что я вам хочу рассказывать, за той самый печаловский колокол. Случилось оно еще те годы, окоче была у нас панщица. Давным-давно... лет... може быть... (он задумался и вопросительно посмотрел на меня). Лет триста аль бо четыреста будет?.. А мабудь, и больше? Не могу сказать, не знаю, бог его знает, сколько лет... Собирались один раз казаки в поход. Шли они тогда войной на турецкого салтана. И вот стали они прощаться со своими... Журьба по всему селу, плач такой великий... аж стон стоит!.. Тот с батькой своим расстается, с маткой старой, того сестра провожает... Но наибольше голосили дивчата. Звесно, у каждой был в войске свой зарученный... И уж эти бабы завше одинаковы. Сама плачет, як река разливается, а все ж таки не утерпит на ухо шепнуть: «Будешь ты, Грицко, аль бо там Павло, чи Юрко, будешь вертаться назад из Туреччины, привези мне памятку какую-нибудь, чи перстенек, чи наместо, чи хустку червоную...»

Был в том селе казак, по имени Опанас: гарный хлопец, веселый и шворный такой, але ж только совсем бедный, як собака. Всего у него богатства только и было, что на нем. Служил Опанас за наймита у мельника. А у мель-

ника была дочка, такая красивая дивчина, что лучше ее нигде на всю округу не было. Полюбилась эта мельничиха Опанасу; так он ее полюбил, что только из-за нее одной и жил на млыне, потому что старый мельник был человек гордый и скупой, кормил наймитов плохо и даже за людей их не считал... И дочка его такая ж была. Знала она, что Опанас ее крепко любит, но только над ним смеялась.

Как услышал Опанас, что идут казаки на войну, стал и он собираться... Вот пришло время и в поход выступать. Приехал Опанас в опушний раз на млын, прощается, бидака, со своей любой. А ей ничего, только смеется с него. «Привези, каже, мне из турецкой земли такое намисто, чтоб такого еще ни у кого не было, чтоб все молодницы и дивчины — и Гапка, и Катерына, и Пруська, — чтобы все они с зависти пожелтели. Тогда, говорит, может и пойду за тебя замуж. Да помни одно: если твое намисто хоть из золотых дукатов будет, я и то его не приму, а брошу его тебе в твою наймичью пыку. Бо такое намисто я вже у одной проезжей пани бачила».

— Ах ты, стерва! — не утерпел, наконец, сотский и быстро повернулся лицом к рассказчику. — Я бы ей самой в пыку за такие слова дал!..

Сотский хотя и старался до сих пор подчеркнуть свое невнимание к рассказу, но, очевидно, слушал его с захватывающим интересом, несмотря на то, что, наверно, знал его наизусть с самого детства. Он, как многие крестьяне, новым байкам предпочитал старинные, давно ему привычные, уже освоенные и усвоенные его тугим, коротким воображением.

— Да. Так она ему и сказала, — продолжал Талимон, заметно польщенный и подбодренный искренней выходкой сотского. «Привези мне, говорит, такое намисто, какого еще никто и не бачил». — «Хорошо, — говорит Опанас, — хорошо, привезу я тебе такое намисто!..», а сам вельми рассердился, — даже прощаться с нею больше не стал, — вскочил на коня и поехал догонять товарищей.

В ту пору, как шли казаки походом, подружил Опанас с одним казаком, Левком, — так подружил, что просто они друг без дружки жить не могут, а напоследок даже крестами поменялись. «Будь ты мне, — говорит Опанас, — за родного брата. Куда ты, туда и я. Будем везде стоять друг за дружку и выручать от всякой беды».

Наконец пришли наши казаки и в Туреччину. Долго они там сражались. Сколько сел и деревень попалили, сколько скота угнали, сколько ихних церквей разорили... а поганных турок так богацко набили, что даже счет потеряли... золотые монеты забирали прямо жменями, аж казацкие кишени не могли выдержать, лопались... И везде Левко вместе с Опанасом: и турок вместе бьют, и нашу из одного горшка едят, и спят под одним кожухом...

Завоевали один раз казаки самый великий турецкий город — Константинов, и стали тот город разорять. Опанас с Левком забрались в бо-огатый-пребогатый палац и давай хозяйевать в нем, как в своей хате. Набрали дукатов золотых, посуды разной срибной, дорогих каменьев... Вдруг бачат: лежит в щекатунке намисто, и так-то блещет намисто, что аж глаза колет. Левко с Опанасом разом хвата за намисто!.. Один каже — мое, другой говорит — мое. Слово за слово, стали лаяться казаки. Дальше, больше, — вынул Левко шаблюку, вынул и Опанас свою шаблюку. Начали биться. Бились час, бились другой: пересилил-таки Опанас Левка и отрубил своему названому брату казацкую голову, и взял себе то гарное намисто...

Никому он не сказал из товарищей, что убил Левка, а намисто сховал у себя на груди, под свиткой, чтоб никто сго не заметил. Так все и подумали, что пропал Левко без вести, чи взяли его в плен, чи зарезал его где-нибудь поганный турка.

Вскорости повернули казаки до дому — уж больше года прошло, как они выехали в поход. Поехал с ними и Опанас. Только совсем не такой поехал, как из дому выезжал. Тогда был веселый такой: все песни спевал, да жартовал с товарищами, а теперь едет тихий, сумный, песен не поет, не говорит ни с кем и все — нет-нет — рукой лапает за грудь, где у него спрятано намисто.

На страстной неделе вступили казаки на русскую землю. Едут они однажды вечером и видят в степи огонь. «Вот здесь, говорят, и заночуем». Подъехали, глядят — цыганский табор. Ну что же? Хоть и цыгане, а все же таки подорожные люди. Говорят им казаки: «Слава богу!» Те им отвечают: «Во веки слава». Просят сесть. Сели наши казаки, вынули из сумок хлеб, соль, цыбулю... стали вечерять, послали за горилкой, — тут қорчма близко оказа-

лась. Пьют и цыган частуют. Только одна молодая цыганка — красивая такая — заметила, что Опанас все за грудь тремается, и пытается в шутку: «Что у тебя, хлопец, на груди скрыто? Может, намисто везешь своей дивчине?» Испугался Опанас, аж весь затрусился. «А ты почему знаешь? Нема у меня никакого намиста. Отчепись ты от меня, ради бога». Цыганка еще больше смеется. «Чего же ты, говорит, злякался? Или ты кого зарезал за то намисто, що так побелел?» И пристала эта цыганка к Опанасу: «Пойдем со мной в мой намет... Я тебя вином угошу добрым, и постель тебе постелю, и сама с тобою ляжу...» Говорит она так, а сама на Опанаса дивится; очи у нее черные, блескучие, а лицо темное, а зубы белые, как цукар. Послушался казак, пошел с ней в намет, сел... Подает она ему великую чару: «Пей!» — каже. Выпил он одну, цыганка ему зараз другую наливает. Выпил другую Опанас и пытается: «А что же ты сама не пьешь? Меня поишь, а сама не пьешь?» Усмехнулась цыганка, однако выпила трошки; только, как выпила, сейчас же воды хлебнула. Казак спрашивает: «Ты для чего же воду пьешь?» — «А это у нас, говорит, свычай такой... нам иньше по нашей вере не можно...» И наливает еще одну чарку. Как выпил Опанас третью чару, помешалось у него все в голове, обомлел он и упал, как неживой. Чует он, что кто-то мацает его за грудь и свитку раскрывает, а поворохнуться не может: точно ему руки и ноги веревками повязали...

Проснулся наутро Опанас и первым делом лап-лап попид свиткой: нема намиста! Он к товарищам: «Где цыгане?» А тех цыган уже давно и звания нема, еще до солнца поднялись, погыгортали-погыгортали что-то посвоему и всем табором подались на полдень. «Нет, — думает казак, — я ей, бисовой дочке, моего намиста не подарю». Вскочил на коня и поехал вдогонку за цыганами.

Едет он милью, другую, десять миль, и все людей пытается: «А что, добрые люди, не видали вы, не проходил ли здесь цыганский табор?» — «Как же, говорят, видели: вот только-только перед тобой проехали по шляху». Опять едет казак, погоняет коня со всех сил, а догнать никак не может, и везде ему люди кажут: «Бачили мы цыган, всего только час какой назад, вон в ту сторону потянули». А тем временем вечер зашел, стало темно. А когда казак через Печаловку проезжал, то уже дело подходило близко полу-

ночи. Стал он и в Печаловке пытаться: «Бачили цыган, добры люди?» — «Бачили, кажут, ездай скорийше, они еще двух верстов не успели сделать».

Только что опять выехал Опанас в поле, видит — стоит церковь, а в церкви малый огонек чуть-чуть мигает. Посмотрел Опанас и думает: «А ведь нынче у людей страстная суббота, и сейчас настанет Христово воскресение. Бог весть, когда я еще до церкви доберусь. Треба зайти хоть лба перекрестить». Слез с коня и зашел в церкву. Звесно, *так себе* зашел, бо у него на душе совсем не молитва была.

Зашел он в церкву и видит, что там всего только одна свечка горит перед иконой божьей матери, а людей в церкви нема. Даже сторож и тот куда-сь на минутку вышел. Подошел казак к образу, да так и захолил. Смотрит он, а у божьей матери округ сияния надето наместо, аккурат такое, как у него цыганка украла, только еще краше. Всего одна свечечка в церкви, а наместо так и горит, так и горит, — аже в глазах больно... А коло образа, как на грех, лесенка маленькая приставлена... Звесно, что все это дело *злой* наробил. Потом оказалось, что и цыгане те, что наместо украли, совсем не цыгане были, а ма́ра.

Обернулся Опанас в одну сторону, в другую... видит — никого в церкви нет. Влез он на лесенку и протянул руку. И ледве он доторкнулся рукой до наместа, — загредел гром, заблискала блискавица, и вся церковь, как стояла, так и провалилась скризь землю... Сбежались из села люди, смотрят, а на месте церкви стоит великое озеро, а в озере колокол звонит...»

— Да... это верно... это так, — тихо заметил Александр.

— И с той самой поры, — продолжал в торжественном тоне Талимон, — с той самой поры каждый раз в светлое воскресенье слышат люди звон из того озера. То звонит колокол в потонувшей церкви. И это все правда... я сам чул один раз. Не так, чтобы вельми громко, но як при-тулить ухо до земли, то совсем добре чутно.

Талимон замолчал, выбросил из костра уголек и, перекинув его несколько раз с ладони на ладонь, стал раскуривать свою короткую трубку. Я спросил, что сталося потом с жестокой мельничихой?

Талимон сплюнул в сторону.

— Этого уж я не знаю, паныч. Чего не знаю, того не могу казать. За мельникову дочку я больше ничего не чул.

— А что же с ней зрбилось? Погубила, трясца ее собачьей матери, христианскую душу, и все тут,— с горькой злобой вставил Александр.— Нет на свете ни одного такого поскудного гада, як баба!..

— Все хороши: и бабы и чоловики,— равнодушно сказал Талимон.

Александр вдруг как-то разом заволновался.

— Нет, ты этого не говори, Талимон... Это ты напрасно так говоришь,— заторопился он, суетливо и неловко тыча перед собою руками.— Хоть мы, чоловики, и пьем, и свд-римся, и ворует часом, але все же таки мы бога не забываем... А баба? Або она что понимает? Або она что чувствует?..

— Это ты правильно,— поддакнул сотский.— У бабы заместо души пар, як у собаки. Это даже в двенадцати викториях сказано.

— Чи пар, чи другое що, я уж за то не знаю,— нетерпеливо отмахнулся от него Александр.— А только я одно скажу, что всякая шкода, всякая швара — все через них робится. Как в святых книгах сказано? Через кого господь прогнал Адама из раю? Через бабу... Шкодливы, пакостницы, сокотухи¹. Плечут невесть что... Вот уж это вправду сказано: лучше железо варить, чем с злою женою жить.

Вероятно, еще и раньше, до рассказа Талимона про наместо, Александр находился в том состоянии, когда накипающие в человеке и долго сдерживаемые чувства ищут себе исхода, и тогда достаточно ничтожного предлога, чтобы они прорвались в самой необузданной форме. Видно было, глядя на неожиданную горячность Александра, что теперь ему уже трудно остановиться, раз он начал высказываться. И хотя, повидимому, он громил всех женщин вообще, но как-то невольно чувствовалось, что все его проникнутые жестокой ненавистью слова относятся к одной Ониське.

— Стыда они в себе никакого не имеют! — продолжал еще возбужденнее Александр.— У суки, и у той стыда больше, чем у бабы... Только одна мерзость у нее на думке. А этого ей ничего, что из-за нее чоловику нельзя на село

¹ Болтуны. Когда кричит сорока, про нее говорят, что она «со-кочет». (Прим. автора.)

показаться, что от страму не знаешь, куда голову спрятать. Мужей бросают, сволочи, даром, что в церкви божьей присягали на верность... Хуже кошек они, эти бабы! Кошка хоть к хате своей привычайна, а баба ни к чему не привыкнет. Разве ей дети нужны? Муж нужен? Страм ей нужен... Тьфу! — Александр с омерзением плюнул на землю. — Вот что ей нужно!..

— Батога ей треба! — сочувственно и серьезно заметил Талимон.

Сотский поддержал это мнение.

— Да и до-обраго батога. Старики кажут недаром: як больше бабу бьешь, то борщ вкуснее.

Но Александр как будто бы не заметил слов сотского. Во все время своей беспорядочной, злобной речи он обращался к Талимону, в черных печальных глазах которого отражалось настоящее сострадание.

— Эх! Або она боится батога? — махнул безнадежно рукой Александр. — Баба как гадюка: пополам ее перерви, а она все вертится. Да и не можно все бить да бить. Ты вот на нее серчаешь, а она подсунулась к тебе теплая да ласая... так, стерва, душу из тебя руками и вынет. Нет, это что ж, бить-то... А вот так зробить, как Семен Башмур в позапрошлом годе зробил...

— Ну, брат, этого тоже начальство не одобряет... какая разница! — многозначительно сказал сотский.

— А что такое Башмур сделал с женой? — полюбопытствовал я.

На этот вопрос долго не было ответа, точно каждый из мужиков дожидался, чтобы заговорил другой. Наконец сотский начал медленно и неохотно:

— Жинка его... Башмурова жинка, значит... связалась тут с одним хлопцем... Петро его зовут... он и теперь на селе живет... женился на покрову. Ну, и застукал он ее один раз с этим с самым Петром в хлеве...

Сотский замолчал, точно ему неприятно было продолжать. Александр и Талимон как-то уж чересчур равнодушно уставились глазами на свои лапти.

— Ну, и что же дальше? — спросил я.

— Да что же? Повалил ее на землю и засунул ей квача¹ с дегтем в рот... ну, и того... задохнулась. Ат! Да

¹ К в а ч — тряпка, туго свернутая, кляп. (Прим. автора.)

что об этом толковать!.. Ты куда же, Александр? — спросил сотский, видя, что тот встал со своего места и оправляет ремень, стягивающий кожу. — Идешь, что ли?

— Пойду, — коротко ответил Александр, ни на кого не глядя. — Что ж сидеть... скоро утро. Ну, бывайте здоровы...

Пока он был виден, мы все трое провожали его глазами. В его вялой, тяжелой и медленной походке, в очертаниях его натруженной, полусогнутой спины было что-то удрученное, жалкое... Глядя на эту походку и на эту спину, я невольно подумал, что еще долго он будет бродить сегодня по лесу со своей одинокой, молчаливой тоской.

После его ухода мы долго молчали. Так всегда бывает, если из компании уйдет один человек: пусть даже он молчал все время, но остальные без него несколько минут чувствуют себя неловко, точно от них отняли что-то, подогревавшее беседу.

Сотский первый заговорил:

— А все через свою Ониську человек сохнет... Совсем извела его, подлюка.

— Что ж... не наше это дело, — осторожно, как бы вскользь, заметил Талимон.

— Как это не мое дело? — вскипел сотский. — Ежели, примерно, я начальством здесь состою?.. Какая разница!.. Талимон немного смутился.

— Ну, да... оно так, конечно... а все ж таки...

— То-то вот — «все ж таки». Как это ты мог сказать: не мое дело? А если, упаси господи, беда якая случится?.. Жаль мужика, пропадает ни за грош, — совсем уж другим тоном обратился сотский ко мне. — Трудящийся он, старательный человека... И уж чего-чего он ни делал: к попу водил свою Ониську отчитывать, господину вряднику жалобу приносил... ничего пользы нет. Он и к Недильке даже ходил...

— К какой это Недильке? — спросил я.

— А тут, бачите, есть у нас одна ворожка, Недилькой мы ее зовем... так он к ней и ходил. Велела, говорят, она ему поймать кожану¹ и сварить его живого, а потом за-

¹ Летучая мышь. (Прим. автора.)

копать на ночь в муравельнике, чтоб муравли его обглодали до костей. А в тех костях, каже, есть такие маленькие грабельки и вилочка. Як ты, каже, захочешь, чтоб тебя дивчина, чи молодица полюбила, то ты только этими граблями проводи ей по спиднице, чи по камизельке. А если хочешь, чтобы она тебя разлюбила, то вилами ее торкни легонько...

— Ну что же, и Недилька не помогла?

— Э, какие тепер ворожки! — сделал сотский презрительную гримасу. — Або теперешние ворожки что-нибудь знают? Вот прежние — те действительно много могли. Кровь, зубы заговаривали, отмовляли, если кого бешеная собака укусит или гадюка... узнавали, где злодий вещи спрятал...

— Ну да... Бо им раньше черти воспобляли, — пояснил Талимон.

— А звесно, помогали... У иньшей даже не один и не два, а скольконадцать чертяк служило в наймитах. Ну, а тепер совсем нема чертей...

— Как нема? Куда же они делись? — спросил я, заинтересованный судьбой чертей.

Признаться, я не ожидал, да и не мог ожидать хоть сколько-нибудь определенного ответа, но к моему чрезвычайному удивлению Талимон и Кирила тотчас же, нимало не задумавшись, ответили в один голос:

— На машину ушли.

— Что-о? На машину? На какую машину?

— А на зализную дорогу, — хладнокровно и уверенно объяснил сотский. — Им там тепер вельми добре жить... Вот, как разобьется вагонов с пятнадцать, тут сейчас чертякам и работа, Богацько тогда умирает людей без причастия, а это злomu и потеха, потому что человек весь в грехах, як в кожухе. А чертяка его разом цап за комир и в пекло. Може, за одну неделю душ с тысячу приставит. Ну, а ему, звесно, от самого главного сатаны за это награда... А в селе ему что за польза? Коли-николи одну якую-сь душонку зловит, да и то старушечью, лядащую. Вот потому-то они все из села и поутекали. А что, Талимон? Развидняет? — обратился он к Талимону, пристально смотревшему на восток.

— Уже. Ну, паныч, давайте собираться,— сказал Талимон подымаясь.— Как придем на ток, зăраз и день будет.

Мы наскоро собрали свои вещи, растащили костер и тронулись. Небо еще не изменило своего темного цвета, но восток уже побледнел и звезды потеряли яркость. Легкий утренний ветерок, суетливый и холодный, набегал изредка и чуть трепетал в вершинах деревьев.

До тока нам пришлось итти около трех четвертей часа. Самый ток представляет из себя большую, десятин в двадцать, полянку, окруженную молодым леском. Кое-где по ней были разбросаны небольшие группы кустов.

В темноте, в полузнакомом месте, я скоро потерялся и покорно шел за Талимоном, то и дело попадая ногами в какие-то ямы. Наконец Талимон остановился и шепнул мне на ухо:

— Седайте, паныч, вон в ту будку. Сидите «нышком», не ворошиться. А як стрелите тетерука, то, спаси господи, не выезжайте из кучки... Зăраз другие прилетят на то же место.

Он указал мне на несколько маленьких березок, едва белевших шагах в пяти от нас, а сам пошел в другую сторону и тотчас же бесшумно пропал в темноте.

Я с трудом отыскал свою будку. Она состояла из двух тонких березок, связанных верхушками и густо закрытых с боков сосновыми ветками. Раздвинув ветки, я влез в будку на четвереньках, уселся поудобнее, прислонил ружье к стволу и стал оглядываться.

Прямо передо мною тянулись ровные серые широкие грядки прошлогодней нивы (в борозды между этими грядами я все и проваливался, когда шел за Талимоном). Восток уже начал розоветь. Деревья и кусты вырисовывались бледными, неясными, однотонными пятнами. К смолистому крепкому запаху сосновых ветвей, из которых была сделана моя будка, приятно примешивался запах утренней сыроватой свежести. Пахла и молодая травка, серая от росы...

Где-то очень близко — мне показалось, что над самой моей головой,— робко чирикнула птичка, ей ответила другая, третья... В лесу пронзительно захохотала сова, и ее крик звучно и резко пронесся между деревьев. Утка пролетела стороной, и долго не смолкало ее криканье, все

тише и тише доносясь до меня. Высоко на деревьях томно застонали дикие голуби.

Вдруг совсем около меня, на земле, раздалось громкое хлопанье крепких крыльев. Я невольно вздрогнул. Не далее, как в шаге от моей будки, упал тетерев; если бы я протянул руку, я мог бы дотронуться до того места, где он опустился. Весь черный, с красными, мясистыми бровями и коротким, острым клювом, он стоял неподвижно, как каменный, показываясь мне всем своим стройным, красивым профилем. Его блестящий черный глазок тревожно и зорко заглядывал в будку. Я затаил дыхание и замер, не отводя от него глаз. Но тетерев уже заметил меня. Он вдруг поднялся и, громко хлопая крыльями, полетел низко над землею.

«Ну, пропала сегодня охота», — подумал я с досадой, но в ту же секунду с двух сторон — впереди меня и справа — так же громко и коротко захлопали крылья. Несколько минут оба тетерева молчали, должно быть внимательно оглядываясь кругом и прислушиваясь. Но вот один из них, тот, что упал справа, издал громкий боевой крик: «чу! чшшш...» — странный звук, который трудно передать, похожий отчасти на испорченный, осипший петушиный крик, отчасти на шипение, а также на свист ножа под колесом точильщика. «Чу! чшшш...» — тотчас же отозвался другой. Как мне ни хотелось увидеть самих тетеревов, но я боялся пошевелиться и только слушал.

Так они перекликнулись несколько раз. Вдруг первый, закричав особенно задорно и громко, подпрыгнул вверх и забил крыльями; то же самое немедленно сделал и второй. Самцы подходили один к другому все ближе и ближе, возбуждая себя перед битвой воинственными криками...

Но, еще не сойдясь, они оба сердито заболботали: совсем как индюки, только нежнее, продолжительнее и не так отрывисто. Иногда они прерывали свое болботание, чтобы закричать и перелететь поближе к противнику. Я осторожно, стараясь не шуметь одеждой, повернулся и стал всматриваться сквозь просветы ветвей.

Сначала я увидел только одного. До него было не больше тридцати шагов. Он токовал, вытянув над самой землей шею, и медленно, плавно поворачивался то в одну, то в другую сторону. Когда он становился ко мне задом, я видел только изнанку его поднятого вверх хвоста, по-

хожую на развернутый белый пушистый веер. Скоро я увидел и другого: он токовал от первого шагах в десяти, так же сердито и плавно топчась на месте. Иногда оба они, один вслед за другим, подымали свои головы и прямо и широко растопыривали крылья, что придавало им надутый, гневный и комический вид.

Вдруг недалеко от меня грянул оглушительный, точно пушечный выстрел. Эхо подхватило его, бросило в лес, и он, разбившись об деревья на тысячи звуков, долго, то стихая, то усиливаясь, грохотал в чистом утреннем воздухе. Оба тетерева, насторожившись, замерли на несколько секунд, но потом, закричав с новым ожесточением, разом подпрыгнули вверх и с такой силой ударились в воздухе грудь об грудь, что несколько маленьких перышек полетело от них в разные стороны. Упав на землю, тетерева опять принялись за свое сердитое болботанье.

Я осторожно просунул ружье между ветвями и, страшно волнуясь, слыша ускоренное биение своего сердца, стал целить. Одна хвоинка закрывала мне мушку. Едва переводя дыхание, я отщипнул ее, сел поудобнее и приложился... Выстрел вышел неожиданный и очень громкий. За облаком дыма я ничего не мог рассмотреть, но уже слышал судорожное хлопанье крыльев и знал, что не промахнулся. Действительно, когда дым рассеялся, я увидал тетерева; он свалился в борозду и лежал в ней неподвижной черной грудкой. Противник его не сорвался, он только застыл на месте в чуткой и недоумевающей позе. Принимая ружье, я нечаянно произвел едва слышный шорох. Тетерев испуганно поднялся и быстро полетел по направлению к лесу.

Вокруг меня со всех сторон еще токовали невидимые мне тетерева, но все тише, все слабее. Наступало затишье, которое бывает всегда между первым и вторым током... Заря разгорелась в полнеба. Солнца еще не было видно, но верхушки высоких деревьев уже подернулись точно золотой пылью...

* * *

Через час мы возвращались домой. Талимон, который стрелял два раза — один раз передо мною, а другой во время второго тока — убил двух тетеревов, я одного, а соотский возвращался с пустыми руками и потому заметно

дулся и не хотел глядеть на дичь. Талимон из крыльев каждой птицы выдернул по два пера, просунул их толстыми концами в носовые отверстия тетеревов, тонкие концы связал и нес таким образом дичь, как бы на петлях.

Нам оставалось до деревни не более полуверсты, и мы подходили уже к большому деревянному кресту, стоявшему на пересечении зуленской и печаловской дорог. Эти кресты, с прибитыми наверху их, сделанными из дерева орудиями страданий Христовых — копьём, лестницей, молотком и тридцатью сребрениками, — всегда можно увидеть на перекрестках полесских дорог. Снизу на эти кресты молодницы и девки вешают сшитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный — дикий и живописный вид.

Когда мы поравнялись с крестом, то все трое заметили фигуру какого-то человека, бежавшего нам навстречу из деревни. Талимон своим зорким глазом первый узнал его и сказал, обращаясь к сотскому:

— Это ваш Грицько бежит, сотник.

Действительно это был Грицько, сын сотского, малый лет восемнадцати, уже женатый, большой весельчак, вечно скаливший свои огромные, белые, как у молодой собачки, зубы.

— Тату! тату! — закричал он еще на ходу. — Бежите скорей... у нас на селе беда!..

— Что там за беда? — недовольным голосом отозвался сотский. — Яка така беда?..

Грицько добежал до нас и продолжал, с трудом переводя дух:

— Великая беда, тату... чоловік один... жинку свою убил...

Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у нас в глазах. Мне показалось, что Талимон побледнел.

— Ат! Что ты брешешь! — воскликнул сотский, делая строгое и важное начальническое лицо. — Какой чоловік? Когда убил?..

— Александр, тату, Ониськин чоловік...

— Да когда? Когда, я тебя спрашиваю? — закричал сотский.

Он прибавил шагу, и Грицько едва поспевал за ним, пускаясь по временам вприпрыжку. Мы с Талимоном тоже пошли скорее.

— Ах, боже мой, боже ж мой,— растерянно причитал Грицько.— Вот только-только — и часу не будет... Сам пришел под хату к Кузьме Борийчуку, вызвал Кузьму и kaže: «Вяжите меня, бо я свою жинку забил геть до смерти!.. секирой...» Я и Ониську бачил, тату... Ку-у-да!.. Вже и не дышит... Мозги вывалились... Люди говорят, что он фершала с ней застал...

Подходя к деревне, мы еще издали увидели большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайке. Все галдели разом и бестолку. Бабы, подперши ладонью левой руки щеку, а правой поддерживая левую за локоть, стояли сзади мужиков, в этих неизменных позах русского женского горя, и всхлипывали.

При нашем приближении толпа расступилась на обе стороны, образовав род широкой дорожки. В середине круга на деревянном обрубке сидел Александр. Он был без шапки, с бледным, испачканным чем-то темным — может быть даже кровью — лицом. Увидя нас, он поднял голову и вдруг улыбнулся. Странная это была улыбка — мучительная, болезненная, невыносимо тяжелая... Я поспешно прошел мимо, дальше от этой ненавистой мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль...

Уже подходя к своей квартире, я слышал, как сотский безобразно орал пронзительным начальническим фальцетом:

— Ты людей убивать, сукин сын! Я тебе покажу, ирод проклятый. Грицько, бежи за веревками... Я т-тебе покажу-у!..

ОЛЕСЯ

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной маленькой газетке

рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать: «Помогай бог». Когда же я пробовал с ними разговаривать, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и всё порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из «отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, иод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в середине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поделуи. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне этого не полагается... Что у тебя болит?»

— В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть середине, так что даже ни пить, ни есть не могу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она так же вопросом. — Так и печет, и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И, сколько я ни быюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь,— посоветовал мне однажды конторщик из унтеров,— сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной...» Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что, легче?» — «Як будто полегшало...» — «Ну, так и ступай с богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и из всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы,— смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь.— Мне бы только мое фамилие...

— Зачем это тебе? — удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброе; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание

грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч,— ответил Ярмола необыкновенно мягко,— ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход,— такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжелая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц,— этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое, худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола,— «ма». Просто только скажи — «ма»,— приставал я к нему.— Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет... не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрямился он меня.— Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмолу, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его, ввиду облегчения задачи, мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться,— говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, закорючлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл...— досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю...— оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуя глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна, как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу,— говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью,— если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами

ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола,— странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову.— А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола.— Это я вам скажу,— продолжал он с таинственным оттенком в голосе,— это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья, по-вашему?

— А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать,— думал я,— может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю... Может, есть,— ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке.— Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотность, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее

сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодницы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злото не дала...» И что же вы думаете, паньчу: с тех самых пор стало у молодницы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи по-вылазят...

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок, чи из цыганов... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка... Обоих прогнали...

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясца ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я? — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я? — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения, — чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался итти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмолу не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить... — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чашу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты — и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, залихватый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что

этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнался за зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмолу. Он не откликнулся.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые

стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник,— подумал я.— Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно ввиду половодья, затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшие горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали хорошие люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой — неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение безглагольного страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не

заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас по крайней мере можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон, в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, повидимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка... Лево́й ручко́й сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла

рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь, богат будешь...— запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьянни, спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу,— начала она привычной скороговоркой.— Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи ни цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик,— тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола.— Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались,— воскликнула она, громко смеясь,— посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел... Пытает дорогу,— пояснила старуха.— Ну, батюшка,— с решительным видом обернулась она ко мне,— будет тебе прохладиться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

— Послушай, красавица,— сказал я девушке.— Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные,— ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня.— Ну вот, глядите,— сказала она, останавливаясь у плетня.— Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаша свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посередине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне

кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни урядник, ни писарь, ни акцизный, словом — я никакого начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто, приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то,

над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество...

— Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Полазкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора,— с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием.— Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю,— чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь,— и в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе.— А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже. Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако до свидания,— заторопилась она,— не знаю как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут... По-здешнему — Олесья.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили...

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следует вам такими делами заниматься... Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречающих камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было слышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Изпод него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли,— тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий,— поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах,— думал я,— есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня в Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахара.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она

обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилося по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно трясая головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл, — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олеся. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прятки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Лево́й руко́й Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала,— произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите?— кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще...

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес... Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего,— начальства боится... Урядник придет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое

время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколинный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замаялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю... Только не за деньги,—добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет,—тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

— Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя... нельзя...—зашептала она с суеверным страхом.— Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет... Лучше не надо,—сказала она, и ее глаза приняли умоляюще детское выражение.— Пожалуйста, не просите... Нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в

то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу,— согласилась наконец Олеся.— Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уж все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете... Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно,— карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам.— Ну да, вроде моих,— продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться,— серьезно, почти строго, заметила Олеся.— Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит. А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете,— не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю; даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг делается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуса, что Трофим на-днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевелинуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести... Всю ночь его били... Злой у нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколо-

тили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне. — может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся в свою очередь попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Сядя за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью,

громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то прожженная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрелоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченная, — слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборозжденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочинной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет... Не колдунья... — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да, она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать

что-то, облавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет... Пустяки... Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить...

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протя-

нутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею,— самоуверенно заявила Олеся.— Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдут ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто,— усомнился я.— Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну, хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так — смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы,— работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся... будет,— сказал я с деланным смехом.— Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься — тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла...

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако мне пора,—заторопилась Олеся,—бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха попрежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомнен-

ному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее воображение торжествовали над

моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый брльшой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — наивно пристала она ко мне.

— Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народе живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то нехватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, — так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахивалась она. — Ну, к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарокв будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду...

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана ему.

— Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеся опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, — она крепко притиснула руку к

груди,— в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеся доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторрах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену,— Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю,— говорила она, возвышая голос в увлечении спора,— а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из сего черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олеся были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь, как величайшая тайна, из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни

слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч,— говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч... нужно пашню сегодня орать»,—чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила

никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. Повидимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся,— сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет... что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом.— Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет... Так... свои заботы... пустячные...

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да, правда, не стоит и говорить об этом,— с нетерпением возразила Олеся.— Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку,— повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеся. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал,— говорила Мануйлиха,— а потом и пошел, и пошел.

«Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

— Ну вот, вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

— Бабушка, а может-быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история... Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже двадцать пятый год бабушка. Что же, потвоему, с сумой лучше итти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит дело было

слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался итти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врьдник,— проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врьдник приехал,— повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни.— Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарактение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли,— другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтение-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

— Не могу-с. Долг службы...

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребу как детей родных воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право, — с упреком сказал урядник. — Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнул я рукой. — Старка, батюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили, — с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете! — воскликнул в комическом отчаянии урядник. — Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет... Во всяком случае это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня

бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания...) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрепавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, незащищенные женщины...

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как, чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расхोлившегося урядника.

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-

нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович. Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог. — Позвольте-с, да у меня эти люди вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высокоинтересное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке) «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороною дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я. Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штука.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович,— начал я опять умильным тоном.— Конечно, ваши обязанности стожные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко,— небрежно уронил он, не переставая барабанить.— Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное,— похвалил я.— Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Решета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит,— сказал я любезно.— Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье по крайней мере перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался,— гово-

рил он, громко стуча о пол неналежавшими калошами.— Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим... — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович.— Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того... пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович, Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица... — милостиво разрешил урядник.— А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают; — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого, в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и страшно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как

среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмущившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды,— она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, не понятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься,— все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась

тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль,—точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная, ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь прилиwała горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками.

Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал безгласный ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опровергнутого спора...

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами... Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался, или, вернее, не просыпался, а внезапно заставлял себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опалает мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание... Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игрищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие

мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

Х

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилося с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобратся... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни,— никогда, никогда, ни раньше, ни позднее,

я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну, как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и, кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе... Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит, — болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду... провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено... Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олеся за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик... Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю, — так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала — право, даже смешно и вспомнить — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шопотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла... Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь...

Она задохнулась, точно ей нехватало воздуха, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шопот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради бога, не надо... оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пустя меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький,— сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости.— Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану... Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но... не целуй меня больше... Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше... Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет...

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить,— спохватилась вдруг Олеся.— Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

— Нет, нет... Что бы потом ни случилось, я не пожалую. Мне так хорошо...

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О да, непременно... Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было,— сказал я, прикасаясь губами к ее виску.— Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста,— заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестящими в них яркими лунными бликами,— и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходиться каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с бóльшим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мученье и стыд для нервных художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне, как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных,— утешал я себя,— и живут прекрасно, и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький,— сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша.— Заждался, небось? А я на-силу-насилу вырвалась... Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него... Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе...»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый... Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно... кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать... Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если я скажу Олеся о моем отъезде и о женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы ровнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое феральное число, — думал

я несколько минут спустя,— досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет,— говорил я себе,— лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти,— это составит как раз целую минуту,— и тогда, непременно, непременно...»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся.— Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олеся и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издадека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся,— опять начал я,— что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя...

— Нет.. что же... тут и говорить нечего,— отозвалась Олеся, как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко.— Если служба, то, конечно... надо ехать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся... что с тобой? Олеся... милая!..

— Ничего... извините меня... это пройдет. Так... голова закружилась...

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала,— сказал я с упреком.— Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и

начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет... Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты — барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда ступить не знаю... Ты одного стыда из-за меня не оберешься...

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся... Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?... Я никогда не говорила тебе... Ведь у меня отца нет... Я незаконная...

— Перестань, Олеся... Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик... Лучше бы ты вовсе об этом не начал разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь... Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоём счастье думаю. Наконец ты

позабыл про бабушку. Ну, посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покорила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают и покой и уход внимательный...

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой. — А может быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом, вместе с обладанием чародейными силами. В сущности в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристической последних десятилетий. Почем знать? — если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, — весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что бог не примет тебя? — продолжал я с возрастающей горячностью. — Что у него нехватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олеся в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопrotивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои, раскрытые частым дыханием, влажные милые губы...

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку... Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый... какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся... Девочка моя славная, успокойся...

— Послушай, скажи мне, — продолжала она: — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь, пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться наконец. Но женщина... женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — любопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе... Просто спросила... Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь безусловно верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

ХII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник св. троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъ-

ездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сповали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже замечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекрутил на скорую руку в заезжем доме фаршированную еврейской шукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально загрохотали, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо

того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа... В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обседа слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирня
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской божией матери, но бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилось старшему чтену:
Той свичи не брати,
Вывезти ей в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезли ея в чистое поле,
Стали ея рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Стали — геть! — роскидати...

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и

враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тише ты, дурень... Чего орешь! Услышит...

— А что мне, что услышит? — продолжал заодно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей...

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни. Так же горячо палило солнце... Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь... Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева... Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенко. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со

стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться,— любезно тараторил Никита Назарыч.— Очень приятно увидеться... А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская.— Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел,— продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота.— Перебродские дивчата... Нет, ей-богу, не выдержу... Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму... То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, уткнула...

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом.— Да перестаньте же ржать, чорт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я... я... право, не знаю-с,— растерянно залепетал он.— Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... Позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого

проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы дотянуть до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озирающуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расхажившей толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся, в припадке злобы, ужаса и отчаяния, бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали... Отбежав шагов на пять-

десят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня нехватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздal лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное,— сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вйско турецкое,
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел

его в поводу. От **сильного** дневного жара и от **быстрой** езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, **что** Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во **рту** похолодело **от** страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной **в** подушки. Она **даже** не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный,— с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — **Что? Доигрался, голубчик?**

— Послушай, бабка,— возразил я сурово,— теперь не время считаться и выговаривать. **Что с Олесей?**

— Тсс... тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей... Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала... А ведь чуяло мое сердце беду... Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чужь не силою к нам в хату ворвался. **Что? Скажешь, это не ты се подбил в церковь потащиться? —** вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха.— Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! **Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?**

— Не манил я ее, бабка... Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха.— Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана... Простоволосая... Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет... Ну, прямо вот, как кликуша какая... Легла в постель... все плакала, а потом, гляжу, как будто **бы** и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все спомойдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекст рука-то... Тронула я ее, потянушку, за руку, а она вся так жаром и пышет... **Значит, огневица с ней началась...** С час безумолку говорила, **быстро** да жалостно так... **Вот** только-только замолчала

на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завывала нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне; то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая,— грубо прервал я Мануйлиху.— Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол... Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха.

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси.— Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завывала:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне ста-а-арой, тошно мне-е-е-е...

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся.— Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и свсей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся,— сказал я, понижая голос.— Я только что приехал верхом из деревни... А все утро я в городе был... Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое выше локтя — резко выделялись на белой, нежной коже.

— Голубчик мой,— заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого.— Хочется мне... на

тебя посмотреть... да не могу я... Всю меня... изуродовали... Помнишь... тебе... мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась... А теперь тебе противно будет... смотреть на меня... Ну, вот... я... и не хочу...

— Олесья, прости меня,— шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом. Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая... Ну, чего я полезла... в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать...

— Олесья, позволь мне... Только обещай сначала, что позволишь...

— Обещаю, голубчик... все, что ты хочешь...

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором... Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласишься, Олесья.

— Ох, милый... В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось... Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь...

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь,— умоляюще шептала Олесья, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к олесяной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня

с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шопотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы... я бы...

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой... Да перестань же, перестань... Не мучь себя, голубчик... Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Надо нам проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше...

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь... Ведь я там... в Перебрوده... погрозила со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут; скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внучечка? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Перебрوده ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, все на нас, горемычных, свалят... Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики... А тогда, как меня из села выгнали... Что ж?.. Разве не так же было? Погрози-лась я... тоже вот с досады... одной дурище полосатой, а у нее — хват, ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, ока-янные... Камнями стали шибать... Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет... Наконец и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копсечки сиротские, слезами облитые...

— Олеся... А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, нсдобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь ли... не судьба нам вместе быть... вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья... А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить... и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет.. не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик.

Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олеся, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет... нет... нет... я знаю, я вижу,— твердила она настойчиво.— Ничего нам, кроме горя, не будет... ничего... ничего...

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я, наконец, спросил:

— Но ведь во всяком случае ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку... Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься,— говорит волк,— сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами. «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай...— произнесла она с расстановкой.— Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди... Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоём присутствии, но, даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом,— сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее.— Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело... Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой... Поезжай домой, голубчик... Устала я немножко. Подожди... поцелуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует,— недовольно проворчала старуха.— Чего же передо мной таиться-то?.. Давно знаю...

— Поцелуй меня сюда, и сюда еще... и сюда,— говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поезжай с богом. Нет, стой... еще минуточку... Наклони ко мне ухо... Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке.— О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смещении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе,— сказала она убедительным тоном.— А чего доброго даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накапливавшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти непрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града... Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставень уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Папыч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Папыч, треба вам отсюда уезжать...

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил,— огрызнулся Ярмола.— Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито как ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира... Наслала-таки шкodu ведьмака чортова... чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесея, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется,— продолжал Ярмола.— С утра все опять перепились и орут... И про вас, панычу, кричат недоброе... А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, панычу, я скажу одно — утскайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу да в углу стоял деревянный остов кровати...

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов»,— единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

НОЧНАЯ СМЕНА

В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю перекличку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже.

Дневальный — Лука Меркулов — только что «заступил на смену». До двух часов пополуночи он должен не спать, ходить по казарме в шинели, в шапке и со штыком на боку и следить за порядком: за тем, чтобы не было покраж, чтобы люди не выбегали на двор раздетыми, чтобы в помещение не проникали посторонние лица. В случае посещения начальства он обязан рапортовать о благополучии и о всем происшедшем.

Меркулов дневалит не в очередь, а в наказание — за то, что в прошедший понедельник, во время подготовительных к стрельбе упражнений, его скатанная шинель была обвязана не ремненным трынчиком, который у него украли, а веревочкой. Дневалит он через день вот уже третий раз, и все ему достаются самые тяжелые ночные часы.

Меркулов плохой фронтовик. Нельзя сказать, чтобы он был ленив и нестарателен. Просто ему не дается сложное искусство чисто делать ружейные приемы, вытягивать при маршировке вниз носок ноги, «подаваясь всем корпусом вперед», и в должной степени «затаивать дыхание в момент спуска ударника» при стрельбе. Тем не менее он известен за солдата серьезного и обстоятельного; в

одежде наблюдает опрятность; сквернословит сравнительно мало; водку пьет только казенную, какую дают по большим праздникам, а в свободное время медленно и добросовестно тачает сапоги,— не более пары в месяц, но зато какие сапоги! — огромные, тяжеловесные, не знающие износа,— меркуловские сапоги.

Лицо у него шершавое, серое, в один тон с шинелью, с оттенком той грязной бледности, которую придает простым лицам воздух казарм, тюрем и госпиталей. Странное и какое-то неуместное впечатление производят на меркуловском лице выпуклые глаза удивительно нежного и чистого цвета — добрые, детские и до того ясные, что они кажутся сияющими. Губы у Меркулова простодушные, толстые, особенно верхняя, над которой точно прилизан редкий бурый пушок.

В казарме гомон. Четыре длинных сквозных комнаты еле освещены коптящим красноватым светом четырех жестяных ночников, висящих в каждом взводе у стены ручкой на гвоздике. Посередине комнат тянутся в два ряда сплошные нары, покрытые сверху сенниками. Стены выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной краской. Вдоль стен стоят в длинных деревянных стойках красивыми, стройными рядами ружья; над ними висят в рамках олеографии и гравюры, изображающие в грубом, наглядном виде всю солдатскую науку.

Меркулов медленно ходит из взвода в взвод. Ему скучно, хочется спать, и он чувствует зависть ко всем этим людям, которые копошатся, галдят и хохочут в тяжелой мгле казармы. У всех у них впереди так много часов сна, что они не боятся отнять у него несколько минут. Но всего томительнее, всего неприятнее сознание, что через полчаса вся рота замолкнет, уснет, и только Меркулов остается бодрствовать — тоскующий и забытый, одинокий среди ста человек, перенесенных какою-то нездешней, таинственной силой в неведомый мир.

Во втором взводе тесно сбились в кучу около десяти или двенадцати солдатиков. Они так близко расселись и разлеглись друг возле друга на нарах, что сразу не разберешь, к каким головам и спинам принадлежат какие руки и ноги. В двух-трех местах то и дело вспыхивают красные огоньки «цыгарок». В самой середине сидит, поджав под себя ноги, старый солдат Замошников,— «дядька

Замошников», как его называет вся рота. Замошников — **маленький**, худой, подвижной солдатик, общий любимец, **запевала** и добровольный увеселитель. Мерно покачиваясь **взад и вперед** и потирая колени ладонями, он рассказывает сказку, держась все время пониженного, медленного и как будто бы недоумевающего тона. Его слушают в сосредоточенном молчании. Изредка один из присутствующих, захваченный интересом рассказа, вдруг вставит, не вытерпев, торопливое, восхищенно-ругательное восклицание.

Меркулов останавливается подле кучки и равнодушно прислушивается.

— И посылает этта ему турецкий салтан большущую бочку мака и пишет ему письмо: «Ваше принасхадительство, славный и храбрый генерал Скобелев! Даю я тебе три дня и три ночи строку, чтобы ты пересчитал весь этот мак до единого зерна. И сколько, значит, ты зерен насчитаешь, столько у меня в моем войске есть солдатов». Прочитал генерал Скобелев салтаново письмо и вовсе даже от этого не испужался, а только, наоборот, посылает обратно турецкому салтану горсточку стручкового перцу. «У меня, говорит, солдатов куда против твоего меньше, всего-навсего одна малая горстка, а нука-ся, попробуй-ка,— раскуси!...»

— Ловко повернул! — одобряет голос за спиной Замошникова.

Другие слушатели сдержанно смеются.

— Да... На-ка, говорит, раскуси, попробуй! — повторяет Замошников, жалея расстаться с выигрышным местом. — Салтан-то ему, значит, бочку мака, а он ему горсть перцу: «На-ка-сь, говорит, выкуси!» Это Скобелев-то наш, салтану-то турецкому. «У меня, говорит, солдатов всего одна горсточка, а попробуй-ка, поди-ка, раскуси!...»

— Вся, что ли, сказка-то, дядька Замошников? — робко спрашивает какой-то нетерпеливый слушатель.

— А ты... погоди, братец мой, — досадливо замечает ему Замошников. — Ты не подталдыкивай... Сказку сказывать — это, брат, тоже не блох ловить... Да... — Затем, помолчав немного и успокоившись, он продолжает сказку: — Да... «Хоть и малая, говорит, горсточка, а поди-ка, раскуси!...» Прочитал турецкий салтан скобелевское письмо и опять ему пишет: «Убери ты, подобру-поздорову, свое

храброе войско из моей турецкой земли... А ежели ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ: «Великий и славный турецкий салтан, как это смеешь ты, турецкая твоя морда, мне такие слова писать? Нашел чем тращать: «По чарке водки дам!» А я вот своим солдатикам три дня лопать ничего не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском живьем сожрут и назад не вернут, так ты без вести и пропадешь, собачья образина, свиное твое ухо!..» Как услышал эти слова турецкий салтан, сильно он, братцы мои, в ту пору испужался и сейчас подался на замирение. «Ну, говорит, тебя совсем к богу и с войском с твоим. Вот тебе мельонт рублей денег, и отвяжись ты от меня, пожалуйста...»

Замошников молчит с минуту и потом добавляет коротко:

— Вся сказка, ребята.

Слушатели оживляются, и кучка начинает шевелиться. Со всех сторон раздается одобрительная ругань.

— Важно он яво, братцы!..

— Нда-а, саданул... нечего сказать...

— На что лучше... Я, грит, своим солдатам три дни есть не дам, так они тебя, мерзавца, живьем слопают. Как он ему сказал, дядька Замошников? А, дядька Замошников?

Замошников повторяет ту же самую фразу слово в слово.

— Куда ж против наших! — подхватывают хвастливые голоса.

— Ку-у-да-а!.. Против ружьих-то!

— Ежели против наших, так это еще, брат, погодить надоть.

— Да еще и как погодить-то... Это такое дело, что надо благословимшись да каши сперва поемши.

Замошников в это время тянется к огоньку цыгарки, то вспыхивающему, то погасающему подле него, и говорит небрежно:

— Дай-ка-сь, братец, потянуть разочек. Что-й-то смерть покурить хочца.

Он несколько раз подряд торопливо и глубоко затяги-

вается, пуская дым из носа двумя прямыми, сильными струями. Лицо его, особенно подбородок и губы, попеременно то озаряются красным блеском, то мгновенно тухнут, пропадают в темноте. Чья-то рука протягивается к его рту за цыгаркой, и чей-то голос просит:

— А ну-ка, дядька Замошников, оставь, я покурю немножко.

— Кто покурить, а кто и поплюить,— отрезает Замошников.

Солдаты смеются: «Уж этот Замошников... всегда такое ввернет!..» Поощренный Замошников продолжает шутить:

— Знаешь, брат, как нонче курят? Табачок ваш, бумажку дашь, вот и покурим.

Однако он тут же сует в протянутую руку окуроч, сплевывает на сторону, перегнувшись через чью-то спину, и говорит:

— А вот тоже, ребята, знаю я еще одну историю. Может, кто слышал из вас? Про то, как солдат прицепил себе железные когти и лазил к царевне на башню? Если знаете, так я лучше и рассказывать не буду.

— Не знаем... Нет, нет... Валяй, дядька Замошников. Никто не слышал.

— Начинается это так, что жил-был на свете солдат Яшка, Медная пряжка. И был, братцы мои, этот солдат удивительный человек на свете...

Меркулов вяло отходит прочь. В другое время он сам с живым удовольствием слушал бы сказки Замошникова, но теперь ему даже кажется странным, как это другие могут слушать с таким интересом вещи незанимательные, скучные и, главное, заведомо вымышленные.

«Ишь, черти, и ко сну их не манит,— злобно думает Меркулов.— Будут себе целую ночь дрыхнуть...»

Он подходит к окну. Стекла изнутри запотели, и по ним то и дело быстро и извилисто сбегает капли. Меркулов протирает рукавом шинели стекло, прижимается к нему лбом и загоразживает глаза с обеих сторон ладонями, чтобы не мешало отражение ночника. На дворе осенняя, дождливая, черная ночь. Свет, падающий из окна, лежит на земле косым, вытянутым четырехугольником, и видно, как в этой светлой полосе морщится и рябится от дождя большая лужа. Далеко впереди и внизу, точно на

краю света, чуть-чуть блестят огни местечка. Больше ничего не различает глаз в темноте ненастной ночи.

Постояв немного у окна, Меркулов идет дальше, в четвертый взвод, обходит его и медленно бредет по другой стороне казармы, вдоль окон. На самом конце нар, по бокам угла, уселись, спустив ноги, двое солдат — Панчук и Коваль. Между ними стоит маленький деревянный сундучок с замком на кольцах. На сундуке лежит цельный хлеб, накроенный толстыми ломтями во всю длину, пяток луковиц, кусок свиного сала и крупная серая соль в чистой тряпке. Панчук и Коваль связаны между собою, странной, молчаливой дружбой, основанной на необычайном обжорстве. Им нехватает казенного хлеба по три фунта на человека; они прикупают его каждый день у товарищей и всегда поедают его вместе, обыкновенно вечером, не обмениваясь при этом ни единым словом. Оба они из зажиточных семейств и ежемесячно получают из дому по рублю и даже по два...

Каждый из них поочередно узким ножиком, источенным до того, что его острие даже вогнулось внутрь, отрезает несколько тонких, как папиросная бумага, кусочков сала и аккуратно распластывает их между двумя ломтями хлеба, круто посоленными с обеих сторон. Потом они начинают молча и медленно поедать эти огромные бутерброды, лениво болтая спущенными вниз ногами.

Меркулов останавливается против них и тупо смотрит, как они едят. Вид сала вызывает у него под языком острую слюну, но просить он не решается: все равно ему ответят отказом и хлесткой насмешкой. Однако он все-таки произносит срывающимся голосом, в котором слышится почти просьба:

— Хлеб да соль, ребята.

— Ем, да свой, а ты рядом постой,— отвечает совершенно серьезно Коваль и, не глядя на Меркулова, обчищает ножом от коричневой шелухи луковицу, режет ее на четыре части, обмакивает одну четверть в соль и жует ее с сочным хрустением. Панчук ничего не говорит, но смотрит прямо в лицо Меркулову тупыми, сонными, неподвижными глазами. Он громко чавкает, и на его массивных скулах, под обтягивающей их кожей, напрягаются и ходят связки челюстных мускулов.

Несколько минут все трое молчат. Наконец Панчук

с трудом проглатывает большой кусок и сдавленным голо-
сом равнодушно спрашивает:

— Что, брат, дневалишь?

Он и без того отлично знает, что Меркулов дневалит, и предложил этот вопрос ни с того ни с сего, без всякого интереса; просто так себе, спросилось. И Меркулов так же равнодушно испускает, вместо ответа, длинное ругательство, неизвестно кому адресованное: двум ли солдатам, которые имеют возможность объедаться хлебом с салом, или начальству, заставившему Меркулова не в очередь дневалить.

Он отходит от приятелей, продолжающих свою молчаливую, медленную еду, и бредет дальше. Сырая казарма быстро нагревается человеческим дыханием: Меркулову даже становится жарко в его шинели. Несколько раз кряду он обходит все взводы, со скукой прислушиваясь к разговору, громкому смеху, руготне и пению, долго не смолкающим в роте. Ничего его не смешит и не занимает, но в душе ему сильно хочется, чтобы еще долго, долго, хоть всю ночь, не затихал этот шум, чтобы только ему, Меркулову, не оставаться одному в мутной тишине спящей казармы.

В конце первого взвода стоит отдельная нара унтер-офицера Евдокима Ивановича Нога, ближайшего начальника Меркулова. Евдоким Иванович — большой франт, бабник, говорун и человек зажиточный. Его нара поверх сеника покрыта толстым ватным одеялом, сшитым из множества разноцветных квадратиков и треугольников; в головах к деревянной спинке прилеплено хлебом маленькое, круглое, треснутое посередине зеркальце в жестяной оправе.

Евдоким Иванович без мундира и босой лежит сверх своего великолепного одеяла на спине, заложив за голову руки и задрав кверху ноги, из которых одна упирается пяткой в стену, а другая через нее перекинута. Из угла рта торчит у него камышовый мундштук со вставленной в него дымящейся «кручонкой». Перед унтер-офицером в понурой, печальной и покорной позе большой обезьяны стоит рядовой его взвода Шангирей Камафутдинов — бледный, грязный, глуповатый татарин, не выучивший за три года своей службы почти ни одного русского слова,—

посмешище всей роты, ужас и позор инспекторских смотров.

Ноге не спится, и, пользуясь минутой, он «репетит» с Камафутдиновым «словесность». У татарина от умственного напряжения виски и конец носа покрылись мелкими каплями пота. Время от времени он вытаскивает из кармана грязную ветошку и сильно трет ею свои зараженные трахомой, воспаленные, распухшие, гноящиеся глаза.

— Идиот турецкий! Морда! Что я тебя спрашиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю, идол? — кипятится Нога.

Камафутдинов молчит.

— Эфиоп неумытый! Как твоё ружьё называется? Говори, как твоё ружьё называется, скотина казанская!

Камафутдинов трет свои больные глаза, переминается с ноги на ногу, но продолжает молчать.

— Ах, ты!.. Нет с тобой никакой моей возможности! Ну, повторяй за мной... — И Нога произносит, громко отчеканивая каждый слог: — Ма-ло-ка-ли-бер-на-я, скоро-стрель-на-я...

— Малякарли... карасты... — испуганно и торопливо повторяет Камафутдинов.

— Дура! Не спеши... Еще раз: малокалиберная, скорострельная...

— Малякяли... скарлястиль...

— У-у! Образина татарская! — И Нога делает на него злобно искаженную физиономию. — Ну, чорт с тобой... Дальше повторяй: пехотная винтовка...

— Пихоть бинтофк...

— Со скользящим затвором...

— Заскальзяситвором...

— Системы Бердана, номер второй...

— Ссем бирдан, номер тарой.

— Так... Ну, катый сначала.

Татарин вяло мнетя и опять лезет в карман за тряпкой.

— Ну же! Чорт!

— К... к... кали... калибри... заскальзи... — Камафутдинов наугад подбирает первые попадающиеся ему звуки.

— Заскальзи-и! — перебивает его унтер-офицер. — Сам ты — заскальзи. Вставить мне только не хочется, а то бы я тебе выутюжил морду-то! Весь фасон ты у меня во взводе нарушаешь!.. Ты думаешь, с меня из-за тебя не

зиськуется? Строго, брат, зиськуется... Ну, повторй опять: малокалиберная, скорострельная...

В конце первого взвода, близ железной печки, разлеглись на нарах головами друг к другу трое старых солдат и поют вполголоса, но с большим чувством и с видимым удовольствием вольную, «свою», деревенскую песню. Первый голос высоким, нежным фальцетом выводит грустную мелодию, небрежно выговаривая слова и вставляя в них для певучести лишние гласные. Другой певец старательно и бережно вторит ему в терцию сиплым, но приятным и сочным тенорком, немного в нос. Третий поет в октаву с первым глухим и невыразительным голосом; в иных местах он нарочно молчит, пропускает два такта и вдруг сразу подхватывает и догоняет товарищей в своеобразной фуге.

Прощай, радость моя и покой,—
Слышу, уезжает от меня милой.
Ах, намы должно
С та-або-ой...—

согласно и красиво вытягивают первые голоса, а третий, отставший от них после слова «должно», вдруг присоединяется к ним решительным, крепким подхватом:

С тобой расстаться.

И затем все трое поют вместе:

Тебя мне больше не видеть,
Темною ночью вместе не гулять.

Закончив куплет, голос, певший мелодию, вдруг берет страшно высокую ноту и долго-долго тянет ее, широко раскрыв при этом рот, зажмурив глаза и наморщив от усилия нос. Потом, сразу оборвав, точно отбросив эту ноту, он делает маленькую паузу, откашливается и начинает снова:

Ахы, темною ночью
Мне-е не сыпится,
Сама я не знаю по-оче-ему...

— Сударь, почему! — ввертывает вдруг третий уверенным речитативом, и опять все втроем продолжают:

Ах, буду помнить я
Твои ласковые взоры,
Ваш веселый разговор...

Песня эта знакома Меркулову еще с деревни, и поэтому он слушает ее очень внимательно. Ему кажется, что хорошо было бы теперь лежать раздетым, укрывшись с головой шинелью, и думать про деревню и про своих, думать до тех пор, пока сон тихо и ласково не заведет ему глаз.

Певцы вдруг замолкают. Меркулов долго дожидается, чтобы они опять запели; ему нравится неопределенная грусть и жалость к самому себе, которую всегда вызывают в нем печальные мотивы. Но солдаты лежат молча на животах, головами друг к другу: должно быть, заунывная песня и на них наваяла молчаливую тоску. Меркулов глубоко вздыхает, долго скребет под шинелью зачесавшуюся грудь, сделав при этом страдальческое лицо, и медленно отходит от певцов.

Казарма затихает постепенно. Только во втором взводе слышатся то и дело взрывы буйного хохота. Замошников уже окончил историю про солдата с железными когтями и теперь начинает «приставлять». Он сам — и актер и импровизатор. Его любимый номер, который он сейчас и разыгрывает, — это полковой смотр, производимый строгим генералом Замошниковым. Здесь он является поочередно и толстым генералом с одышкой, и полковым командиром, и штабс-капитаном Глазуновым, и фельдфебелем Тарасом Гавриловичем, и старухой хохлушкой, которая только что пришла из деревни и «восемнадцать лит москалив не бачила», и кривоногим, косым рядовым Твердохлебом, и плачущим ребенком, и сердитой барыней с собачкой, и татаринном Камафутдиновым и целым батальоном солдат, и музыкой, и полковым врачом. Наверно, каждый из слушателей не менее десяти раз присутствовал на «приставленьях» Замошникова, но интерес вовсе не ослабевает от этого, тем более что Замошников всегда наново украшивает свои диалоги бойкими рифмами и то и дело загибает поговорки, одна другой неожиданней и непристойней... Замошников ведет сцену, стоя в проходе между нарами и окном, зрители расселись и разлеглись на нарах.

— Муз-зыканты, по места-а-ам! — командует Замошников хриплым, нарочно задушенным голосом, преувеличенно разевая рот и тряся закинутой назад головой: он, конечно, боится кричать громко и этими приемами изображает до известной степени оглушительность команды

полкового командира.— По-олк! Слуша-а-ай! На кра-у-у-ул! Музыка, играй... Трам, папим, тати-ра-рам...

Замошников трубит марш, раздувая щеки и хлопая себя по ним ладонями, как по барабану. Затем он говорит бойкой скороговоркой:

— Вот едет на белом коне храбрый генерал Замошников. Смотрит соколом, грудь колесом. Весь мундир в орденах, посмотришь — прямо тебе беретъ страх. «Здорово, молодцы, славные пижнеломовцы!» — «Здра-жела-вассс!» — «Молодцы, ребята!» — «Ради стараться, вассс!..» Сейчас полковой к нему с рапортом: «Вашему принаследительству, славному и храброму генералу Замошникову имею часть лепортовать... В Нижнеломовском развеселом полке все обстоит благополучно. По списку солдатов целая тыща. Сто человек в лазарете валяется, сто по кабакам шатается, да сто в бегах обретається. Пятьдесят под забором лежат, пятьдесят под арестом сидят, а пятьдесят пьяные — на ногах не стоят... Двести по миру пошли побираться, а другие и совсем никуда не годятся. Не стрижены, не бриты, морды у них не умыты, под глазами синяки подбиты. Целый год ничего не ели, не пили, а только все по девкам ходили. Нет нашего полка на свете веселее!» — «Молодцы, ребята, спасибо, красавцы!» — «Ради стараться, вассс...» — «Претензий не имеете?» — «Никак нет, вассс...» — «Хлеба много едите?» — «Точно так, вассс... очинно много: как едим, так за ушами трещить, а съедем, так в брюхе пишшить». — «Молодцы, братцы. Так и надоть. Пой песни, хоть тресни, гляди орлом, а есть не проси. Выдать каждому солдатику по манерке водки, да по фунту табаку, да деньгами полтинник». — «Покорнейше благодарим, вассс...»

А тут с'час полковой вперед выезжает. «По цирку-риальному маршу, поротно, на двухвзводную дистанцию... Первая рота шагом!» Музыка. Ту-ру-рум ту-рум... Идут — ать, два! ать, два... Левой!.. Левой!.. Вдруг: «Сто-ой! На-за-ад! Отстави-ить!» — «Что т-такое за история?» — «Это у вас какая рота, полковник?» — «Восьмая нарезная, вассс...» — «А это что за морда кривая стоит в строю?» — «Рядовой Твердохлеб, вассс...» — «Прогнать со смотра и высыпать пятьдесят...»

Солдаты хохочут, и всех громче рядовой Твердохлеб, которого со всех сторон толкают под бока локтями. Даль-

ше обыкновенно следует **рассказ** о том, как после смотра генерал Замошников **обедает у** полкового командира.

— «Вам борщу **или супу**, вассс?..» — «Мне бы того и другого... поболее...» — «**А** водочки, вассс?» — «Гм... можно и водочки... **стаканчик**». Затем идет изысканный разговор с полковничьей дочкой: «Барышня, угостите поцелуйчиком». — «Ах, что вы-с... нешто это можно при папашах?.. Они увидают...» — «Нельзя, значит?» — «Аххх... никак невозможно». — «В таком разе предположите ручку». — «Ручку извольте...»

Но Замошников не успевает закончить «приставленья». Внезапно растворяется дверь казармы, и в просвете показывается фигура фельдфебеля Тараса Гавриловича, в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и в очках.

— Чего вы гогочете, словно жеребцы на овес? — раздается его сердитый старческий окрик. — Когда вы утихомиритесь?! Вот я вас всех сейчас по мордам расскасирую. Ну!.. Живо расходись!..

Солдаты медленно, неохотно расходятся по своим местам. Необыкновенно быстро, в каких-нибудь пять минут, казарма совсем стихает. Где-то среди нар слышится торопливый шопот молитвы: «Господи, Сусе Христе... Сыне божий, помилуй нас... Пресвятая троица, помилуй нас». Где-то звучно падают один за другим на асфальтовый пол сброшенные с ног сапоги. Кто-то кашляет глухо, с надеждой, по-овечьи... Жизнь **сразу прекратилась**.

Меркулов продолжает **ходить по казарме**. Он идет вдоль стены, машинально обдирая ногтем большого пальца масляную краску. Солдаты лежат на нарах, покрытые сверху серыми шинелями, тесно прижавшись друг к другу. При тусклом, коптящем свете ночников очертания спящих фигур теряют резкость, сливаются, и кажется, будто это лежат не люди, а серые, однообразные и неподвижные вороха шинелей.

От нечего делать Меркулов присматривается к спящим. Один лежит на спине, подняв и согнув под острым углом ноги; он полураскрыл рот и дышит глубоко и ровно; с лица его не сходит спокойное, глупое выражение. Другой спит **на животе**, уткнувшись головой в сгиб левой руки, между **тем** как правая протянута вдоль тела и выворочена ладонью наружу. Голые ноги высунулись из-под короткой шинели; икры на них напружились, а концы пальцев

сведены, как в судороге. Вот скорчился солдат Естифеев, земляк Меркулова и сосед его по строю. Кажется, нарочно не примешь такой неестественной позы: голова глубоко засунута под кумачовую засаленную подушку, ноги прижаты чуть не к самому подбородку. Должно быть, кровь прилила Естифееву к голове, потому что из-под подушки раздаются медленные, мучительные стоны.

Меркулову жутко и тягостно. Всего несколько минут назад все эти сто человек ходили, смеялись, разговаривали, бранились... и вот они, все до одного, лежат неподвижные, стонущие и храпящие, объятые и унесенные какой-то *другой*, непонятной, таинственной жизнью. Для каждого из них уже нет более ни военной службы с ее тягостями и напускным весельем, ни скучного мрака казармы, ни соседа, беспокойно мечущегося у него на груди головой, ни одиноко бродящего со своей тоской Меркулова. И темный ужас заползает понемногу в сердце Меркулова, съезживает кожу на его черепе и волной холодных мурашек бежит по его спине.

Он останавливается против часов, висящих в третьем взводе под ночником, и долго, пристально смотрит на них. Меркулов плохо разбирает время, но он знает (это ему терпеливо и пространно объяснял сегодня дежурный), что когда большая стрелка станет прямо вверх, а маленькая почти перпендикулярно к ней вправо, то тогда надо ему сменяться. Это обыкновенные двухрублевые часы с белым квадратным циферблатом, разрисованным по углам розанами, с медными гирьками, к одной из которых подвязаны веревкой камень и железный болт, с избитым от времени, точно изжеванным, медным маятником.

— Ти-та, ти-та... — отсчитывает среди тишины маятник, и Меркулов внимательно прислушивается к его ходу. Первый удар слабее и чище, а второй звучит глухо и выбивается с трудом, как будто бы его что-то задерживает внутри, и слышно, как между обоими ударами в середине часов передергивается какая-то цепочка. Ти-к-та, ти-к-та... И Меркулов шепчет вслед за ходом часов: «Тягота, тягота...» Странная духовная связь есть между этими часами и ночным бодрствованием Меркулова: точно оба они — одни в казарме — осуждены какой-то жестокой силой тоскливо отсчитывать секунды и томиться долгим одиночеством. «Тягота, тягота» — монотонно и устало шепчет

маятник. В казарме скучно и жутко, ночники еле светят, в углах громоздятся безобразные тени, и Меркулов сонно шепчет вместе с маятником: «Тя-го-та».

Потом он идет в дальний угол первого взвода и садится между печкой и ружейной пирамидой на высоком табурете с залосненным и почерневшим от времени сиденьем. От железной печки идет легкое тепло вместе с запахом угара. Меркулов глубоко засовывает руки в рукава и задумывается.

Вспоминается ему письмо, полученное третьего дня «с родины». Это письмо читали ему вслух: сначала взводный унтер-офицер, потом ротный писарь, потом все грамотные земляки, так что текст письма Меркулов успел выучить наизусть и даже подсказывал чтецам неразборчивые места.

«Письмо солдатское, пехотное, очень нужное. Письмо пущено с родины 20-го сентября настоящего года. Село Мокрые Верхы, от отца вашего.

Любезный сынок наш Лука Моисеевич!

Во первых строках сего письма посылаем тебе родительское наше благословение и желаем от господа бога скорого и счастливого успеха в делах ваших и уведомляем вас, что мы с матушкой вашей Лукерьей Трофимовной, слава богу, живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяется вам любящая супруга Татьяна Ивановна и посылает свое искренно любящее супружеское почтение, с любовью низкий поклон и желает вам от бога всего хорошего. Еще кланяется тебе любезный тестечик твой Иван Федосеевич с супругой и с детками и желает вам успеха в делах ваших. Еще кланяется вам братец ваш Николай Моисеевич с супругой и с детками и с низким поклоном желает вам от бога всего хорошего.

А у нас все, слава богу, благополучно, чего и тебе от всей души желаем. В деревне у нас все по-старому. На пречистую сгорел у нас Николай Иванов с большой дороги. Беспременно не кто, как Матюшка спалил; так и урядник сказал. Милый Лукаша, прошу я тебя, пропиши пояснее, я в вашем письме ничего не понял, потому что плохо писано, никто не может прочитать, и пропиши, кто ее писал и кто писал адрес, нельзя понять, чья это рука писала, но приблизительно вы пишете такую чушь, что не можно и верить такой ерунде. За сим остаюсь любя-

щий отец М. Меркулов, а за него, безграмотного, расписался Ананий Климов».

— Ах, беда, беда,— шепчет Меркулов и при этом качает головой и горестно прищелкивает языком. Думает он о том, что еще два года с лишком осталось ему «сполнять долг отечества», о том, как трудно и тяжело жить на чужой стороне, думает и о своей жене Татьяне Ивановне. «Бабочка она молодая, веселая, балованная. Тоже, поди, нелегко жить четыре-то года без мужа, в чужой семье... Солдатка... Известно, какие они, солдатики-то эти самые... Вот поручик Забиякин всегда смеются... «Ты женатый?» — спросит, «Точно так, вашбродь, женатый». — «Ну, так погоди, погоди, говорит, воротись-ся со службы — в доме новые работники придут». Гм!.. Хорошо ему смеяться. Толстый да гладкий... Встал утречком — чайку с булочкой напился... денщик ему сапожки чистые подал. Вышел на учење — знай себе папиросочки попаливает. А ты вот сиди целую ночь... Эх, беда, беда, беда-а-а,— шепчет Меркулов, оканчивая последнее слово длинным, глубоким зевком, от которого у него даже слезы выступают на глазах.

Никогда еще Меркулов не чувствовал себя таким покинутым, затерянным, жалким... Хочется ему поговорить с каким-нибудь добрым и молчаливым человеком, объяснить ему жалостными словами все свои горести и заботы, и чтобы этот добрый и молчаливый человек слушал внимательно, все бы понимал и всему сочувствовал... Да где ж его найдешь, этого человека? Каждому до себя, до своей заботушки. «Горько, братец мой», — думает, покачивая головой, Меркулов и вслед за тем произносит вслух, протяжным, певучим голосом: «О-ох и го-о-орько...»

И вот понемножку, вполголоса, Меркулов начинает напевать. Сначала в его песне почти нет слов. Выходит что-то заунывное, печальное и бестолковое, но размягчающее и приятно шевелящее душу: «Э-э-а-ах ты-ы, да э-э-ох го-о-орько-о...» Потом начинают подбираться и слова — все такие хорошие, трогательные слова:

О-ох, да ты моя матушка,

Э-ох, да ты моя родименька-я-а...

Тут Меркулов окончательно проникается глубокой жалостью к бедному, забытому солдату Луке Меркулову. Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить,

взводный его ругает, отделенный ругает,— иной раз и кулаком ткнет в зубы,— ученье тяжелое, трудное... Долго ли заболеть, руку ли, ногу сломать, от глазной болезни ослепнуть,— вон у половины роты глаза гноятся? А то, может, и умереть на чужой стороне придется... Что-то горестное подступает Меркулову к самой глотке, что-то начинает слегка пощипывать ему веки, а в груди под ложечкой он ощущает прилив искусственной, замирающей, томной, сладковатой тоски. И еще больше трогают его печальные слова импровизированной песни, еще нежнее и прекраснее кажется ему свой собственный мотив:

Ох ты, моя мамынька,
Положи ж ты мне во гроб-дл,
Положи во сосновый да во гроб,
Во сосновый гроб, да во осиновый...

Воздух в казарме сгустился и стал невыносимо тяжел. Точно в бане, сквозь завесу пара, слабыми, расплывчатыми пятнами светят ночники, у которых стекла почернели сверху от копоти. Меркулов сидит, сгорбившись, переплетя ноги за табуретную перекладину и глубоко вдвинув руки в рукава шинели. Тесно, жарко и неловко ему в шинели,— воротник трет затылок, крючки давят горло, и спать ему хочется страшно. Веки у него точно распухли и зудят, в ушах стоит какой-то глухой, непрерывный шум, а где-то внутри, не то в груди, не то в животе, все не проходит тягучая, приторная физическая истома. Меркулов не хочет поддаваться сну, но временами что-то мягкое и властное приятно сжимает его голову; тогда веки вдруг задрожат и сомкнутся с усталой резью, приторная истома сразу пропадает, и уже нет больше ни казармы, ни длинной ночи, и на несколько секунд Меркулову легко и покойно до блаженства. Он сам не замечает в это время, что голова его короткими, внезапными толчками падает все ниже и ниже, и вдруг... сильно качнувшись всем телом вперед, он с испугом открывает глаза, выпрямляется, встряхивает головой, и опять вступает ему в грудь приторная, сосущая истома бессонья.

А память Меркулова в эти короткие секунды неожиданной полудремоты все не может оторваться от деревни, и приятно ему и занимательно, что о чем бы он ни вспомнил, так сейчас же это и видит перед глазами,— так ярко,

отчетливо и красиво видит, как никогда не увидишь наяву. Вот его старый белый, весь усеянный «гречкой» мерин. Стоит он на зеленом выгоне со своими согнутыми передними ногами, с торчащими костяшками на крестце, с выступающими резко на боках ребрами. Голова его уныло и неподвижно опущена вниз, дряблая нижняя губа, с редкими, прямыми и длинными волосами, отвисла, глаза, цвета линиялой бирюзы, с белыми ресницами, смотрят тупо и удивленно.

А тут, сейчас же за выгоном, идет проезжая широкая дорога. И кажется Меркулову, что теперь теплый вечер ранней весны и что вся дорога, черная от грязи, изборождена следами копыт, а в глубоких колеях стоит вода, розовая и янтарная от вечерней зари. Пересекая дорогу, вьется из-под бревенчатого мостка узкая речонка, точно сжатая в невысоких, но крутых изумрудно-зеленых берегах, гладкая, как зеркало, и уже чуть-чуть подернутая вдали легким туманом. Верно и резко отразились в ней вниз верхушками прибрежные, круглые, покрытые желто-зеленым пухом ветлы и самые берега, которые кажутся в воде еще свежей, еще изумрудней. А вот вдалеке на ясном небе стройно и четко рисуется колокольня церкви, деревянная, белая, с розовыми продольными полосами и с крутой зеленой крышей. Сейчас же рядом с церковью и меркуловский огород; вон даже видно покривившееся набок и точно падающее вперед чучело в старом отцовском картузе, с растопыренными рукавами, отрешенными на концах, навсегда застывшее в решительной и напряженной позе...

И кажется Меркулову, что он сам едет по этой черной, грязной дороге, возвращаясь с пашни. Он боком сидит на белом мерине, мотая спущенными вниз ногами и ерзая при каждом шаге лошади взад и вперед на ее хребте. Ноги лошади звучно чмокают, вылезая из грязи. Легкий восток чуть задевает лицо Меркулова, принося с собой глубокий, свежий аромат земли, еще не высохшей после снега; и хорошо, радостно на душе у Меркулова. Устал он, выбился из сил, вздрав за нынешний день чуть ли не целую десятину земли; ноет у него все тело, ломит руки, трудно разгибать и сгибать спину, а он, небрежно болтая ногами, знай заливается во всю грудь:

Вы, сады-ы ль, мои са-ды! —

Ах, как хорошо ему будет сейчас, когда он уляжется в прохладной риге, на соломе, вытянув и свободно разбросав натруженные руки и ноги!..

Голова Меркулова опять падает вниз, чуть не касаясь колен, и опять Меркулов просыпается с приторным, томящим ощущением в груди. «Никак я вздремал? — шепчет он в удивлении. — Вот так штука!» Ему страшно жаль только что виденной черной весенней дороги, запаха свежей земли и нарядного отражения прибрежных ветел в гладком зеркале речки. Но он боится спать и, чтобы ободриться, опять начинает ходить по казарме. Ноги его замлели от долгого сидения, и при первых шагах он совсем не чувствует их.

Проходя мимо часов, Меркулов смотрит на циферблат. Большая стрелка уперлась прямо вверх, а маленькая отошла от нее чуть-чуть вправо. «После полуночи», — сообщает Меркулов. Он сильно зевает, быстрым движением несколько раз кряду крестит рот и бормочет что-то вроде молитвы: «Господи... царица небесная... еще, небось, часа два с половиной осталось... святые угодники... Петра, Алексея, Ионы, Филиппа... добропоживших отцов и братьев наших...»

Керосин догорает в ночниках, и в казарме становится совсем темно. Позы у спящих мучительно напряженные, неестественные. Должно быть, у всех на жестких сенниках обомлели руки и затекли головы. Отовсюду, со всех сторон, раздаются жалобные стоны, глубокие вздохи, нездоровый, захлебывающийся храп. Что-то зловещее, удручающее, таинственное слышится в этих нечеловеческих звуках, идущих среди печального мрака из-под серых, однообразных ворохов...

— На двор выттить, что ль? — говорит Меркулов самому себе вслух и медленно идет к дверям.

На дворе — густая темень и льет не переставая мелкий, частый дождь. На другом конце двора едва обрисовывается ряд слабо освещенных окон: это казармы шестой и седьмой рот. Дождик глухо барабанит по крыше, стучит в оконные стекла, стучит по меркуловской фуражке. Где-то вблизи вода бежит со звоном и торопливым журчанием из жолоба и потом плещется по каким-то камням. Сквозь этот шум Меркулову слышатся порою странные звуки! Точно кто-то идет к нему вдоль казарменной стены, часто

и тяжело шлепая по лужам ногами. Меркулов оборачивается в эту сторону и напрягает зрение. Шлепанье тотчас же прекращается. Но едва Меркулов отвернется, как опять начинают шлепать по воде грузные, спешные шаги. «Мерещится!» — решает Меркулов и подымает кверху голову, подставляя лицо под частые капли... На небе нет ни одной звезды...

Вдруг рядом, в казарме пятой роты, быстро раскрывается наружу входная дверь, и дверной блок пронзительно взвизгивает на весь двор. На секунду в слабом свете распахнутой двери мелькает фигура солдата в шинели и в шапке. Но дверь тотчас же захлопнулась, увлекаемая снова взвизгнувшим блоком, и в темноте нельзя даже определить ее места. Вышедший из казармы солдат стоит на крыльце; слышно, как он крикает от свежего воздуха и сильно потирает руками одна о другую.

«Тоже дневальный, должно быть», — думает Меркулов, и его страстно тянет подойти к этому бодрствующему, *живому* человеку, посмотреть на его лицо или хоть послушать его голос.

— Эй, землячок! — окликает Меркулов невидимого в темноте солдата. — А нет ли у вас, землячок, спички?

— Кажись, должны быть, — отвечает с крыльца глухой и сиплый голос. — Постой... я сейчас...

И Меркулов слышит, как солдат долго охлопывает себя по карманам и как, наконец, тарахтят в коробке найденные спички.

Оба солдата сходятся на середине между обеими казармами, у колодца, отыскивая друг друга по звуку сапог, шлепающих по мокрой, скользкой глине.

— Вот вам спички, — говорит солдат, и так как Меркулов не может сразу найти его протянутой руки, то он слегка погромыхивает коробкой.

Но Меркулову спички вовсе не нужны, — он не курит, ему только хотелось хоть минуту побыть около живого человека, не охваченного этой странной, сверхъестественной силой сна.

— Спасибо вам, — говорит Меркулов, — мне только парочку. — У меня в казарме есть коробка, да вот спички-то, признаться, вышли.

Оба солдата заходят под высокий навес, устроенный над колодцем. Меркулов для чего-то трогает огромное де-

ревянное колесо, приводящее в движение вал. Колесо жалобно скрипит и делает мягкий размах. Солдаты облакачиваются на верхний сруб колодца и, свесив вниз головы, пристально глядят в зияющую темноту.

— Спать хочется, братец мой, — страсть! — говорит Меркулов и громко зевает.

Зевают тотчас же и другой солдат. Их голоса и зевки глухо, раскатисто и усиленно отдаются в пустоте глубокого колодца.

— Час, должно, первый в начале? — спрашивает нехотя, вялым голосом солдат пятой роты. — Вы с какого года?

По изменившемуся звуку голоса Меркулов догадывается, что солдат повернулся к нему лицом. Повертывается и Меркулов, но в темноте не видит даже фигуры своего собеседника.

— Я с девяностого. А вы?

— И я с девяностого. Вы — тоже орлоцкие?

— Мы — кромские, — отвечает Меркулов. — Наша деревня Мокрые Верхи прозывается. Может, слышали?

— Не... Мы дальние... мы из-под самого Ельца. И скака же, братец ты мой! — Последние слова он произносит вместе с зевком, глухим, нутряным голосом и неразборчиво, так что у него выходит: «ы гугу ы аадец ты мой!»

Оба они замолкают на некоторое время. Солдат из Ельца плюет сквозь зубы прямо в колодец. Проходит около десяти секунд, в течение которых Меркулов с любопытством прислушивается, наклонив голову набок. Вдруг из темноты доносится необычно чистый и ясный — точно удар двух гладких камней друг о друга — звук шлепка.

— И глыбоко же тут! — говорит солдат из Ельца и опять плюет в колодец.

— Грех в воду плевать. Не годится это, — поучительно замечает Меркулов и тотчас же сам плюет в свою очередь.

Обоих солдат чрезвычайно занимает то, что между плевком и звуком, раздающимся потом из колодца, проходит так много времени.

— А что, ежели туда сигануть? — вдруг спрашивает солдат из Ельца. — Небось, покамест долетишь, так об стенки головой изобьешься?

— Как не избиться... Изобьешься, — уверенно отзывается Меркулов. — В лучшем виде изобьешься.

— Бяда! — говорит другой солдат, и Меркулов догадывается, что он качает головой.

Опять наступает долгое молчание, и опять солдаты плюют в колодец. Вдруг Меркулов оживляется:

— Вот штука-то была, братец мой! Сижу я сейчас в казарме и того... задремал, должно быть, немножко... И какой мне это... чудной сон приснился.

Ему хочется рассказать свой сон со всей прелестью мелких поэтических подробностей, с чарующим ароматом родной земли и далекой, привычной, любимой жизни. Но у него выходит что-то слишком простое, бледное и неинтересное.

— Вижу я, будто бы я, значит, у себя в деревне. И как будто бы вечер... И все мне скрозь видно... то есть так видно, так видно, точно и не во сне...

— Н-на... это бывает,— равнодушно и небрежно вставляет другой солдат, почесывая щеку.

— А я сам как будто бы еду верхом на лошади... на мерине... Есть у нас такой мерин белый, годов двадцать ему, небось, будет... Может, уж поколел теперь...

— Лошадь видеть — это означает ложь... Омманет тебя кто-нибудь,— замечает солдат.

— А я будто бы еду на мерине, и все мне скрозь видно... Ну вот просто как наяву... То есть такой это чудный сон мне приставился...

— Н-на... разные сны бывают,— лениво вставляет солдат.— Одначе прошенья просим,— говорит он, подымаясь со сруба.— У нас фитьфебель — чорт, по ночам шляется. До свиданья вам.

— До свиданьичка... Ночь-то, ночь какая... ах ты, господи боже мой... зги не видно.

Со свежего воздуха казарменная атмосфера в первые минуты кажется просто невыносимой. Воздух весь пропитан тяжелыми человеческими испарениями, едким дымом махорки, кислой затхлостью шинельного сукна и густым запахом невыпеченного хлеба. Люди спят беспокойно, мечутся, стонут и так храпят, как будто бы им каждый вздох стоит громадных усилий. Когда Меркулов проходит третьим взводом, какой-то солдат быстро вскакивает и садится на нарах. Он несколько секунд дико озирается вокруг, точно в недоумении, и долго чавкает губами. Потом он начинает яростно скрести пятерней: сначала го-

лову, затем грудь, и вдруг, точно подкошенный сном, мгновенно падает на бок. Другой деревянным и хриплым голосом быстро бормочет длинную фразу. Меркулов прислушивается с суеверным страхом и разбирает отдельные слова: «Не обрывай!.. Завяжи узлом!.. Узлом завяжи, говорят тебе!..» В бреде, раздающемся среди ночи, всегда есть что-то ужасное для Меркулова. Ему кажется, что эти отрывочные, внезапные слова произносит не человек, а кто-то другой, *незримый*, вселившийся в его душу и овладевший ею.

Часы попрежнему тикают неровно, точно задерживая второй удар, но стрелки их, повидимому, остались все в том же положении. В голове Меркулова вдруг проносится дикое, нелепое, фантастическое предположение, что, может быть, время совсем остановилось и что целые месяцы, целые года — вечно будет длиться эта ночь; будут так же тяжело дышать и бредить спящие, так же тускло будут светить умирающие ночники, так же равнодушно и медлительно стучать маятник. Это темное, быстрое, непонятное самому Меркулову ощущение переполняет его душу злобой и тоской. И он грозит в пространство крепко сжатым кулаком и шепчет, не раскрывая стиснутых челюстей:

— У-у, дьяволы!.. Погодите уж-тко!

Он опять садится на то же самое место, между печкой и ружейной пирамидкой, и почти тотчас же мягко и нежно сжимает его виски дремота. «О чем? О чем я теперь? — спрашивает себя шопотом Меркулов, зная, что теперь в его власти вызвать перед глазами что-то очень приятное и знакомое.— Ах, да! Деревня... речка... А ну-ка, ну-ка... Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя...»

И снова змеится в зеленой свежей траве речка, то скрываясь за бархатными холмами, то опять блестя своей зеркальной грудью, снова тянется широкая, черная, изрытая дорога, благоухает талая земля, розовеет вода в полях, ветер с ласковой, теплой улыбкой обвеивает лицо и снова Меркулов покачивается мерно назад и вперед на остром лошадином хребте, между тем как сзади тащится по дороге соха, перевернутая сошником вверх.

Вы, сады-ы ль, мои са-ды! —

громко, во всю мочь голоса поет Меркулов и с удовольствием думает о том, как сладко ему будет сейчас вытя-

нуться усталым телом на высоко взбитой охапке соломы. По обеим сторонам дороги идут вспаханные поля, и по ним ходят, степенно переваливаясь с боку на бок, черно-сизые, блестящие грачи. Лягушки в болотцах и лужах кричат дружным, звенящим, оглушительным хором. Тонко пахнет цветущая верба.

Ах, и вы, сады-ы ль, мои са-ды!..

Одно только кажется Меркулову странным: как-то неровно идет сегодня белый мерин. Так и шатает его из стороны в сторону... Ишь, как качнуло. Насилу удержался Меркулов, чтобы не полететь с лошади вперед головой. Нет, надо усесться верхом как следует. Пробует Меркулов перебросить правую ногу на другую сторону, но нога не шевелится, отяжелела, точно к ней кто привязал странную тяжесть. А лошадь так и ходит, так и шатается под ним. «Но, ты, чо-орт! Засну-ул?..»

Меркулов стремглав падает с лошадиной спины, с размаху ударяется лицом об землю и... открывает глаза.

— Чорт! Заснул! — кричит над Меркуловым чей-то голос.

Меркулов вскакивает с табуретки и растерянно нащупывает на голове фуражку. Перед ним стоит со взлохмаченной головой, в одном нижнем белье, фельдфебель Тарас Гаврилович. Это он разбудил сейчас Меркулова, ткнув его кулаком в щеку.

— Заснул! — повторяет грозно фельдфебель. — Ах, ты!.. Спать на дневальстве? Я т-тебе покажу, как спать!..

Меркулов отшатывается назад от быстрого удара по скуле, встряхивает головой и хрипло бормочет:

— Намаялся, господин фитьфебель...

— А-а! Намаялся? Так вот, чтобы ты не маялся, будешь еще два раза не в очередь дневалить. Когда смеяешься?

— В два, господин фитьфебель.

— Ах, мерзавец... Ты и смену-то свою проспал! Ну!.. Живо, буди очередного... Марш!..

Фельдфебель уходит. Меркулов бегом бросается к той наре, где спит очередной дневальный — старый солдат Рябошапка. «Спать, спать, спать, спать, — кричит в душе Меркулова какой-то радостный, ликующий голос. — Два

лишних днешальства? Это пустяки, это *потом*, а теперь спать, спать!..»

— Дядька Рябошапка, а дядька Рябошапка,— пугающим шопотом вскрикивает Меркулов, теребя за ногу спящего солдата.

— Мрмр... брайсь...

— Дядька Рябошапка, вставайте... Смена...

— Поди ссе...

Бессонница так измучила Меркулова, что у него больше нехватает терпения будить Рябошапку. Он бежит к своему месту на нарах, торопливо раздевается и протирается между двумя соседями, которые тотчас же грузно, безжизненно наваливаются на него боками.

На секунду встает в воображении Меркулова колодец, густая темнота ночи, мелкий дождик, журчанье воды, бегущей из жолоба, и шлепанье по грязи чьих-то невидимых ног. О! Как там теперь холодно, неприятно и жутко... Все тело, все существо Меркулова проникается блаженной животной радостью. Он крепко прижимает локти к телу, съеживается, уходит поглубже головой в подушку и шепчет самому себе:

— Ну, а теперь... поскорее — дорогу... дорогу...

Снова перед его глазами отчетливо и красиво извивается черная изрытая дорога, снова смотрится в зеркало реки нежная зелень ветел... И внезапно Меркулов летит со страшной, но приятной быстротой в какую-то глубокую, мягкую мглу...

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывало в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами.

Резко нарушая прелесть этого прелестного утра, гудит на Гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадой, точно жалуясь на что-то. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, как будто обрываясь,

захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой неожиданной силой.

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со своими черными заборами и торчащей над ними безобразной вышкой напоминает о человеке и человеческом труде. Длинные красные закопченные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного, грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося утра.

Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего на изломах каменного угля. Совершенно черные, пропитанные углем, не мытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги — все это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе. В воздухе так и висит изысканно безобразная непечатная ругань, попеременно с хриплым смехом и удушливым, судорожным, запойным кашлем.

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, над которой прибита белая дощечка с надписью: «Ламповая». Ламповая битком набита рабочими. Десять человек, сидя за длинным столом, непрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в предохранительные провололочные футляры. Когда лампочки совсем готовы, ламповщик вдевает в ушки, соединяющие верх футляра с дном, кусочек свинца и расплющивает его одним нажимом массивных щипцов. Таким образом достигается то, что шахтер до самого выхода обратно из-под земли никак не может открыть лампочки, а если даже случайно и разобьется ее стекло, то провололочная сетка делает огонь совершенно безопасным. Это делается для безопасности, потому что в глубине каменно-угольных шахт скопляется особый горючий газ, который от огня мгновенно взрывается; бывали случаи, что от неосторожного обращения с огнем на шахтах погибали сотни человек.

Получив лампочку, шахтер проходит в другую комнату, где старший табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несет ли он с собою папирос, спичек или огнива.

Убедившись, что запрещенных вещей нет, или просто не найдя их, табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: «Проходи».

Тогда через следующую дверь шахтер выходит на широкую, длинную крытую галерею, расположенную над «главным стволом».

В галерее идет кипучая суeta смены. В квадратном отверстии, ведущем в глубь шахты, ходят на цепи, перекинутой высоко над крышей через блок, две железных платформы. В то время когда одна из них подымается, другая опускается на сотню сажен. Платформа точно чудом выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что вырванным из недр земли углем. В один миг рабочие стаскивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом влекут их на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми. В машинное отделение дается условный знак электрическим звонком, платформа содрогается и внезапно с страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. Проходит минута, другая, в продолжение которых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и лязганья бегущей цепи, и другая платформа, но уже не с углем, а битком набитая мокрыми, черными и дрожащими от холода людьми, вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И эта смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища, Васька Кирпачный, стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька — двенадцатилетний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и со смешно вздернутым носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их.

Васька всего полгода как пришел из далекой деревни. Безобразный разгул и разнузданность шахтерской жизни еще не коснулись его чистой души. Он не курит, не пьет и не сквернословит, как его однолетки-рабочие, которые все поголовно напиваются по воскресеньям до бесчувствия, играют на деньги в карты, имеют любовниц и хвастаются этим. Кроме «Кирпатого», у него есть еще кличка «Мамкин», данная ему за то, что, поступая на службу, на вопрос штейгера: «Ты, поросенок, чей будешь?», он наивно ответил: «А мамкин!», что вызвало взрыв громового хохота и бешеный поток восхищенной ругани всей смены.

Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность шахтенного дела подавляет его бедный впечатлениями ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в этом мире — бесспорно машинист.

Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке, с сигарой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и насупленный. Ваське он отлично виден сквозь стеклянную перегородку, отделяющую машинную часть. Что это за человек? Да полно: и человек ли он еще? Вот он, не сходя с места и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и вмиг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз платформа, затряслось все деревянное строение шахты. Удивительно!.. А он сидит себе как ни в чем не бывало и покуривает. Потом он надавил еще какую-то шишечку, потянул за какую-то стальную палку, и в секунду все остановилось, присмирело, затихло... «Может быть, он слово такое знает?» — не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой загадочный и притом облеченный необыкновенной властью человек — старший штейгер Павел Никифорович. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных факелов. По его приказаниям ведутся новые галереи и делаются забои.

Павел Никифорович очень красив, но неразговорчив и мрачен, как будто общение с подземными силами

наложило на него особую, загадочную печать. Его физическая сила стала легендой среди шахтеров, и даже такие «фартовые» хлопцы, как Бухало и Ванька Грек, дающие тон буйному направлению умов, отзываются о старшем штейгере с оттенком почтения.

Но неизмеримо выше Павла Никифоровича и машиниста стоит во мнении Васьки директор шахты — француз Карл Францевич. У Васьки нет даже сравнений, которыми он мог бы определить размеры могущества этого сверхчеловека. Он может сделать все, решительно все на свете, что ему только ни захочется. От мановения его руки, от одного его взгляда зависит жизнь и смерть всех этих табельщиков, десятников, шахтеров, нагрузчиков и подвозчиков, которые тысячами кормятся около завода. Всюду, где только показывается его высокая прямая фигура и бледное лицо с торчащими вверх усами, тотчас же чувствуется общее напряжение и растерянность. Когда он говорит с человеком, то смотрит ему прямо в глаза своими холодными большими глазами, но смотрит так, как будто бы разглядывает сквозь этого человека что-то такое, видимое ему одному. Раньше Васька не мог себе представить, что существуют на свете люди, подобные Карлу Францевичу. От него даже и пахнет как-то особенно, какими-то удивительными сладкими цветами. Этот запах Васька уловил однажды, когда директор прошел мимо него в двух шагах, конечно даже не заметив крошечного мальчугана, который стоял без шапки, с раскрытым ртом, провожая испуганными глазами проносившееся земное божество.

— Эй ты, Кирпатый, полезай, что ли! — услышал Васька над своим ухом грубый оклик.

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, при которой он состоял подручным. Собственно ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме, с ними же постоянно работал в шахте и при них же нес в свободное время многочисленные домашние обязанности, в круг которых входило главным образом беганье в ближайший кабаk «Свидание друзей» за водкой и огурцами. Дядя Хрящ принадлежал к числу старых шахтеров, измотавшихся и обезличившихся на долгой непосильной работе. У него не было разницы между

добрым и злым делом, между буйной 'выходкой и трусливым прятаньем за чужую спину. Он рабски шел за большинством, бессознательно прислушивался к сильным и давил слабого и в шахтерской среде не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни уважением, ни влиянием. Ванька Грек, наоборот, до известной степени руководил общественным мнением и сильными страстями всей казармы, где самыми вескими аргументами служили занозистое слово и крепкий кулак, в особенности если он был вооружен тяжелым и острым кайлом.

В этом мире бурных, пылких, отчаянных натур каждое взаимное столкновение принимало преувеличенно острый характер. Казарма напоминала собой огромную клетку, битком набитую хищным зверьем, где только злость, дерзость и сила обуславливали равноправное существование, где растеряться, оказать минутную нерешительность равнялось погибели. Обыкновенный деловой разговор, товарищеская шутка переходили в страшный взрыв ненависти. Только что мирно беседовавшие люди бешено вскакивали с места, лица бледнели, руки судорожно стискивали рукоятку ножа или молота, из дрожащих опененных губ вылетали вместе с брызгами слюны ужасные ругательства... В первые дни своей шахтерской жизни, присутствуя при таких сценах, Васька весь обомлевал от испуга, чувствуя, как у него холодеет в груди и как его руки становятся слабыми и влажными.

Если в такой зверской среде Ванька Грек пользовался некоторым, сравнительным уважением, то это до известной степени говорит об его нравственных качествах. Он был в состоянии работать по целым неделям, не отрываясь от дела, с каким-то озлобленным упорством, для того чтобы спустить в одну ночь все заработанные этим нечеловеческим трудом деньги. Трезвый он был несообщителен и молчалив, а будучи пьяным, нанимал музыканта, вел его в трактир и заставлял играть, а сам сидел против него, пил водку стаканами и плакал. Потом неожиданно вскакивал с перекосившимся лицом и налитыми кровью глазами и начинал «разносить». Что или кого разносить—ему было все равно; просила исхода поработенная долгим трудом натура... Начинались безобразные, кровавые драки во всех концах завода и продолжались до тех пор, пока мертвый сон не валил с ног этого необузданного человека.

Но — как это ни странно — Ванька Грек оказывал Кирпатову нечто похожее на заботу или, вернее, внимание. Конечно, это внимание выражалось в суровой и грубой форме и сопровождалось скверными словами, без которых не обходится шахтер даже в самые лучшие свои минуты, однако, несомненно, это внимание существовало. Так, например, Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах, ногами к печке, несмотря на протест дяди Хряща, которому это место раньше принадлежало. В другой раз, когда загулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник, Грек отстоял Васькины интересы. «Оставь мальчишку», — спокойно сказал он, слегка приподымаясь на нарах. И эти слова были сопровождены таким красноречивым взглядом, что шахтер разразился потоком отборной ругани, но тем не менее отошел в сторону.

На платформу вместе с Васькой взшло еще пять человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал во всем теле необычайную легкость, точно у него за спиною выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в руках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неровных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот странный физический обман всегда испытывается непривычными людьми в то время, когда платформа достигает середины ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокружение.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшие к главному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избежать этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах, с капюшонами на головах, скатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ кинул кому-то из них: «Здорово, Тереха», но тот не удостоил его ответом, и партия разбрелась в разные стороны.

Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал, как им овладевает какая-то молчаливая, гнетущая тоска. Эти длинные черные галереи казались ему бесконечными. Изредка мелькал где-то далеко жалкой бледно-красной точечкой огонек лампы и пропадал внезапно, и опять показывался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенами слышалось журчанье бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты.

Васька шел следом за дядей Хрящом и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью бревенчатые стены галереи тусклые желтые пятна, в которых причудливо металась взад-вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка, три уродливые неясные тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки.

Вот здесь засыпало обвалом четырех человек. Трех из них нашли мертвыми, а труп четвертого так и не отыскался; говорят, что его дух ходит иногда по галлерее № 5-й и жалобно плачет... Там в третьем году один шахтер разможил кайлом голову своему товарищу, который отказал ему в глотке водки, пронесенной под землю контрабандным путем. Рассказывали также об одном старом рабочем, который много лет тому назад заблудился в галлерейх, знакомых ему, как свои пять пальцев. Его нашли только через три дня, обессиленным от голода и сошедшим с ума. Говорили, что «кто-то» водил его по шахте. Этот «кто-то», страшный, безымянный и безличный, как и породивший его подземный мрак, несомненно существует в глубине шахт, но о нем никогда не станет говорить ни один настоящий шахтер — ни в трезвом, ни в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за своей партией, думает «о нем», он чувствует на своем теле чье-то тихое, холодное дыхание, кидающее его в дрожь.

— Ну что, Ванька, хорошо погулял? — искательно спросил дядя Хрящ, оборачиваясь на ходу в сторону Грека.

Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь зубы. Накануне он целых пять дней не приходил на работу, угарно и безобразно пропивая свое двухмесячное

жалованье. За все это время он почти совсем не спал, и теперь его нервы были возбуждены до крайней степени.

— Н-да, братец мой, хорошо, нечего сказать,— не унимался дядя Хрящ.— Как это ты десятника-то облаял? Очень прекрасно...

— Не зуди,— коротко отрезал Грек.

— Чего зудить, я не зужу,— отозвался дядя Хрящ, которому всего обиднее было то обстоятельство, что ему не удалось принять участия во вчерашнем разгуле.— А только, братец ты мой, тебе теперь конторы не миновать. Позовут тебя, друга милого, к расчету. Уж это как пить дать...

— Отстань!

— Чего там отстань. Это, голубчик, не то что в трактире бильярды выворачивать. Сергей Трифонов так и сказал: пускай, говорит, он теперь у меня хорошенько попросится. Пускай...

— Замолчи, собака! — вдруг резко обернулся к старику Грек, и его глаза злобно сверкнули в темноте галереи.

— Мне что ж! Я ничего, я молчу,— замялся дядя Хрящ.

До места работы было почти полторы версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленчатыми галлерейками. Кое-где нужно было нагибаться, чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырее и удушливее.

Наконец они дошли до своей лавы.

В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя; приходилось отбивать уголь, лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча разделись, оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом. Грек чувствовал себя совсем нехорошо. Три бессонные ночи и продолжительное отравление скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как будто ее набили каменным углем. Однако Грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами **вбивал** он кайло в хрупкий, звенящий уголь. Временами он **как** будто бы забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, в голове однообразно, до тошноты надоедливо, звучали мотивы вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно передвигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек только на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галлереях. Когда он возвращался во второй раз порожняком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стоял и хрипел, как будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща:

— Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.

Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал Грека за холодную, трепещущую руку и приговаривал просительным голосом:

— Да, Ванька да перестань же... ну, будет же, будет...

Это был страшный приступ падучей. Неведомая ужасная сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобразных, судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затылком о землю, то тяжело падал вниз телом, корчился, касаясь коленами подбородка, и вытягивался, как палка, дрожа каждым мускулом.

— Ах, господи, вот история,— бормотал испуганно дядя Хрящ.— Ванька, да перестань же... послушай... Ах ты, боже мой, как это его вдруг?.. Постой-ка, Кирпачный,— вдруг спохватился он,— ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми.

— Дяденька, а как же я-то? — жалобно протянул Васька.

— Ну, поговори у меня еще! Сказано — сиди, и дело с концом,— грозно прикрикнул дядя Хрящ.

Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее в рукава, побежал из галлерей.

Васька остался один над бьющимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и боясь пошевелиться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вытянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. «Господи, да уж не помер ли?» — подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий холод наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно.

— Дяденька Грек, а дяденька Грек,— прошептал Васька.

Грек не отзывался.

— Дяденька, вставайте! Позвольте, я вас поведу до больницы. Дяденька!..

Где-то в ближней галлерее слышались торопливые шаги. «Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается», — подумал с облегчением Васька.

Однако это был не дядя Хрящ.

Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой.

— Кто здесь есть? Живо выходи наверх! — крикнул он взволнованно и повелительно.

— Дяденька,— бросился к нему Васька,— дяденька, здесь с Греком что-то такое случилось!.. Лежит и не говорит ничего.

Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу Грека. Но от него только пахло острой струей винного перегара.

— Эх его угораздило, — махнул головой шахтер. — Эй, Ванька Грек, вставай! — крикнул он, раскачивая руку больного. — Вставай, что ли, говорят тебе. В третьем номере обвал случился. Слышишь, Ванька!..

Грек промывчал что-то непонятное, но не открыл глаз.

— Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожжаться! — нетерпеливо воскликнул шахтер. — Буди его, малец. Да поскорее только. Неровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как крысы...

Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли и его частые шаги.

Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головою миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть — и не сможешь раскрыть рта... Захочешь пошевелинуться — руки и ноги придавлены землей... И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть...

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи.

— Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же! — кричит он, напрягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами — и с правой и с левой стороны — звуки тяжелых, беспорядочно спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего Грека и самому бежать очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теревить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону, поднятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки замечает угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы.

В галлереях пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтобы удержаться в равновесии. Его худые детские руки вытянулись и обомлели, в груди нехватает воздуха, в висках стучат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

«Нет, не могу!»

Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев.

Слава богу, последний поворот! Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих подъемную машину.

Люди толпятся на платформе.

Скорей, скорей!

Еще одно последнее, отчаянное усилие...

Что же такое, господа! Платформа подымается... вот она исчезла совсем.

«Подождите! Остановитесь!»

Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в нудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом...

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чем-то овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно:

— Oh, mon brave garçon! О, ты храбрый мальчик!

Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.

ПОГИБШАЯ СИЛА

Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя позолоту причудливых орнаментов и согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с высоких подмостков, художник отошел шагов на тридцать от своей картины и приковался к ней внимательным, напряженным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз. Прямо перед ним во всю высоту запрестольной стены рельефно выделялось на золотом фоне почти оконченное изображение богоматери с младенцем на руках. Все дышало наивной и глубокой верой в этой картине: и золотое небо — торжественное, полное чудес и тайн библейское небо, и синие тонкие утренние облака, служащие престолом группе, и трогательное сходство в лицах матери и ребенка, и милые изумленные личики кудрявых ангелов. И тем могущественней, тем неотразимей должно было очаровывать и умилять зрителя божественно-прекрасное лицо богоматери — кроткое и вместе с тем строгое, с этими как будто проникающими в глубь времен очами, полными безмолвной, покорной скорби.

В соборе было тихо. Только где-то высоко, под самым куполом щебетали вперебой неугомонные воробьи. Лучи солнца наискось тянулись из окон золотыми пыльными полосами. Савинов все стоял и глядел на картину. Теперь он со своими длинными, небрежно откинутыми назад волосами, с бледными, плотно сжатыми губами на худом

аскетическом лице, как нельзя больше походил на одного из тех средневековых монахов-художников, которые создавали бессмертные произведения в тишине своих скромных келий, вдохновляясь только горячей верой в бога и бесхитростной любовью к искусству и не оставляя потомству даже инициалов своих имен... Священный восторг и радостная гордость удовлетворенного творчества наполнили душу Савинова. Мечты об этой *русской* богоматери он лелеял давно, чуть ли не с самого детства, и вот она возвышается перед ним во всей своей строгой и чистой красоте, и все убранство огромного храма, вся его царственная роскошь как будто бы служат для нее сплошной великолепной рамкой. Здесь, в этой гордости, не было места мелочному профессиональному тщеславию, потому что Савинов относился очень холодно к своей известности, давно перешагнувшей за пределы России. Здесь артист благоговел перед своим произведением, почти не веря тому, что он сам, своими руками создал его.

Между тем восьмичасовая непрерывная работа на подмостках давала себя знать: руки у художника ныли, ноги и спину ломило от долгого и неудобного сиденья. Савинов вышел на широкое гранитное крыльцо собора и жадно, всей грудью вдохнул свежий весенний воздух. Как все звонко, радостно, ароматно и красиво было вокруг! Около собора разноцветными красками пестрел ковер подстриженной декоративной зелени; дальше через дорогу тянулись в два ряда высокие, стройные пирамидальные тополя бульвара, обнесенного легкой сквозной решеткой; еще дальше виднелись густые шапки деревьев общественного сада. Среди дня прошел крупный дождик, и теперь обмытые листья тополей и каштанов блестели, точно по-праздничному. Откуда-то несло благоухание мокрой, освеженной дождем сирени. Небо стало к вечеру гуще и синее, а тонкие белые ленивые облака порозовели с одного бока. В воздухе зигзагами низко носились, чуть не задевая лица, резвые, проворные ласточки, и как-то странно гармонировал с их веселым стремительным визгом протяжный и грустный звон отдаленного колокола.

Савинов тихо пошел вдоль бульвара, расправляя уставшую грудь медленными, глубокими вздохами и с наслаждением любясь видом красивого южного города, томно отдающегося наступающему весеннему вечеру. Уроженец

дальнего севера, выросший в привольно бесконечных сосновых лесах, он все-таки страстно любил своеобразную красоту больших городов. Он любил кровавый и безветренный закат солнца после студеного зимнего дня, когда здания фантастически тонут в легкой сизой дымке, пронзительно визжат полозья и дым из труб идет, не колеблясь, прямо вверх густым белым столбом; любил большие улицы в жаркие летние праздничные дни, с нарядной толпой, с яркой пестротой женских туалетов, с морем раскрытых цветных зонтиков, насквозь пронизанных солнечным светом и теплом; любил летние лунные ночи: резкие синие тени от домов, лежащие зубчатой полосой на мостовой, отражение месяца в черных стеклах окон, осеребренные крыши, черные силуэты прохожих; любил ранним летним утром забраться на рынок и любоваться на груды сочной мокрой зелени с ее острыми, пронзительными и приятными запахами, на свежие лица торговков, на мелочную и живую базарную суету; любил среди кипучего городского водоворота неожиданно отыскать тихий архаический переулок, уединенную старинную церковь, поросшую влажным мхом, или натолкнуться на яркую, полную движения народную сцену.

— Пардон, мусью! — раздался вдруг над ухом Савинова хриплый мужской голос, и в лицо художнику пахнул такой букет перегорелого вина, что он невольно остановился и отшатнулся.

Перед ним стоял мужчина в рваном холщовом летнем пиджаке, в разорванных на коленях панталонах и в опорках на босу ногу, еще не старый, но уже согнутый той обычной согбенностью бродяг и нищих, которая приобретается от привычки постоянно ежиться на холоде, тесно прижимая руки к бокам и груди. Лицо у него было испитое, пухлое и розовое, шире книзу, с набрякшими веками над вылинявшими, мокрыми глазами, с потресканными и раздутыми губами, с нечистой, свалывшейся в одну сторону черной бородой. Этот человек держал в руках рваную шапку. Черные спутанные волосы беспорядочно падали ему на лоб.

— Пардон, мусью,— продолжал он трагической интонацией и возвышенным языком «интеллигентного» нищего,— обращаюсь к вам не как презренный бродяга, а как некогда благородный и порядочный человек. Не от-

кажете во имя человеколюбия уделить несколько сантимов на обед бывшему стипендиату Императорской академии художеств. Поверьте честному слову, мусью,— продолжал оборванец, следя жадными глазами за тем, как Савинов достает из кармана кошелек,— что только злая ирония судьбы заставляет меня протягивать руку за помощью. Бывшая надежда артистического мира и... уличный нищий — согласитесь, контраст поистине ужасный...

Чуть заметная добродушная усмешка тронула бескровные губы Савинова.

— Так вы были в академии? В котором же году?

Оборванец вдруг принял комически гордую позу.

— В 187*-м, милостивый государь, окончил оную,— воскликнул он с пафосом и с силою ударил себя кулаком в грудь.— А в 187*-м был отправлен на казенный счет в Италию-с.

Савинов пристальнее взглянул в лицо нищего и протянул ему несколько мелких серебряных монет.

— Охотно верю вам, что вы были в академии,— сказал он со свойственной ему мягкой улыбкой.— Только, видите ли... вам не совсем бы удобно было говорить мне об этом, потому что я сам... окончил академию годом позже вас, но... должен признаться, что не видел вас ни разу.

Глаза оборванца вдруг забежали по сторонам, пухлое лицо из розового сделалось красным и сразу все покрылось мелкими каплями пота.

— Вы мне не верите? — прошептал он, низко опуская голову.— Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин.

— Ильин! — воскликнул Савинов так громко, что проходившая в это время какая-то дама вздрогнула и обернулась.— Батюшки, да ведь я вас теперь совсем узнал. Что же это с вами, голубчик?

Только теперь Савинов дал себе отчет в том, что несколько минут тому назад ему на мгновение мелькнуло в лице оборванца что-то знакомое. И тотчас же, с присущей художникам яркостью зрительной памяти, перед ним всплыл тот момент, когда он в первый раз увидел Ильина. Академическая курилка, слоистые облака сизого табачного дыма, в котором движутся неясные силуэты, сплошной говор, смех... Кто-то торопливо толкает Савинова под локоть и шепчет: «Смотри, смотри... вон у подоконника стоит Ильин: черный, с длинными волосами...

Теперь глядит в нашу сторону». Савинов быстро оборачивается и видит худощавую, гибкую фигуру, небрежно облокотившуюся на подоконник, бледное лицо, живописную гриву длинных волос, чуть-чуть пробивающиеся усы и бородку и пару чудных темных глаз. Ильин слушает какого-то коротенького краснощекого толстяка, и эти великолепные выпуклые блестящие глаза искрятся умом, вниманием и тонкой насмешкой... О, как все это было давно... И все-таки стоящий перед Савиновым бродяга — несомненно Ильин, тот самый легендарный Ильин, имя которого долго не сходило с языка у всех профессоров и студентов. Есть в каждом человеческом лице какие-то неуловимые, загадочные черточки, которые не изменяются в нем от детского возраста до старости, точно так же, как есть такие же нотки в тембре каждого голоса, по которым через десять — двадцать лет признаешь человека, как бы он ни огрубел, ни опустился, ни зачерствел и ни пал...

— Так вы Ильин? — растерянно и жалостливо бормотал Савинов.— Господи, как же это неожиданно... Ведь я вас помню, прекрасно помню.

— Что же делать... обстоятельства... покатился под гору,— отрывисто и угрюмо отвечал оборванец, отворачивая вбок свое расплывшееся лицо.— Встретишь кого из старых товарищей... перебегаешь на другую сторону... стыдно... образ человеческий потерял... Дозвольте, господин,— в голосе Ильина сразу зазвучала искательная, рабская интонация забитого человека,— дозволейте узнать вашу фамилию?

Савинов назвал себя. Ильин вдруг весь встрепенулся, и глаза его широко раскрылись.

— Савинов?.. Тот самый, что в соборе?.. Знаменитый?..

— Ну, уж и знаменитый. Это вы слишком сильно, голубчик.

— Но это вы? Вы?

— Ну я, если хотите...

— Родной мой, видел. Своими глазами видел,— воскликнул Ильин, и что-то похожее на умиление затеплилось в его опухших глазах.— Господи, красота-то какая! Ручку мне пожалуйста, ручку... не откажите.

Савинов дружески открытым жестом протянул руку и не успел отнять ее, как почувствовал на ней холодное и мокрое прикосновение губ Ильина.

— Фу! Как вам не стыдно! — сказал он укоризненно и краснея. — Разве можно такие вещи делать?..

Ильин приложил обе руки к груди крестом и изо всей силы сжал их.

— Господин Савинов! Не вам руку целую, — выкрикнул он восторженно. — Русскому гению руку целую... Я — мертвый человек — новую зарю приветствую в вас.

Савинов в замешательстве оглянулся по сторонам. Вокруг них уже начала собираться глазающая публика: мальчишка в белом переднике, с рогожным кульком подмышкой, две девицы в платочках, щелкающие подсолнушки, какой-то подержанный господин в цилиндре, торговка с двумя корзинами, надетыми на коромысло. Стоять здесь дольше было неловко. Но в то же время нельзя было оставить Ильина, бросить его на произвол судьбы, отделившись от него несколькими копейками. Этого не позволяла Савинову его деликатная, бесконечно мягкая натура.

— Знаете что, Ильин, — вдруг нашелся он. — Идемте-ка ко мне в гостиницу. Я теперь один-одинешенек, и вечер у меня свободный. О старине потолкуем. Идемте...

— Одет-то уж я больно того... — замялся Ильин.

— Э, пустяки какие. Да, наконец, у меня есть, кроме общего хода, свой отдельный ход, и ключ постоянно в кармане. Закусим чем бог послал, поболтаем. Может быть, и придумаем что-нибудь сообща. Идем. До меня отсюда всего два шага.

— Видел я вашу картину. Созерцал, наслаждался и плакал, — беспорядочно и восторженно бормотал Ильин, идя рядом с Савиновым и поминутно сбегая с тротуара на мостовую, чтобы дать дорогу встречному прохожему. — Потрясла она меня до самого нутра. До остолбенения. И ведь как это случилось странно. Иду я мимо собора. Глядь, подъезжают четыре коляски, все собственные, и останавливаются у входа. Вылезают какие-то дамы, должно быть аристократки, и с ними генерал и два штатских. Пошли они в собор. Ну, сторожа, понятно, за ними следом кинулись. А я тем временем — шмыг и проскочил во внутрь. Что греха таить, пьяненький я в ту пору был, а потому и храбрый, а на счастье и полиции кругом не слу-

чилось. Да-с. Вошел я в собор, да так, знаете, к полу и прирос. В дрожь меня кинуло. Стоит она на высоте, точно парит в воздухе, непорочная, чистая, прекрасная, и глаза большие такие, ясные, кроткие, прямо на меня в упор смотрят, но не гневно... Нет! Смотрят печально так, жалостно. О господи! А я-то нетрезвый, гаденький, грязный, в отрепьях, только из вертепа вырвался... Жутко мне сделалось, а глаз отвести не могу... И вдруг меня точно толкнуло что-то. «Боже мой,— думаю я,— да ведь это *моя* мечта, ведь этот самый идеал я носил в душе, когда она еще была чиста, ведь и я мог бы создать что-нибудь похожее на этот божественный образ». Страшный это был момент, господин Савинов. Страшный потому, что я вдруг сразу, необычайно ясно понял, ощутил и измерил ту глубину, в которую я полетел вверх тормашками... Заплакал я... Ну, конечно, подошел сторож. «Тебе чего здесь нужно, босяк, пьяная морда?» Мигом выволок меня из собора и с лестницы. А я... что же мне еще оставалось? Нарезался я в этот день, как скотина, и все ревел. Потом подняли меня без памяти... ночевал я в участке. Эх! и говорить-то гадко!

Савинов слушал, не перебивая, эту горькую отрывистую речь, и все больше и больше стеснялось его сердце болезненным состраданием к этому несчастному человеку. Через какой длинный ряд унижений и нравственных пыток должен был он пройти, прежде чем очутиться на улице в своем холщовом пиджачке и разодранных панталонах? А ведь в нем без сомнения погиб огромный самобытный талант. Савинову вдруг вспомнился отзыв об Ильине, еще в тогдашнее академическое время, одного старого, пунктуального, заматерелого в классических традициях профессора. «Из этого Ильина талантище так и прет. Ни с каким масштабом к нему не подойдешь»,— говорил обыкновенно профессор. И это мнение безмолвно разделяла вся — обыкновенно так жадно ревнивая к успеху — злоязычная среда товарищей художников. В то время когда другие робко шли за великими мастерами, в Ильине уже намечался крупными чертами оригинальный, свежий талант, вырабатывающий свои убеждения, свои приемы, свой рисунок и свое понимание натуры. Он как будто бы на целую голову стоял выше своих сверстников. К нему прислушивались, ему подражали, его удивительные

работы привлекали всеобщее внимание. Около него уже образовался небольшой кружок новаторов, презиравших всякие «измы», направления и школы и требовавших от искусства безграничной широты замысла и смелости исполнения. Однако в вожаки партии Ильин никогда не лез; он был слишком скромен, мягок и застенчив для этого. Жизнь он вел суровую, почти спартанскую, и отдавался работе с каким-то священным упоением. Правда, были и в то время в академии бездарные работяги, которые отсутствие таланта заменяли раболепством перед профессорами и упорной, нечеловеческой усидчивостью. Они возбуждали в товарищах жалость и презрение. Но к Ильину, к его аскетическому образу жизни, к его изумительному трудолюбию, к его отчужденности от безалаберной художнической богемы все относились с внимательным почтением. Чувствовалось, что он не хочет разбрасывать даром своих огромных сил, а посвящает их исключительно на служение искусству.

Савинов помнил, каким шумом была встречена на кон-курсной выставке картина Ильина «Праздник у Степана Разина». Весь художественный Петербург сбегался смотреть на нее. Газетные критики называли ее эпохой в истории русской живописи. Ильина отправили на казенный счет в Рим. Потом он как в воду канул, требуемой работы в академию не представлял и не давал по этому поводу никаких объяснений. Никто не мог сказать утвердительно, возвратился ли он обратно в Россию, или остался за границей; даже не знали, жив ли он. О нем, правда, изредка вспоминали в своих тесных кружках старые художники. Бывало, когда уже достаточно позлословили насчет отсутствующих, кто-нибудь вздохнет о том, что с каждым годом переводятся старые таланты, а новых что-то не видно. «А прежде-то, господа, помните?» И тут непременно выступал на сцену Ильин, личность и талант которого сквозь призму времени приняли размеры прямо-таки легендарные. Одно время пронесся было слух, что кто-то из художников видел Ильина в одесской гавани, таскающим кули, но слух этот скоро замер, и на него большого внимания не обратили.

Лакей во фраке и в белом галстуке вошел в номер с приборами в обеих руках и ногой прихлопнул за собой дверь. Он был настолько хорошо выдрессирован, что не

позволил себе грубой выходки (к тому же Савинов хорошо давал на чай), но по тому, как он умышленно небрежно ставил на стол тарелки, по тому, как смотрел искоса на Ильина, не поворачивая к нему головы, по холодному достоинству, с каким он выслушивал заказ, видно было, что он возмущен и за себя, и за репутацию заведения до глубины души. Ильин сидел на кончике кресла, стараясь далеко запрятать под него свои ноги, и прикрывал ладонями прорванные колени. Он растерянно улыбался, поминутно краснел и вытирал рукавом вспотевшее лицо.

Когда лакей вышел, Савинов подвинул к Ильину водку и сказал ласково:

— Пейте, голубчик, не стесняйтесь меня. Я знаю, что это вам теперь необходимо.

Горлышко графина звенело о стекло рюмки, когда Ильин наливал водку. Опрокинув дрожащей рукой водку в рот, он долго ее не проглатывал, сморщив лицо в брезгливую гримасу; потом сразу проглотил с каким-то особенно громким звуком, сморщился еще сильнее и часто-часто задышал через полусжатые губы, точно отдуваясь от чего-то горячего. Теперь, при свете огня, Савинов хорошо рассмотрел его лицо. Оно страшно отекало от скул до подбородка; щеки и угреватый нос были покрыты мелкой сетью красных извилинок и маленьких вздутых синих жилок. Пиджак был у ворота заколот булавкой, и белья под ним не замечалось. От всех этих лохмотьев шел какой-то грязный, маслянистый запах, похожий на запах замазки с примесью скверного табака.

— Простите... я с похмелья,— потянулся Ильин за другой рюмкой.

— Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Я ведь нарочно для вас...

По мере того как Ильин пил рюмку за рюмкой, лицо его к удивлению Савинова мало-помалу принимало более нормальный вид, руки перестали трястись, голос прояснился, глаза стали живее и точно расширились. Ел он жадно и неряшливо, запихивая в рот большие куски и чавкая, как едят наголодавшиеся и отвыкшие от приличного стола люди. Чтобы не смущать его, Савинов нарочно уселся так, что между ним и Ильиным приходилась высокая лампа с длинным висячим красным абажуром.

— Хотите еще? — спросил он, когда Ильин окончил есть и обтер губы наружной стороной рукава.

— Нет, мерси. Благодарствуйте. Сыт. А вот если папиросочку...

Он закурил, глубоко и поспешно затянулся несколько раз подряд и вдруг рассмеялся продолжительным тихим смехом.

— Чему это вы? — спросил Савинов.

— Да вот гляжу я на вас, Иван Григорьевич (Ильин и в самом деле выглянул из-за абажура), и вижу, что вам хочется спросить меня: «Как дошла ты до жизни такой?» Только деликатность не позволяет... Правда ведь? А? Ха-ха-ха...

— Поверьте, что я не хочу быть нескромным, — вежливо возразил Савинов.

— Ну, что там за нескромность... со мной-то? Да, кроме того, мне и самому хочется рассказать. Почему знать, может быть вы, когда все узнаете, не презрение ко мне почувствуете, как к попрошайке уличному, а пожалеете... Ту конетр¹!... как это дальше? Ну, да черт с ним, все равно... Слушайте мою исповедь, господин Савинов.

Ильин поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, потихоньку, чтобы не видел Савинов, потушил папиросу об ножку стула и спрятал окурочек из вежливости в карман.

— Как это пишут смешно в романах: «В зале воцарилась мертвая тишина. Полковник закурил свою трубку, провел рукой по длинным седым усам и, глядя на огонь камина, начал...» Так ведь? Ха-ха-ха...

Он отрывисто рассмеялся, потом помолчал несколько секунд, и, когда опять начал говорить, в его голосе совсем неожиданно послышались горькие, грустные, искренние ноты.

— Замотала меня женщина, Иван Григорьевич. Женщина — и моя собственная глупость. Вы, может, слышали, каков я в академии был? Одно слово — анахорет. Только в искусство да в труд и верил. Этого сочинителя, что сказал, будто гений может озарять голову безумца, гуляки праздного, я бы тогда, кажется, на части разорвал... Как лошадь работал...

¹ Все понять... (франц.)

— У вас был замечательный талант, Ильин,— мягко вставил Савинов.

— Был! Верно! — Ильин горячо ударил себя в грудь кулаком.— И я знаю, что был. Я в себя всех больше верил. В звезду свою верил, чорт побери! Совершенства добивался. Всего себя этому проклятому искусству закабалил. Кошачьей колбасой питался, идиот, на чердаках мерз. Другие умней были: тот — иллюстрации, тот — виньетки, тот — карикатурки... У них веселье, попойки, на острова поехали, женщины, хохот, а я сижу, завернувшись поверх пальто в одеяло, и теорию перспективы изучаю. Трогательно!.. Виньетки-то за позор считал. Как же, помилуйте, унижение искусства, профанация!..

Ильин опять рассмеялся, но смех перешел в спазматический кашель, который длился минут пять. Отдышавшись, он продолжал:

— Отправили меня в Рим. Ведь вы там, конечно, были, Иван Григорьевич? Господи, красота-то, красота какая! Воздух прозрачный, небо синее-синее, краски на всем такие сочные, горы, платаны, развалины.. хорошо! На что уж я всегда был лют на работу, а тут прямо осатанел. Бегаю целый день по галереям и по дворцам, копирую стариков, набрасываю этюды, пишу с натуры. Удивительно, как на это одного человека хватало. При этом, заметьте, паек самый скудный — кусок хлеба с сыром овечьим и стакан доброй старой воды, вот и все.

Потом, однако, уgomонился, в русло вошел, стал подыскивать сюжет для картины. И нашел. Знаете, в этом роде, который нынче называют символическим (мне ведь тоже время от времени нет-нет да попадет в руки клочок газеты). Вообразите себе ниву, созревшую, спелую ниву, но всю истоптанную во вчерашнем сражении. Брезжит раннее утро, на востоке янтарная полоса, луна побледнела... А на ниве лужи крови, обломки оружия, трупы человечьи и лошадиные, вдали мерцают огни лагеря... И вот среди этой крови и этого ужаса медленно плывет туманная фигура Христа, с опущенной вниз головой и опечаленным ликом... Недурно ведь? А?

— Хорошо. Очень хорошо! — искренно воскликнул Савинов.

— Начал я работать. А у меня в то время была общая студия с одним тоже русским, Курбатовым. Он был пейза-

жист — милый человек и необыкновенно талантливый. Царство ему небесное (Ильин перекрестился): в первый же месяц, как приехал в Россию, умер от скоротечной чахотки... Счастливцев!.. Ну-с, завязались у нас кое-какие знакомства с тамошним народишком, стали нами как будто интересоваться, оценили нас. В студии всегда, бывало, разные людишки болтаются. Сперва больше свой брат художник, а потом повалила и публика: знатные иностранцы и всякие путешественники. Даже один герцог какой-то посетил, ей-богу, не вру, Иван Григорьевич.

И вот однажды получаю я через комиссионера две визитных карточки. Какой-то князь Дуз-Хацимовский, генераль ан ретрет¹, с женой Натальей Фаддеевной очень обо мне наслышаны, горят желанием видеть мою замечательную картину и потому покорнейше просят, не найду ли я возможным быть дома от 12 до 2 часов. Я предупредительно соглашаюсь. В назначенное время являются. Генерал ничего себе — солидный генерал, басит, растягивает слова и отторбучивает нижнюю губу. Усы нафиксатуарены, яркий галстук, однако видно, что ножки сильно пошаливают. Он меня, конечно, «обласкал» и обещал покровительство. На нее я сначала не обратил внимания, потому что меня все заговаривал генерал. Вижу только — худая, гибкая, с великолепными рыжими волосами. Покамест я перед его превосходительством расшаркивался, она всё мои альбомы с эскизами рассматривала. Нехорошая это привычка, нескромная — все равно что в чужую записную книжку заглядывать — ну, да что же поделаешь — терпи! Потом вдруг подзывает меня к себе. «Мсье Ильин, вы, должно быть, никогда не были влюблены?» Я оторопел. «Почему вы так думаете, мадам?» — «В вашем альбоме я не нашла следов любви». Я недоумеваю еще больше: «Виноват, какие же это следы?» — «Да мало ли какие: на каждой странице один и тот же профиль, одни и те же инициалы, строчки, написанные женской рукой.. Ну? Права я или нет?»

И поглядела на меня. Знаете, Иван Григорьевич, — странная вещь: я лицо ее совершенно — ну, совсем-таки забыл, и никак не могу его себе представить, даже не знаю, была ли она дурна, или хороша собою, а этот

¹ Генерал в отставке (франц.).

взгляд вот как теперь вижу. Бесстыжий, понимаете ли, открыто бесстыжий, и хищный, и насмешливый, и манящий, до безумия манящий. И вся она, как вино, бросилась мне в голову со своим змеиным телом, с рыжими волосами, с каким-то пряным запахом духов. И почувствовал я, что с этого момента «кончено мое земное странствие...»

А она все смóтрит и глазами играет. «Я, говорит, сама немного рисую. Вы мне позволите иногда запросто заходить к вам посмотреть и поучиться? Папочка, ты позволишь?» Это она к генералу. Папочка позволяет с добродушной снисходительностью взрослого к капризу ребенка. «Ну, так я завтра зайду в это же время. Жаль, что вашего товарища в эти часы не бывает, я бы с ним охотно познакомилась». Ведь какова дерзость-то, Иван Григорьевич! Я ей об товарище решительно ни словечка не сказал, а она вдруг: «Жаль, что в эти часы не бывает». Да еще подчеркивает так, что и глухой понял бы и догадался на другой день убрать товарища куда-нибудь подалее.

И пошло писать! Подхватило меня, как соломинку ураганом, и понесло. Другой бы на моем месте остановился, а меня мое анахоретство сгубило. Нет у таких, как я, ни конца ни краю! Все в этом проклятом водовороте пропало: и силы непочатые, и честь, и здоровье, и талант. Не прошло и двух недель, как я перед ней пресмыкался гадом ползучим, за одну улыбку готов был итти на бесчестье, на преступление. И до того этой слепой любовью я ей опротивел, что она уж и стыдиться со мной перестала, всю свою циничную душонку передо мной наизнанку выворачивала. Знаете ли, дорогой Иван Григорьевич, я человек тертый, всякого народу на своем веку видал, во всех степенях падения — и воришек, и бродяг, и острожных, и каторжных. Но, клянусь вам, никогда и нигде я не встречал такой черствой, такой глубоко безнравственной натуры!..

Она гнала меня прочь — я возвращался, униженный, раболепный. Один раз она мне крикнула в бешенстве: «Убирайся вон! Ты нищий! Ты мне ни зачем не нужен!» Я ушел, продал свою картину за три тысячи (давно к ней подъезжал один американец), возвратился и швырнул ей в лицо сверток с золотом. За это я был любим целую неделю. С тех пор началась сумасшедшая погоня за

деньгами, грошовые заказы, иллюстрации, самодурство меценатов — все, что хотите!

Как я ревновал ее, как мучился — ужасно, ужасно! (Ильин вдруг закрыл лицо руками и с минуту сидел молча, раскачиваясь телом взад и вперед.) Я все терпел... Сначала папский гвардеец, потом идиот-тенор, потом какой-то красавец, итальянский еврей из коммивояжеров... Я должен был им улыбаться и оказывать им такие услуги, которые обыкновенно возлагаются на слуг.

Горько мне было... тяжело... А компания всегда под боком... Напьешься — оно сначала как будто и весело, забудешься на минутку, споришь о чем-то, шумишь, обнимаешься с собутыльником. Потом слезы. Прижмешься к чьей-то засаленной груди и рыдаешь, и раскрываешь сердце какому-нибудь сапожнику. Это дело я очень скоро постиг.

Что дальше пошло, я и сказать не умею. Все в пьяном угаре было. Ездил я за ней следом и в Ниццу, и в Вену, и в Швейцарию, и в Париж. Меня уж больше не принимали, так я под окошками целые ночи простаивал. В Петербург, наконец, приехали. Как-то не утерпел я, пьяный к ним в дом ворвался. Вывели с участием полиции, а потом — генерал был все-таки со связями — и вовсе выселили административным порядком.

Вот я и мыкаюсь с тех пор, Иван Григорьевич. До вывесок спустился, до малярных работ. Да ведь сами посудите, где же пьяного будут держать? Барки пробовал грузить — силишки нехватает. Как-то раз на одной постоялке кто-то мне и говорит: «Да ты бы, братец, хоть стрелять выучился». — «Как это стрелять?» — «А так, очень просто: милостивый господин, не откажите помочь бывшему студенту, или там хоть артисту, или художнику, разбитому параличом и обремененному многочисленным семейством...» Трудно было сначала, совестно... Ну, а потом... (Ко всему на свете привыкнешь... Да и что мне, Иван Григорьевич... — в голосе Ильина послышались глухие рыдания, — что мне в том, если бы вдруг каким-нибудь чудом мое положение изменилось, если бы я даже получил возможность писать, как писал двадцать лет тому назад! Зачем мне все это, если она для меня навсегда потеряна? Понимаете ли, навсегда, навсегда, навсегда...

Он опять закрыл лицо руками и, весь сотрясаясь, раскачивался взад и вперед. Савинов спрятался за лампу и украдкой вытирал глаза платком. Вдруг Ильин стремительно сорвался с места и протянул Савинову руку.

— Прощайте,— злобно и отрывисто произнес он.— Извините, что расстроил. Прощайте.

Савинов встал и обеими руками крепко взял Ильина за плечи.

— Слушайте, голубчик,— заговорил он нежно.— Дайте мне слово, что вы завтра утром зайдете ко мне. Я теперь не даю вам денег только потому, что вы слишком возбуждены. Но ведь вам нетрудно будет от меня принять маленькую помощь, ну, хоть на одежду, на квартиру?

— Нет. От вас легко, Иван Григорьевич,— пробормотал Ильин, не подымая глаз.

— Так придете завтра? .

— Да.

— Ну, господь вас храни.— Савинов крепко пожал Ильину руку.— До свидания. Милый вы, добрый, несчастный вы человек.

Он запер за Ильиным дверь, снял пиджак и жилет и уже сел на кровать, чтобы снять сапоги, как с улицы кто-то сильно постучал в оконное стекло. Савинов подбежал к окну и, увидев Ильина, отворил форточку.

— Что вам, Ильин? — спросил он тревожно.

На Ильине лица не было. Страшно бледный, с перекошенным лицом и воспаленными глазами, он весь с ног до головы трясся, точно в ознобе.

— Не надо... квартиры...— услышал Савинов хриплый, прерывающийся голос.— К чорту... благодетеля... Трешницу... только трешницу... Не могу, душа горит... истерзался весь... Забыть не могу!..

Савинов вздохнул и молча стал отыскивать бумажник.

НА ПЕРЕЛОМЕ (КАДЕТЫ)

I

*Первые впечатления.— Старички.— Прочная пуговица.—
Что такое маслянка.— Грузов.— Ночь.*

— Эй, как тебя!.. Новичок... как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему — до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упраскивала какого-то высокого военного в бабенбардах быть поспасходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости,— говорила она, глядя в то же время бессознательно голову сына,— он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призывкивал шпорами. Повидимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости...

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косово-

ротки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. «Старички» в серых коломянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах, сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

— Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом.

— Моя фамилия Буланин,— ответил новичок.

— Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

— Нет...

— Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск — принеси.

— Хорошо, я принесу.

— И со мной поделись... Ладно?..

— Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, повидимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

— Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие,— сказал он, трогая одну из них пальцем.

— О, это такие пуговицы...— суетливо обрадовался Буланин.— Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

— Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка,— крикнул он пробежавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку,— посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» — крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» — и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощипывали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась попрежнему крепко.

— Позовите Грузова! — сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года,— один из первых силачей возраста. Он собственно не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

— Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

— Фамилия?..

— Что? — спросил робко Буланин.

— Дурак, как твоя фамилия?

— Бу... Буланин...

— А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

— А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

— Н... нет... не пробовал.

— Как? Ни разу не пробовал?

— Ни разу...

— Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

— Вот тебе маслянка, и другая, и третья!.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой из всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатались из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

— Эх ты, рева-корова! — произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце — чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные

двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одиноким, точно забытым всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы — рекреационная и чайная (они разделялись аркой) — были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше — розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую — стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускаемых ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно длинных зал, Буланин вышел на плац — большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других — сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим — на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, — и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов — вид, совсем отличный от их настоящего

вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чая и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла уюниться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду послышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволжлось новыми впечатлениями,— все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр — кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнили сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия таким неуютным и суровым местом, а он сам таким несчастным заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колющий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту. «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какою гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон...»

Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете, висячих ламп с контр-абажурами.

II

Заря.— Умывалка.— Петух и его речь.— Учитель русского языка и его странности.— Четуха.— Одежда.— Цыпки.

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та...

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою итти на перепелов... Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая, чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились

воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выспались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди.

После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам.

Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников: Бринкен — длинный, худой остзеец с упрямыми водянистыми глазами и всячим немецким носом, и Сельский — маленький веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкен, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает «камчатку». Новички нерешительно толпились вокруг парт.

Вскоре появился воспитатель. Его приход был возведен Сельским, закричавшим: «Тс... Петух идет!..» Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной; его звали Яков Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем особенным не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семьях. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, Петух сказал небольшую, но прочувствованную речь:

— Ну, так вот, господа... э... э... как бы сказать... я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все... весь... э... как бы сказать... все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы сказать... преподавателей — да, вот именно: преподавателей... не будет... э... не будет поступать неудовольствий и... как бы сказать... жалоб... Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники и, кроме доброго... э... э... как бы сказать... кроме добра, вам ничего не желают...

Он помолчал немного и несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь уле-

теть (его за эту привычку, вероятно, и прозвали Петухом), и продолжал:

— Да-с! Так-то-с. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время... потому и постараемся... э... как бы сказать... не ссориться, не браниться, не драться-с.

Бринкен и Сельский первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и новички.

Бедный Петух вовсе не обладал красноречием. Кроме постоянных: «э»... слово-ериков и «как бы сказать», у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения. И мальчишки, с их острой переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро подхватили эти особенности Петуха. Бывало, по утрам, будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит: «Не копать, не валяться, не высиживать!», а целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика следует далее, орет, подражая его интонациям: «Кто там высиживает?»

Окончив свою речь, Петух сделал всему отделению перекличку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая, по своему обыкновению, спрашивал:

— А вы не родственник такому-то?

И, получив большею часть отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом:

— Прекрасно-с. Садитесь-с.

Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкена из «камчатки» на первую скамейку и ушел из класса.

— Как тебя зовут? — спросил Буланин своего соседа, толстошекого румяного мальчика в черной куртке с желтыми пуговицами.

— Кривцов. А тебя как?

— Меня — Буланин. Хочешь, будем дружить?

— Давай. У тебя родные где живут?

— В Москве. А у тебя?

— В Жиздре. У нас там сад большой, и озеро, и лебеди плавают.

При этом воспоминании Кривцов не мог удержать глубокого, прерывистого вздоха.

— А у меня есть собственная верховая лошадь,— Муцик зовут. Страсть какая быстрая, точно иноходец. И два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут.

Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, несшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадами, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину: задачник Евтушевского, французский учебник Марго, хрестоматия Поливанова и священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые в свою очередь давали место новейшим. На многих книгах красовались бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», или:

Сия книга принадлежит,
Никуда не убежит,
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу,—

или наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, см. стр. 45». На 45 странице стоит: «См. стр. 118», а 118-я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником.

— Берегите ваши руководства,— сказал Петух, когда раздача кончилась,— не делайте на них различных... э... как бы сказать... различных неприличных надписей... За утерянный или попорченный учебник будет наложено взыскание-с и будут удержаны... э... как бы сказать... деньги-с... с виновного-с... Затем назначаю старшим в классе Сельского. Он — второгодник и все знает-с, всякие... как бы сказать... порядки-с и распорядки-с... Если вам будет что-либо непонятно или... как бы сказать... желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с...

Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полушопотом:

— А вот и преподаватель русского языка.

Вошел с классным журналом подмышкой длинноволосый блондин иконописного облика, в поношенном сюртуке, такой высокий и худой, что ему приходилось невольно горбиться. Сельский закричал: «Встать! Смирно!» и подошел к нему с рапортом: «Господин преподаватель, во втором отделении первого класса N-ской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников тридцать, один в лазарете, налицо двадцать девять». Преподаватель (его звали Иваном Архиповичем Сахаровым) выслушал это, изобразивши всей своей нескладной фигурой вопросительный знак над маленьким Сельским, который поневоле должен был задирать голову кверху, чтобы видеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул: «Молитву!» Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел «Преблагий господи».

— Садитесь! — приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру (нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, ног которого, таким образом, класс не видел).

Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь-в-точь, — подумалось Буланину, — как великан в сапогах-сороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы:

— Ну-с, орлы заморские... ученички развращенные... Что вы знаете? (Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул.) Ничего вы не знаете. Ррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома, небось, только в бабки играли да голубей гоняли по крышам? И прекра-а-асно! Чуд-десно! И занимались бы этим делом до сих пор. Да и зачем вам грамоте-то знать? Не дворянское дело-с. Учитесь не учитесь, а все равно корову через «Ъ» изображать будете, потому... потому... (Иван Архипович опять качнулся, на этот раз сильнее прежнего, но опять

справился с собою), потому что ваше призвание быть вечными Ми-тро-фа-ну-шка-ми.

Поговорив в этом духе минут пять, а может быть, и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расколызнулись, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян.

Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц, он, правда, являлся трезвым, но эти дни считались роковыми в гимназической¹ среде: тогда журнал украшался бесчисленными «колами» и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой grimase его опухшего и красного от водки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу, и к тому вертограду, который он должен был насаждать.

Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной головой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из «слабеньких» посылался «стеречь» у дверей, наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые, вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только сторож, заслышав издали тяжелые шаги инспектора, пускал условное: «Тс... Толкач идет!..» — немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук принимались тормозить Ивана Архиповича.

Проспав довольно долгое время, Сахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову, обвел класс мутными глазами и строго проговорил:

— Откройте ваши хрестоматии на тридцать шестой странице.

Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина.

— Вот вы... господинчик... как вас? Да, да, вы самый... — прибавил он и замотал головой, видя, что Крив-

¹ Конечно, в настоящее время правы кадетских корпусов переменялись. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпуса. (Прим. автора.)

цов нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, — тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой.. Как ваше заглавие? Что-с? Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как, я спрашиваю?

— Фамилию говори, — шепнул сзади Сельский.

— Кривцов.

— Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать шестой странице, милостивый мой государь, господин Кривцов?

— «Чиж и голубь», — прочел Кривцов.

— Возглашайте-с.

Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе — иначе Петух — и отделенный дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса, но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров, и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислятиной, выделяются из конского волоса, и потому мысленно называл их власяницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, забирался под одну из самых дальних кроватей (всем воспитанникам было известно, что он страшно боялся своей жены, которая его била) и спал там часа три, подложив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников и делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки зым! Уставайтя!»

Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что «пригоняли» новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым: построили весь младший возраст по росту, дали каждому воспитаннику номер, начиная с правого фланга до левого, а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны.

В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки (они назывались пиджаками), без поясов, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков золотыми галунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался на пиджак и в таком виде служил уже до истления. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок, или «дежурок», как их называл Четуха. В общем в обыкновенное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимой почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки», то есть кожа на наружной стороне кисти шершавела, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую явную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство — касторовое масло.

III

Суббота.— Волшебный фонарь.— Бринкен торгуется.— Мена.— Покупка.— Козел.— Дальнейшая история фонаря.— Отпуск.

С поступления Буланина в гимназию прошло уже шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпускались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показать дома в мундире с золотыми галунами и в кепи, надетом набекрень,

отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно почтительные взгляды сестер и младшего брата — все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стушевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью.

«А вдруг мама не придет за мной? — беспокоило, в сотый раз, спрашивал сам себя Буланин. — Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной, ну, да что уж делать, если без провожатого нельзя...»

Первый урок в субботу был закон божий, но батюшка еще не приходил.

В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пело, смеялось, читало вслух, разговаривало...

Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик:

— Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить? А? Продается по случаю очень дешево! Зам-мечательная парижская вещь!

Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста:

— Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю... Ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы. А то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью зам-мечательными картинками... Новый стоил восемь рублей... Ну? Кто же покупает, братцы?

Долговязый Бринкен поднялся с своего места и потянулся к фонарю.

— Покажи-ка...

— Чего покажи? Смотри из рук.

— Ну, хоть из рук... а то в ящике-то не видно... Может быть, что-нибудь сломано...

Грузов снял крышку. Бринкен стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик.

— Трубка-то... треснула,— заметил немец деловитым тоном.

— Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста. Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю — за пяточок поправит.

Бринкен заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил:

— А сколько?

— Три.

— Рубля?

— А ты, может быть, думал — копейки? Ишь, ловкий, колбасник!

— Н-нет, я не думал... я так просто... Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?

Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах.

Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые, гимназические, а тяжелые, накладные — буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или стальные перышки (и те и другие употреблялись для игры). Также меняли вещи — кроме казенных — на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взяли за руки, а третье специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, освященную многими десятилетиями:

Чур, мена
Без размена,
Чур, с разъемщика не брать,
А разъемщику давать.

Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться:

— А нас разнимал кто-нибудь?

— Нет, но были свидетели,— возражал другой менявшийся.

— Свидетели не считаются,— отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос — дальше уже следовала рукопашная схватка.

— Ну, что ж? Будешь меняться? — приставал Бринкен.

Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.

— На-ка-сь, выкуси.

— Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек,— торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.

— Проваливай!

— И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.

— А ну тебя к чорту, перец. Отвяжись.

— И шесть булок.

— Пошел к чорту...

— Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.

— Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! — вдруг свирепо обернувшись к нему Грузов.— Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть...

Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.

— Ну, последнее слово, ребята,— два целковых! — крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им.— Самому дороже... Ну — раз! два!

В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.

— А-а! Буланка! — кивнул ему головой Грузов.— Покупай фонарь, Буланушка.

Буланин смутился.

— Я бы с радостью... только...

— Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?

— Да.

— Вот и возьми у родных. Эки деньги — два рубля! Небось, два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?

Буланин и сам не мог бы сказать, дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст... Вывернусь как-нибудь»,— успокаивал он последние сомнения.

— Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только...

— Ну, вот и покупай, и прекрасно,— сунул ему Грузов в руки ящик.— Твой фонарь, владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдам, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы,— обратился он к новичкам,— вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена... Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть,— нагнулся он внушительно к Буланину.— Отдашь деньги-то?

— Ну вот. Конечно, отдам.

— Забожись.

— Вот, ей-богу, отдам, честное слово...

— Ладно... А то у нас знаешь как!..

И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.

Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.

— А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прчешь? Буланушка, дай посмотреть.

Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости,— в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.

— Ты смотри, Буланка,— посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке,— смотри, деньги-то непременно принеси.

— Конечно, конечно, принесу.

— Смотри же... а то...

— А то что? — спросил шопотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия.

— Бить будет,— сказал Сельский также шопотом.— Ты его не знаешь... Он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь.

— Нет, нет... зачем же? Я отдам... Что ж...— залепетал Буланин упавшим голосом.

После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке.

«И зачем мне было покупать этот фонарь? — думал он с бесполезной досадой.— Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет: знать ничего не знаю, разделявайся сам, как хочешь. Эх, дернуло же меня супутся!»

Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой, гимназический священник, а из посторонней церкви, по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся — почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание.

Пещерский собственно даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали «батюшкой». Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую, огромную бородищу, причем капризная судьба, точно насмех, дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз — больших, красивых, влажных и бессмысленных — всегда лежали маслянистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, ниспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Внимайте, юноши, с усердием слову божью, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах Пещерский вытаскивал

из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку.

Но чем уж действительно его господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечным «гм» и «эге», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликанье невольно слипались глаза, и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, ниспосылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он «за всякую малость» записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за «кошунство, свиноподобие и строптивость». Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость — в незнании урока, а кошунство — в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского «Козлом», — кто именно, осталось неизвестным.

На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя:

«А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уже наверное одними маслянками не отделаешься, — размышлял Буланин. — Да, наконец, как я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии нехватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета Сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».

Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекало от испуга... А что если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет...

Он поспешно, дрожащими руками, поднял крышку своего столика и, поддерживая ее головой, стал осматривать фонарь.

Нет, все в порядке... Трубка немного расходится по спаям, но это так и было... все слышали, на все отделение

можно сослаться... И картинки все в целости — двенадцать штук... Вот еще лампочку надо осмотреть.

— Что это вы там у себя в століке делаете? — вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского.

Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распустив ее веером.

— Я... я... ничего... Я ничего не делаю... право, ничего, — залепетал Буланин.

— Что у вас там?.. Покажите, — сказал Козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту.

— Право же, ничего, батюшка! Ей-богу, ничего... Я просто... я книжку искал.

Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но Козел с настойчивым, хотя и мягким усилием потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь.

— Так это вы говорите — ничего? А еще божитесь! Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно... Я вам здесь слово божие объясняю, а вы в игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо... Очень, очень нехорошо.

— Батюшка, позвольте... отдайте... Батюшка, я никогда не буду больше... Отдайте, пожалуйста, — взмолился Буланин.

— Сын мой, — произнес Козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, и его влажные глаза опять стали кроткими, — сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу... вашу штучку... она мне ни на что не нужна, но... — на этом «но» Козел повысил голос и прижал ладони к груди, — но, подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет! — Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. — Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу... нет, нет, и не просите... не могу-с...

В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой¹. Воспитанники высыпали из всех четырех отделений

¹ Перед каждым уроком горнист или барабанщик играл сбор, а после урока отбой. (Прим. автора.)

шумной, беспорядочной гурьбой. В течение десяти минут «переменки», полагавшейся между двумя уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки, и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную, с тремя кранами вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив «капернаум» и разбившись там на кучки, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей.

Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, с стесненным сердцем глядел на огромное военное поле, едва покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях.

— Буланин! Здесь нет Буланина?

— Здесь. Что нужно? — обернулся тот.

— Ступай скорее в дежурную. Петух зовет.

— Батюшка нажаловался?

— Не знаю. Должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее!

Когда Буланин явился в дежурную, то Петух и Козел одновременно встретили его, покачивая головами: Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а Козел покачивал слева направо и очень медленно, с выражением грустного сожаления. Эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три. Буланин стоял, переводя глаза с одного на другого.

— Стыдно-с... совестно... Мне за вас совестно, — заговорил, наконец, Петух. — Так-то вы начинаете учение? На уроке закона божия вы... как бы сказать... развлекаетесь... игрушками занимаетесь. Вместо того чтобы ловить каждое слово и... как бы сказать... запечатлевать его в уме, вы предаетесь пагубным забавам.. Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь... э... как бы сказать... так небрежно относитесь к вашим обязанностям?

— Нехорошо. Очень плохо, — подтвердил Козел, упирая на «о».

«Не пустит в отпуск»,— решил в уме Буланин, и Петух, как бы угадывая его мысль, продолжал:

— Собственно говоря я вас должен без отпуска оставить...

— Господи-ин капитан! — жалобно протянул Буланин.

— То-то вот — господин капитан. На первый раз я уж, так и быть, не стану лишать вас отпуска... Но если еще раз что-либо подобное, помните, в журнал запишу-с, взыскание иналожу-с, под арест посажу-с... Ступайте!..

— Господи-ин капитан, позвольте мой фонарь.

— Нет-с. Фонаря вы более не получите. Сейчас же я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите.

— Я-к Як-лич, пожалуйста...— просил Буланин со слезами в голосе.

— Нет-с и нет-с. Идите. Или вы желаете (тут Петух сделал голос строже), чтобы я действительно... как бы сказать... оставил вас на праздник в гимназии? Ступайте-с.

Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что Петух не сдержал своего слова относительно фонаря. Четыре года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежащих маленькому Карлуше — единственному чаду Петуха,— и среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, повидимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина вид этого невинного предмета!..

Шестой урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяти пальцы другой, ноги под столом выбивали нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица обращались к лопухому Страхову, сидевшему на задней скамейке (у него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии), и Страхов, подымая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до трех часов.

Общее волнение до такой степени сообщилося Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он, так же как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое и немного жуткое, от чего хочется потянуться или запеть во все горло.

Но вот раздаются звуки отбоя, и все вскакивают с мест, точно подброшенные электрическим током. Как бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него нехватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебе, создателю», — читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками, Сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься... С хлопаньем открываются и закрываются пюпитры, увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные, как попало, швыряются и втискиваются в ящик.

Молитва кончена. Двадцать человек летят сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который с снисходительной, но несколько боязливой улыбкой жмет к стене. Из всех четырех отделений одновременно вырываются эти живые, неудержимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотня мальчишек мчится, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток на волю...

Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные Четухой заранее по кроватям отпускных, — дело одной минуты. Теперь остается пойти в «дежурную», где уже сидят все четыре воспитателя, и «явиться» Петуху.

— Господин капитан, честь имею...

— А почему у вас пуговицы не почищены?

Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат два больших красных кирпича.

Буланин быстро и крепко трет их один о другой, потом обмакивает мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть...

— Господин капитан, честь имею явиться... Воспитанник первого класса, второго отделения, Бу...

— А-а! Почистились? Хорошо-с. А за вами пришли или прислали кого-нибудь?

О господи, опять ожидания — вот мука!

В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно вызывают воспитанников:

— Свергин, Егоров, пожалуйста, за вами приехали; Бахтинский — в приемную!

«Неужели обо мне забыли дома? — шепчет в тревоге Буланин, но тотчас же пугается своей мысли. — Нет, нет, этого быть не может: мама знает, мама сама соскучилась... Ну, вот, идет снова дядька... Теперь уж наверно меня».

Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли.

— За Лампарёвым приехали, — возвещает дядька равнодушным голосом, и это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным.

«Это он нарочно так... видит ведь, как мне неприятно, и нарочно делает».

Наконец нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко, воротник давит шею, крючки режут горло... Хочется сесть и сидеть, не поворачивая головы, точно на вокзале.

«Все копчено, все кончено, — с горечью думает Буланин, — я самый несчастный мальчик в мире, всеми забытый и никому не нужный...»

Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликивает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств: Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами.

И вот — как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, — в ту самую минуту, когда Буланин уже собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе подымается тяжелая, удручающая злость против всего мира: против Петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери — в эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу:

— За Буланиным приехали! Просят поскорее одеваться!

И уж на этот раз голос дядьки кажется Буланину не умышленно равнодушным, а веселым, сочувственным, даже радостным.

IV

Триумф Буланина.— Герои гимназии.— Пари.— Мальчишка-сапожник.— Честь.— Опять герои.— Фотография.— Уныние.— Несколько нежных сцен.— На шарап!—Куча мала!—«Возмездие».— Попрошайки.

Отпуск был великолепен. Кепи, надетое набекрень, и черная военная шинель внакидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все: и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок — с почти-тельным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина (во всяком случае ему так казалось). В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание: «Посмотрите, посмотрите — военный гимназист!.. Удивительно, такой молодой и уже носит военный мундир. Ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями».

Дома, перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молодчинищи-старичка.

Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом:

— Отстань! Чего лезешь? Испортишь мундир, а мне после достанется. «Каптенармус» нового ни за что не выдаст.

Эти новые технические слова, вроде как «каптенармус», «ранжир», «правый фланг», «горнист» и тому подобные, он особенно часто, иной раз без всякого повода, но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор, чем Зина и Васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова, и про его изумительную силу (ведь вечер воскресенья был еще так далеко!), и понятно, что в доверчивых, порабоженных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде Соловья-разбойника, с «такими вот» — чуть ли не с человеческую голову величиной — кулаками.

— Это что еще! — продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию, и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. — Это еще что-о! А вот у нас есть воспитанник Солянка, — его собственно фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянкой, — так он однажды

на пари съел десять булок. Понимаете ли, *малыши*: десять французских булок! И ничем не запивал! А?

— Десять булок! — повторили шопотом малыши и переглянулись почти в ужасе.

— Да, и выиграл пари. А другой — Трофимов — поспорил на двадцать завтраков, что он три недели ничего не будет есть... И не ел... Ни одного кусочка не ел.

Буланин в сущности только лишь слегка преувеличивал цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным и предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение двух дней напишет все числа от 1 до 1 000 000, другой брался выкурить подряд, и непременно затягиваясь всей грудью, пятнадцать папирос, третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила, четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитают до тридцати... Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней, отсутствием книг и развлечений, а также полным равнодушием воспитателей к тому, чем заняты вверенные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни утренних и вечерних булок, на котлеты, на третье блюдо, реze на гостинцы и деньги. За исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать.

Мать Буланина была в полном упоении — в том святом и эгоистическом упоении, которое овладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это *мой* сын? — говорит каждый их красноречивый взгляд. — Это то и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь и прыгало босыми ножонками на моих коленях? И неужели именно *его* я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной?»

— Ах ты, мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый! — минутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди.

При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченная той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят.

А Буланин сурово мотал головой и отпихивался.

В воскресенье утром она повезла его в институт, где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионской подруге, т-те Гирчич. Буланина называли «его превосходительством», «воином», «героем» и «будущим Скобелевым». Он же краснел от удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий.

Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин ни встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секунду не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено, когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колодками подмышкой и, промчавшись стрелой между Буланиным и его матерью, заорал на всю улицу:

— Кадет, кадет, на палочку надет!..

Погнаться за ним было невозможно — гимназисту на улице приличествует «солидность» и серьезные манеры, — иначе дерзкий, без сомнения, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, самолюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо проезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всей душой: ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фрунт.

Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов, он прикладывал руку к козырьку, высоко задирая кверху локоть, и таращил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не понятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинако-

вым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям и акцизным чиновникам, а один раз даже козырнул казацкому денщику, несшему судки с офицерским обедом, на что денщик тотчас же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо, переложив судки из правой руки в левую.

Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула:

— Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера (она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные, гордые и приятные ощущения как и ее сын).

Буланин отозвался презрительным басом:

— Ну, вот! Стоит о всяком офицеришке заботиться. Наверно, только что произведенный.

Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватое выражение, слышанное им от старых гимназистов. У старичков, особенно у «отчаянных», считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже, если можно, сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой.

— Как я его здорово надул! — рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. — Прохожу мимо — нуль внимания и фунт презрения. Он мне кричит: «Господин гимназист, пожалуйста сюда». А я думаю себе: «На-ка-сь, выкуси». Ходу! Он за мной. Я от него. Он вскакивает на извозчика. «Ну, думаю: дело мое — табак, поймает». Вдруг вижу сквозные ворота, моментально — шмыг! и калитку на запор... Покамест он стоят там да ругался, да дворника звал, я давно уж удрать успел.

В тот же день Аглая Федоровна повела сына в фотографию. Нечего и говорить о том, что фотограф был несказанно поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост: правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности, хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследствии, когда фотография была окончательно готова, то все двенадцать карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон.

За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит... Он уже чувствовал, что мало-помалу приближается конец отпуска, и перед ним вставало арестантское лицо Грузова — клыкастое, желтое и грубое, его энергично сжатый кулак и злобещая угроза, произнесенная сиплым голосом:

— А то... у нас знаешь как!..

По мере того как стрелка стенных часов приближалась к семи, возрастала тоска Буланина, прямо какая-то животная тоска — неопределенная, боязливая, низменная и томительная. После обеда Зина села за рояль разучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам... Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожного дивана.

— Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька? — спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна.

Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключение с волшебным фонарем, но странная стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, возя носом:

— Так себе... мне тебя жалко, мамочка...

В половине седьмого он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы: десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья.

— Смотри, Миша,— внушала мать,— варенье понемножку кушай... с чаем... вот тебе и хватит на целую неделю... Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют...

Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что «кадет... Буланин... в течение отпуска находился... у меня и вел себя... очень хорошо... Подпись родителей или лиц, их заменяющих... А. Буланина».

Ехать пришлось через весь город. И мать, и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустынь-

нее становилась местность... Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка; в ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мостовой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы, с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще раньше — дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи.

У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд: сцена могла показаться чересчур нежной, может быть даже смешной, во всяком случае не в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и «в случае чего-нибудь» немедленно писал (на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками), он, скрываясь в дверях, буркнул:

— Хорошо... Ладно, ладно...

Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами.

Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чужинной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким, беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери.

«Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд», — думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх.

Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был

на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына.

Наконец он «явился» к дежурному воспитателю (в каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели), который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню.

Там, у самых дверей, их дожидалось человек двенадцать второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта орава накинута, какстая голодных волков.

— Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостичка, Буланка!..

И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища.

— Господа... да позвольте же... я сейчас...— бормотал растерянный, оглушенный Буланин.— Я сейчас... только... пустите же... я не могу всего...

Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших его, и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг Буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом:

— На шарап!

В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвился на воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты, а банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу, в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись за катящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта; некоторые немедленно вступили в рукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках; оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга.

На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул:

— Куча мала, ребята!..

Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь карабкались на самый верх «мала-кучи». Некоторые хохотали, другие задыхались под тяжестью давивших их тел, ругались, как ломовые извозчики, плакали и в остервенении кусали и царапали первое, что им попадалось,— все равно, будь это рука или нога, живот или лицо неизвестного врага.

Повергнутый сильным толчком на землю, Буланин почувствовал, как чье-то колено с силою уперлось в его шею. Он пробовал освободиться, но то же самое колено втиснуло его рот и нос в чей-то мягкий живот, в то время как на его спине барахтались еще десятки рук и ног. Недостаток воздуха вдруг придал Буланину припадочную силу. Ударив кулаком в лицо одного соседа и схватившись за волосы другого, он рванулся и выскочил из кучи.

Он не успел еще подойти к своей кровати, как его окликнули:

— А! Буланка! А ну-ка, иди сюда.

Это был Грузов. Буланин сразу узнал его голос и почувствовал, что бледнеет и что у него задрожали колени. Однако он подошел к Грузову, стоявшему в амбразуре окна и раздиравшему зубами половину курицы.

— Принес? — лаконически спросил Грузов, вытирая руки о грудь пиджака.

— Голубчик... ей-богу, не мог,— жалобно забормотал Буланин.— Ну, вот честное, благородное слово, никак не мог. В следующее воскресенье уж непременно принесу... непременно...

— Отчего же ты не мог сегодня? Отжилить хочешь, подлец? Давай назад фонарь...

— У меня его нет,— прошептал Буланин.— Петух отобрал... я...

Он не успел договорить. Из его правого глаза брызнул целый сноп ослепительно белых искр... Оглушенный уда-

ром грузового кулака, Буланин сначала зашатался на месте, ничего не понимая. Потом он закрыл лицо руками и зарыдал.

— Слышишь, чтобы в следующий раз ты мне или фонарь возвратил, или принес деньги. Только уж теперь не два, а два с полтиной,— сказал Грузов, опять принимаясь за курицу.— У тебя есть гостинцы-то по крайней мере?

— Нет... были яблоки и лепешки... и банка малинового варенья была... Я хотел все тебе отдать,— невольно солгал Буланин,— да у меня их сейчас только отняли старички...

— Эх, ты!..— протянул Грузов презрительно, и вдруг, с мгновенно озверевшим лицом, ударив изо всех сил Буланина по затылку, он крикнул: — Убирайся ты к чорту, жулябия! Ну... живо!.. Чтобы я тебя здесь больше не видел, турецкая морда!..

До глубокой ночи шныряли старички между кроватями первоклассников, подслушивая и подглядывая, не едят ли они что-нибудь тайком. Некоторые действовали партиями, другие — в одиночку. Если новичок отказывался «угостить», то его вещи, шкафчик, кровать и его самого подвергали тщательному обыску, наказывая за сопротивление тумачами.

У своих одноклассников они хотя и не отнимали лакомств, но выпрашивали их со всевозможными унижениями, самым подлым, нищенским тоном, с обилием уменьшительных и ласкательных словечек, припоминая тут же какие-то старые счета по поводу каких-то кусочков.

Буланин уже лежит под одеялом, когда над его головой останавливаются двое второклассников. Один из них называется Арапом (фамилии его Буланин не знал). Он, громко чавкая и сопя, ест какие-то сладости. Другой — Федченко — попрошайничает у него.

— Ара-ап, да-ай кусочек шоколадцу,— тянет Федченко умильным тоном.

Арап, не отвечая, продолжает громко обсасывать конфету.

— Ну, Арапчик... ну, голубчик... Са-амый маленький... хоть вот такой вот...

Арап молчит.

— Это свинство с твоей стороны, Арап,— говорит Федченко.— Это подлость.

Арап, сопя носом и продолжая сосать шоколад, отвечает своим картавым голосом:

— Убирайся к чорлту!

— Арапушка!

— Убирайся, убирайся... Нынче не суббота, не подают.

— Ну, хоть са-амый маленький. Дай хоть из рук откусить.

— Не прлоедайся.

— Ладно же, сволочь ты этакий! — говорит Федченко, вдруг рассвирепев. — Попросишь ты у меня когда-нибудь гостинца!

— Даже и не подумаю прлосить, — сосет равнодушно Арап свой шоколад.

— Я тебе это припомню, дрянь, — не унимается Федченко. — Ты, небось, забыл, как я тебя, подлеца, угощал? Забыл?

Арап вдруг оживляется, и слышно, что он с хлопаньем вынимает шоколад из рта.

— Ты?.. Меня? . Угощал?.. Когда?..

— Когда? — с задором переспрашивает Федченко.

— Да, когда?

— Когда?

— Ну, когда же? Ну?

— Когда? А помнишь, у меня были пирожки с капустой. Что ж, скажешь, я с тобой не поделился? А? Не поделился?

— Все ты врлещь. Никаких у тебя пирложков не было, — хладнокровно отвечает Арап и опять принимается за шоколад.

Наступает длинное молчание, в продолжение которого — Булаинн чрезвычайно живо себе это представляет — Федченко не сводит жадных глаз со рта Арапа. Потом снова раздается тот же униженный, нищенский голос:

— Ара-апчик... голу-убчик... ну, дай же маленький кусочек... Ну, хоть вот такой крошечный... Самую капельку...

Слышно, как Федченко цепляется за рукав Арапа и как Арап отталкивает его локтем.

— Ну, чего в самом деле прлистал? Сказано: убирайся, и убирайся. Я у тебя на прлошлой неделе прлосил мячик, а ты мне что сказал?

— Ей-богу, Арапчик, не мой мячик был. Вот тебе крест — не мой. Это Утконоса был мячик, а он не велел никому давать. Ты знаешь, я тебе всегда с удовольствием. Ну, Арапчик, дай же откусить кусочек.

Неизвестно, что надоедает Арапу: шоколад или приставанье товарища, но он неожиданно смягчается.

— Чорт с тобой, кусай. Вот до этих пор, где я ногтем дерлжу. На.

— Ишь ты, ловкий. Обсосанный конец даешь, — обижается Федченко. — Дай с другого.

— А! Не хочешь — не нужно.

— Ну, ладно уж, ладно, — испуганно торопится Федченко. — Давай, все равно. Скупердяй.

Слышится хрустение откусываемого шоколада и ожесточенное чавканье. Спустя минуту опять слышится молящий голос:

— А что же апельсинчика-то, Арапчик? Дай хоть полломтика.

Но конца этой торговли Буланин уже не слышит. Перед его глазами быстрым вихрем проносятся городские улицы, фотограф с козлиной бородкой, Зиночкины гаммы, отраженные огней в узкой, черной, как чернило, речке, Грузов, пожирающий курицу, и, наконец, милое, кроткое родное лицо, тускло освещенное фонарем, качающимся над подъездом... Потом все перемешивается в его утомленной голове, и его сознание погружается в глубокий мрак, точно камень, брошенный в воду.

V

Нравственная характеристика. — Педагогика и собственный мир. — Имущество и живот. — Что значит дружить и делиться. — Форсилы. — Забывалы. — Отчаянные. — Триумфират. — Солидные. — Силачи.

Каждые три месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались, под председательством директора, внизу, в общей учительской, на педагогический совет. Там устанавливались воспитательные и учебные приемы, определялось количество уроков по различным предметам, обсуждались важнейшие проступки воспитанников. Ввиду последнего каждый отделенный воспитатель обязан был

вести «характеристики» своих воспитанников. Для этого ему и выдавались, по числу гимназистов его отделения, несколько десятков синих с желтыми корешками тетрадок, на обложке которых печатным шрифтом было обозначено¹:

Нравственная характеристика

воспитанника *N-ской военной гимназии*

« » класса « » отделения

Имя:

Фамилия:

Воспитателю оставалось только заполнить на обложке пустые места и затем излагать общими фразами свои бесхитростные наблюдения. И воспитатель, добросовестно относясь к своему долгу, писал: «золотое сердце, но ленив крайне»; «видно дурное влияние домашней среды» (и это чаще всего писалось в характеристиках); «с небольшими способностями, но весьма старательный» и так далее. Затем успехи в науках и благонравие поощрялись на публичном акте 30 августа похвальными листами и разрозненными томами Брема, а лентяев, шалунов и порочных оставляли без отпуска, лишали обедов и завтраков, ставили под лампу, ставили за обедом к барабанщику, сажали в карцер и даже изредка посекали. И все это взятое вместе составляло, по мнению начальства, *«твердо обдуманную воспитательную систему, принятую педагогическим советом на основании глубокого и всестороннего изучения вверенных его руководству детских натур и прочного доверия, питаемого воспитанниками к их воспитателям».*

А между тем внутренняя, своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома педагогического совета, совершенно для него чуждая и непонятная, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было тесно и точно ограничено двумя недоступными берегами: с одной стороны — всеобщим безусловным признанием прав физической силы, а с другой — также всеобщим убеждением,

¹ Конечно, держались эти характеристики в строжайшем секрете от воспитанников и их родственников, — от вторых, вероятно, по причинам похвальной авторской стыдливости. (Прим. автора.)

что начальство есть исконный враг, что все его действия предпринимаются исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить боль, холод, голод, что воспитатель с большим аппетитом ест обед, когда рядом с ним сидит воспитанник, оставленный без обеда...

И как это ни покажется странным, но «свой собственный» мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес. Это уже из одного того было видно, что если и поступал в число воспитателей свежий, сильный человек с самыми искренними и гуманными намерениями, то спустя два года (если только он сам не уходил раньше) он опускался и махал рукой на прежние бредни.

Капля за каплей в него внедрялось убеждение, что эти проклятые сорванцы действительно его вечные, беспощадные враги, что их необходимо выслеживать, ловить, обыскивать, стращать, наказывать как можно чаще и кормить как можно реже. Таким образом собственный мир торжествовал над формалистикой педагогического совета, и какой-нибудь Грузов с его устрашающим давлением на малышей, сам того не зная, становился поперек всей стройной воспитательной системы.

Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук или выворачивал наизнанку карманы его панталон. Большинства вещей новичка, по своеобразному нравственному кодексу гимназии, старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу также нельзя было насильственно покушаться: она служила только предметом мены или уплаты долга.

Вообще сильному у слабого *отнять* можно было очень многое — почти все, но зато весь возраст зорко и ревниво следил за каждой «пропажей». Воровство было единственным преступлением, которое доводилось до сведения начальства (не говоря уже о самосуде, производимом над виновными), и к чести гимназии надо сказать, что воров в ней совершенно не было. Если же кто и грешил нечаянно, то потом уже закаивался на всю жизнь. Но и здесь,

наряду с суровой честностью по отношению к товарищам, «своя собственная» нравственность давала вдруг неожиданный скачок, разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякого рода кражу у воспитателей. Конечно, крали чаще всего съестное из шкапчиков в офицерских коридорах. Крали вина и наливки, и крали обыкновенно со взломом висячих замков.

Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами и над «животом» малыша, то есть во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица «лимон» или «мопса», покормить «маслянками» и «орехами», «показать Москву» или «квартиры докторов «ай» и «ой», «загнуть салазки», «пустить дым из глаз» и так далее.

Новичок с своей стороны обязывался переносить все это терпеливо, по возможности вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя. Выполнив перечисленную выше программу увеселений, старичок обыкновенно спрашивал: «Ну, малыш, чего хочешь, смерти или живота?» И услышав, что малыш более хочет живота, старичок милостиво разрешал ему удалиться.

Всякий новичок считался общим достоянием второго класса, но бывали случаи, что один из «отчаянных» всецело завладевал каким-нибудь особенно питательным малышом, брал его, так сказать, на оброк. Для этого отчаянный оказывал сначала новичку лестное внимание, ходил с ним по зале обнявшись и в конце концов обещал ему свое великодушное покровительство.

— Обижает тебя кто-нибудь, малыш? — спрашивал заботливо отчаянный. — Ты мне скажи правду, не бойся...

— Нет... то есть, конечно, обижают... Вот в воскресенье пирожные отняли..,

— Кто же отнял-то?

— Я и сам не знаю... Человек пять... Открыли парту и насильно отняли...

— Ну, уж это подлость! — возмущался отчаянный. — Разве же можно так поступать? А?

— Конечно, нельзя...

— Прямо свинство... Раз пирожные твои — никто не смеет их брать... Правда ведь?

— Конечно, правда... А то вот еще, — вспоминает новичок, делаясь смелее, — Занковский вчера мне руку вывернул и очень больно по спине ударил...

— Вот скотина-то! — негодовал отчаянный. — А ты знаешь что? Если тебя кто-нибудь тронет, ты мне скажи... Я уж за тебя заступлюсь. Слышишь?

— Я скажу. Спасибо тебе.

— И знаешь, что еще? Давай с тобой будем дружить... Ты мне очень понравился с первого раза.

— Давай. Конечно, давай, — радостно соглашался новичок.

— Дружиться и делиться? Ладно?

— Да, да, — ликовал новичок. — Вот-то будет хорошо!

Новые друзья протягивали друг другу руки, и ближайший свидетель, которому вкратце объясняли дело, разнимал их, освещая этой формальностью обоюдный договор.

Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы старичок, получив где-нибудь кусок пирога или десяток слив, тотчас же принес молодому другу половину, — молодой друг из этой добычи не получал ни крошечки. Зато если младший дольщик приносил из дому кулечек с провизией, то по крайней мере семь восьмых его содержимого отбиралось старшим дольщиком, глядевшим на них как на своего рода постоянный доход. Конечно, эти самые гостинцы мог «вытрясти из новичка» и первый встречный второклассник, но, как уже сказано было выше, авторитет физической силы стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись не только за страх, но и за совесть.

Этот всеобщий культ кулака очень ярко разделил всю гимназическую среду на *угнетателей* и *угнетаемых*, что особенно было заметно в младшем возрасте, где традиции нерушимо передавались из поколения в поколение. Но как между угнетателями, так и между угнетаемыми замечались более тонкие и сложные категории.

Над слабейшим можно было не только «форсить», но можно было и «забываться», и Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями.

«Форсила» редко бил новичка по злобе или ради вымогательства и еще реже отнимал у него что-нибудь, но трепет и замешательство малыша доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества.

— Эй, молодой человек, псст!.. Молодой человек, пожалуйте сюда! — окликает форсила новичка, который в длинный осенний вечер бесцельно бродит по зале и с

тоской заглядывает через запотевшие окна в холодную непроницаемую тьму.

Новичок вздрагивает, оборачивается, неуверенно подходит к рослому второкласснику и останавливается молча в двух шагах от него.

— Хочешь орешков, малыш? — спрашивает форсила.

Новичок молчит. Он предчувствует, что орехи, предложенные ему так внезапно, неудобоваримы.

— Ну, чего рот разинул? Корова влетит. Хочешь орехов, я тебя спрашиваю?

— Я... не знаю... — бормочет, заикаясь, новичок.

— Не знаешь, так надо попробовать... Держи пошире карман: раз — орех! два — орех! три, четыре...

Форсила методически щелкает малыша в лоб, пока у того на глазах не выступят слезы.

— Довольно? Накушался? Ну, а теперь для пищеварения не хочешь ли на скрипке поиграть?

И на этот раз, не дожидаясь согласия малыша, он берет в руку последние суставы его пальцев и, поочередно нажимая на них, заставляет импровизированную скрипку гримасничать и взвизгивать от боли.

— Хорошая скрипка, — говорит он, оставив, наконец, в покое руку новичка. — Ты ее береги, братец: это скрипка дорогая...

Но форсила все это проделывает «не изо всех сил» и не со зла, потому что сейчас же он совсем добродушным тоном спрашивает:

— Послушай-ка, малыш, а ты знаешь какие-нибудь истории?

— Что? — удивляется и не понимает новичок.

— Умеешь ты рассказывать какие-нибудь истории? Ну... там... про разбойников или про войну... про дикарей тоже есть хорошие повести...

И вот форсила ложится на подоконник и закрывает глаза, а новичок стоит в это время около своего случайного повелителя и рассказывает, вспоминая читанное или изобретая из своей головы занимательные эпизоды. Едва он замолчит, как повелитель спрашивает полусонным голосом:

— А дальше?

Гораздо страшнее для первоклассников (кроме второклассных: этих не только не трогали, но, в память прошлого

года, позволяли им даже заходить во второй класс) были «забывалы». Их насчитывалось меньше, чем первых, но вреда они причиняли несравненно больше. Забывала, «изводя» новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как форсила, а сознательно, из мести или корыстолюбия, или другого личного мотива, с искаженной от злости физиономией, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы «выжать» из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятанные где-нибудь в укромном уголке. Шутки забывалы носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носа. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам, страдающим каким-нибудь физическим пороком: заикам, косоглазым, кривоногим и т. п. Дразня их, забывалы проявляли самую неистощимую изобретательность.

Но и забывалы были ангелами в сравнении с отчаянными, этим бичом божьим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самым последним мальшом. Удивительно, какими только путями, вследствие каких причин и уродливых нравственных воздействий мог сложиться этот безобразный тип! Вероятнее всего, он остался как печальное и извращенное наследие прежних кадетских корпусов, когда дикие люди, выросшие под розгой, в свою очередь розгой же, употреблявшейся в ужасающем количестве, подготавливали других диких людей к наилучшему служению отечеству; а это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных... И такое предположение о происхождении отчаянных тем более справедливо, что сами отчаянные изредка называли себя «закалами» или «закаленными» — термин, как свидетельствуют мемуары николаевских майоров, возникший в корпусах именно в первой половине прошлого столетия, в эпоху знаменитых суббот, когда героем считался тот, кто «назло начальству» без малейшего стона выдерживал сотни ударов.

Прежде всего отчаянные выделялись от товарищей наружностью и костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья, сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленели от грязи... Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лиш-

ней, пожалуй даже вредной, роскошью, «бабством», как они говорили... Кроме того, так как отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки пуговиц и перьев.

Воспитатели побаивались отчаянных, потому что отчаянный «никому не спускал». Если к нему кто-нибудь из воспитателей и учителей обращался на «ты» (это иногда случалось), то отчаянный обрывал хриплым басом:

— Ты мне не тычь! Я тебе не Иван Кузьмич!

В конце концов начальство «махало на них рукой» и дожидалось только, когда отчаянный, не выдержав вторично экзамена в одном и том же классе, оставался на третий год. Тогда его отправляли в Ярославскую прогимназию, куда ссылали из всех гимназий России все, что было в них неспособного и порочного. Но Ярославская прогимназия — и та сортировала отчаянных и спроваживала их в свою очередь в Вольскую прогимназию. Об этой Вольской прогимназии между воспитанниками ходили самые недостоверные, но ужасные слухи. Говорили, что там прогимназистов обучают различным ремеслам: простые кузнецы, слесари и плотники, которым предоставлено право бить своих учеников; говорили также, что там по субботам обязательно дерут всех учеников: виноватых — в наказание, а правых — в поощрение, на что будто бы каждую субботу истребляются целые воза ивовых прутьев.

Каждый отчаянный знал, что рано или поздно ему не миновать Вольской, и постоянно бравировал этим, бравировал, если только можно привести такое сравнение, с тем же напускным самохвальством, с каким арестант, осужденный на каторгу за крупное убийство, хвастается и куражится перед мелкими воришками:

— Ну что ж, в Вольскую, так в Вольскую! — говорил отчаянный, сплевывая сквозь зубы. — Не боюсь никого, кроме бога одного!

Трое отчаянных особенно резко запечатались в памяти Буланина, и впоследствии, уже окончив гимназию, он нередко видел во сне, как ужасный кошмар, их физиономии. Эти трое были: Грузов, Балкашин и Мячков — все трое без роду, без племени, никогда не ходившие в отпуск и взятые в гимназию из какого-то благотворительного пан-

сиона. Вместе они составляли то, что в гимназии называлось «партией».

Грузова товарищи прозвали Волком (конечно, никому из «слабеньких» не приходило в голову назвать его так), и действительно, в нем было много общего с этим ночным грабителем: и развалистая походка, и взгляд исподлобья, и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с трусостью. Перед силачами, перед богатыми товарищами он униженно заискивал. Некоторые, не без основания, подозревали его в двух-трех кражах, но оставляли его в покое частью по неимению улики, частью из боязни его злопамятства. Из всей партии он был, бесспорно, самый глупый, самый сильный и самый трусливый. Весь возраст отлично помнил, что однажды, когда Грузова вели сечь, он ползал у директора в ногах и целовал его сапоги. При каждом слове, на каждом шагу он ругался, как пьяный солдат, самой площадной бранью, и это служило ему оружием, при помощи которого он держал в руках даже силачей. Всякий намек на сентиментальность, всякое проявление порядочности: жалость к обижаемому мальчику, сострадание к истязуемому животному, участие к больному преподавателю — в какой бы форме эти чувства ни выразились — он встречал их таким градом сквернословия, что виновный невольно начинал стыдиться своего хорошего движения. И его глумление действовало тем неотразимее, что Грузов все-таки обладал хотя и грязным и циничским, но несомненным юмором.

Второй из партии — Балкашин — был прямо-таки чудищем. Все животные инстинкты, какие себе только можно представить, развились у этого двенадцати — тринадцатилетнего мальчика до невероятной степени. Награбив целую гору сластей и домашней провизии, он прятал всю добычу в постель и потом, покрывшись с головой одеялом, поедал ее потихоньку, как настоящий зверь. После рождественских праздников он выкидывал из своего стола все учебные пособия, так как туда иначе не могли бы вместиться нахватавшиеся им гостинцы. И он ел их с утра до вечера, во время уроков и в перемены, до обеда и после него. Едва успев обглодать курицу, он брался за смоквы, потом без малейшей передышки переходил к свиному салу, которое тотчас же закусывал тянучками и калужским тестом. Случалось, что среди этой оргии лицо Балка-

шина вдруг принимало бледнозеленый оттенок, а глаза становились мутными и страдальческими... Но и тогда, прежде чем стрелой выскочить из класса, он находил в себе настолько самообладания, чтобы запереть свой столик на огромный висячий замок. При добывании гостинцев Балкашин не брезговал никакими средствами, а за обедом и завтраком подбирал и выпрашивал всякие огрызки.

Если он не ел, то непременно спал где-нибудь: или под лавкой в «камчатке», или в нише коридора под ворохом шинелей. Он был развращен действительно уж «до мозга костей». Невозможно описать всех тех гадостей, какие он проделывал с некоторыми из первоклассников, проделывал открыто, так сказать всенародно, нимало не смущаясь вниманием собравшейся публики.

Точно насмех, судьба подарила этому негодяю физиономиию настоящего херувима: нежные шелковистые волосы льняного оттенка, большие голубые глаза с длинными, загнутыми вверх ресницами, очаровательного рисунка рот. К тому же он обладал прекрасным голосом и считался в гимназическом церковном хоре постоянным солистом.

Душою «партии», инициатором всех совершаемых ею пакостей был бесспорно Мячков, самый изобретательный и самый зловредный член триумвирата. Мячков несомненно носил в себе зачатки лютой наследственной чухотки: об этом говорила его узкая, впалая грудь, землисто-желтый цвет лица, сухие губы, облипшие вокруг резко очерченных челюстей, и большие черные глаза с желтыми белками и нехорошим блеском. Очень может быть, что сознание болезни и смутное предчувствие близкой смерти (он тогда уже покашливал, а умер шестнадцати лет) поддерживали в нем эту нечеловеческую, беспощадную, вечную озлобленность. Своей утонченной жестокостью он возбуждал отвращение даже в тех из старичков, нервы которых, казалось, притерпелись ко всему на свете... Своих жертв он даже не мучил, а прямо пытал — обдуманно, постепенно, с очевидным наслаждением, стараясь как можно более продлить этот приятный акт. В нем было что-то ненормальное, болезненное и страшное... Это все чувствовали, но никто не умел свести свои наблюдения даже в метком прозвище.

Одна из любимых штук Мячкова заключалась в том, что он подходил к новичку и заводил с ним длинный дружелюбный разговор. Новичок таял. Между прочим и как будто бы вскользь Мячков хвалил сложение своего собеседника:

— А ты, должно быть, очень сильный, братец. Гляди, в будущем году из первых силачей станешь. Только ты, наверно, силу скрываешь. Грудь-то, грудь у тебя какая молодецкая!

Новичок, польщенный комплиментом, краснел от удовольствия и еще больше выпячивал грудь.

— Ишь ты, просто как печка,— продолжал расхваливать Мячков.— Я думаю, если тебя по груди кто ударит — тебе это пустяки? А? Наверно, и не почувствуешь? Правда?

— Разумеется, правда,— хорохорился новичок.— Я... все могу..

— Можешь?

— Могу!

— Вытерпишь, значит?

— О! Я! Я все вытерплю!..

Зловещие огоньки в зрачках Мячкова разгорались сильнее, и он спрашивал нежным голосом:

— А можно попробовать?

— Пожалуйста... сколько угодно! — продолжал храбриться новичок.— Валяй, сделай одолжение. Мне это все равно что ничего.— И он выгибал грудь колесом.

Тогда Мячков размахивался и изо всех сил ударял наивного хвастуна, но не в грудь, а под ложечку, как раз туда, где кончается грудная клетка и где у детей такое чувствительное место. Несколько минут новичок не мог передохнуть и с вытаращенными глазами, перегнувшись пополам, весь посиневший от страшной боли, только раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытщенная из воды. А Мячков около него радостно потирал руки, кашлял и сгибался в три погибели, заливаясь тоненьким ликующим смехом.

Мячков ел очень мало, а сладкого и совсем не мог есть, по причине дурных зубов. Однако для того чтоб лишний раз насладиться чьим-нибудь горем, он грабил новичков наравне с двумя прочими членами партии, уступая им «свою порцию».

Пожалуй, к категории угнетателей можно было отнести и немногочисленную группу «солидных». Под «солидностью» в гимназии подразумевалась несколько напыщенная важность, происходящая от глубокого сознания собственного достоинства; впрочем, тот смысл, который придавали этому слову воспитанники, почти неперево́дим на обычный язык. Принадлежа большею частью к порядочным и зажиточным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверенны, что умели ограждать себя от насильственных действий отчаянных, форсил и забывал. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду. Так, например, один год самой модной считалась прическа с пробором на левой стороне и с большим коком, взбитым на правой. На следующий год эту прическу сменила другая — ежиком, и весь возраст принялся усердно взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикарными панталонами считались «штаны с колоколами», то есть узкие, в обтяжку до колен, а от колен расходящиеся вниз трубой. Переделкой казенных панталон в модные «штаны с колоколами» занимались за умеренное вознаграждение гимназические портные, приходившие каждую ночь чинить разорванное за день платье.

Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили, картавя и ломаясь и заменяя «а» и «о» обратным «э», что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности.

Собственно солидных нельзя было назвать угнетателями в тесном смысле этого слова, но все же в их обращении с новичками всегда слышалось наигнанное, оскорбительное пренебрежение. Столкнувшись где-нибудь в коридоре или на лестнице с разбежавшимся новичком, солидный брал его осторожно двумя пальцами за рукав и говорил с брезгливой гримасой на лице:

— Что ж ты стал, мэльчишка? Прэходи п'жалста.— И затем пускал ему вдогонку одну из любимых фраз солидных: — Глюп, туп, нерэзвит... эттэго, что мэло бит.

И только в самом крайнем случае, действительно рассердившись, солидный замечал сердито:

— Этэ мэльчишество! Я вам, мэлэдой чээк, все ушонки эбэрву!

Еще снисходительнее к малышам были «силачи», настоящие, признанные всем возрастом, так сказать патентованные силачи. Эти считали ниже своего достоинства форсить или забываться. И гостинцев у малышей они не отнимали, а довольствовались добровольными приношениями — данью восхищения и обожания.

В каждом отделении был свой первый силач, второй, третий и так далее. Но собственно силачами считался только первый десяток. Затем были главные силачи в каждом возрасте, и, наконец, существовал великий, богоподобный, несравненный, поклоняемый — первый силач во всей гимназии. Вокруг его личности реяла легенда. Он подымал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы. Малыши из младшего возраста глядели на него издали во время прогулок, разинув рты, как на идола.

Чтобы повыситься в лестнице силачей, было одно верное, испытанное средство — драка. И часто впоследствии во время урока приходилось Буланину писать такие, например, летучие записочки, передаваемые из рук в руки по адресу:

«Козлов, ты свинья. После Буркена выходи драться».

Дрались обыкновенно в ватерклозете. Все отделение присутствовало при этом. Иногда дерущимся туго перевязывали веревкой основание кисти для того, чтобы кулак налился кровью и стал тяжелее. Строго соблюдались правила: подножку не давать, лежачего не бить, не переходить в «обхватку», за волосы не хватать, голову подмышку не зажимать, лица рукавом не закрывать. Свидетели следили за правильностью драки; они же решали, на чьей стороне победа. Надо сказать, что злобы в этих драках вовсе не было, и часто Буланин и Козлов, омыв разбитые носы у общего умывальника, спокойно и дружелюбно играли через пять минут в пуговки или ездили верхом друг на друге. Но существовало и еще одно строгое правило для такого рода драк. Если, например, пятнадцатый силач победил десятого, то он должен был потом драться последовательно с четырнадцатым, тринадцатым, двенадцатым и одиннадцатым. И бывший десятый проделывал то же самое, но в обратном порядке.

Угнетаемые также разделялись на несколько классов. Между ними были «фискалы», или «суки», были «слабенькие» (у этих существовало и другое, совсем неприличное название), «тихони», «зубрилы», «подлизы» и, наконец, «рыбаки», или «мореплаватели».

VI

Фискалы.—Письмо Буланина.—Дядя Вася.—Его рассказы и пародии на них.—Блинчики дяди Васи.—Сысоев и Квадратулов.—Заговор.—Сысоева «накрывают».—Зубрилы.—Рыбаки.—Еще об угнетаемых.—Подлизы.

В гимназической жизни не было более тяжкого и опасного преступления, как «фискальство». Фискала не принимали ни в одну игру; не только дружить с ним или миролюбиво разговаривать, но даже подавать ему руку считалось унижительным. Единственное обращение, допускаемое с фискалом, были подзатыльники, сопровождаемые известным сатирическим куплетом:

Фискал,
Зубоскал, -
По базару кишки таскал.

Таким образом фискал считался навсегда исключенным из общества, и только какая-нибудь особенно дерзкая выходка, направленная к спасению «попавшегося» товарища или ко вреду нелюбимого воспитателя, могла заслужить ему полное прощение.

Надо заметить, что сознательного фискальства — из выгод, из желания отличиться или приобрести доверие воспитателя — в гимназии совсем не было, и устное предание не запомнило ни одного такого случая. Большею частью репутация фискала приобреталась невольно.

По издавна укоренившемуся правилу, воспитанник, получивший в драке или по другому поводу здоровенный синяк под глазом, должен был на вопрос воспитателя о причине такого украшения отвечать, что, мол, упал с лестницы и расшибся (и почему-то виноватой всегда оказывалась лестница, так что даже воспитатели к этому привыкли и спрашивали иронически: «Что? С лестницы упали?»). Но иногда, по неопытности или подвижимый чув-

ствами боли, мести или раздражения, он называл истинную причину возникновения синяка. С этого момента он уже становился фискалом.

Гимназическая среда ломала по-своему характеры и привычки. Чрезвычайно редко попадали в нее такие нервные, самостоятельные и чуткие ко всякому оскорблению натуры, которые отказывались мириться с жестоким деспотизмом самодельных обычаев. Одному богу известно, как калечила их в нравственном смысле гимназия и какой отпечаток клало на всю их жизнь вечное истерическое озлобление, поддерживаемое в них беспощадной травлей целого возраста.

Начиналось это с того, что прибитый кем-нибудь мальчик шел к воспитателю и жаловался. Его били за это вторично, били в третий и в четвертый раз... По мере побоев росла упорная, безумная ненависть фискала к его мучителям и доходила в конце концов до того, что он сам выискивал случая пойти наперекор установившимся законам. Покинутый, обгаемый и презираемый всеми, он молча разжигал в себе жгучую злобу против окружавшего его маленького мира. Завязывалась страшная, неравная борьба между истерзанным, полубольным, слабым мальчиком и целой ордой бесшабашных сорванцов...

Такого фискала, конечно, остерегались, потому что, если в его присутствии совершалось что-нибудь противозаконное, он говорил со злорадным торжеством: «А вот я пойду и пожалуюсь воспитателю!» И несмотря на то, что его страшали самыми ужасными последствиями, он шел и действительно фискалил. Наконец обоюдная ненависть достигала таких пределов, что дальше ей идти было некуда. Тогда против фискала употреблялось последнее зверское средство: его, выражаясь гимназическим жаргоном, «накрывали».

Один такой случай остался неизгладимо в памяти Буланина, даже запомнился месяц и число, потому что на другой же день Буланин писал своей сестре-институтке поздравление и вскользь упоминал о «случае»:

«Милая Любочка!

Поздравляю тебя с днем твоего ангела и от души желаю тебе всего-всего хорошего. Хотел бы очень поздравить тебя лично, но, к несчастью, невозможно. Посылаю

тебе две наклепные картинки: кошечку и цветы. Извини, что ничего лучше не посылаю. **А у нас** был вчера случай. Второклассники накрыли фискала, и он теперь в лазарете, чтобы не фискалил. Картинки я выменял у Чижова на две дюжины перьев с Наполеоном. А били его ночью, когда все воспитанники заснули, только я все слышал. Засим целую тебя крепко... Твой любящий тебя брат М. Буланин».

Поздравление это было послано Буланиным 16 сентября, а событие, о котором он в нем писал, произошло днем раньше, на дежурстве «дяди Васи».

«Дядей Васей» прозвали Василия Васильевича Бинкевича, одного из двух штатских воспитателей младшего возраста. У **него** также имелось два других прозвища: «Черномор» — за густую, длинную бороду, и «Вральман» — за его отчаянно неправдоподобные рассказы «из прежней жизни».

Действительно, дядя Вася за свою долгую воспитательскую практику изолгался до такой степени, что если бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о настоящем, невымышленном происшествии, ему не поверил бы ни один малыш. Врал он вовсе не для снискания популярности, а искренно и бескорыстно, как заправский художник. Импровизируя рассказы о самых изумительных, чудовищных приключениях, которые заставили бы покраснеть самого барона Мюнхгаузена, дядя Вася увлекался до того, что, без сомнения, не только глубоко верил в подлинность этих приключений, но даже как будто бы переживал их вторично.

Для дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитанники чуть **ли** не в глаза смеются **над** ним, но все же, несмотря на это, он **не** мог воздержаться от неистового вранья. Трудно сказать, каким образом эта черта родилась в нем и разрослась до таких удивительных размеров. Явилась ли она в те долгие зимние вечера, когда дежурные воспитатели, ошалев от скуки, бесцельно по целым часам бродили взад и вперед по залам или изводили кипы бумаги, изображая сотни раз подряд свою фамилию с каким-либо замысловатым росчерком? Было ли это вранье следствием редкого перевеса фантазии над рассудком и волей? Или, **может** быть, в нем, в этом вранье, находил себе позднее своеобразное утешение бывший честолобец, которому не улыбнулась судьба?.. Или, наконец, **не** скрывался ли за

почтенной наружностью дяди Васи тихий, безопасный маньяк?

В своих рассказах дядя Вася весьма небрежно обращался как с историческими фактами, так и с данными, вытекавшими из его предыдущих рассказов. Иногда он фигурировал в них в качестве гражданского инженера, строившего мост через Волгу и реставрировавшего Исаакиевский собор; в другой раз он отправлялся чрезвычайным посланником в Париж; в следующий вечер участвовал в венгерской кампании, будучи блестящим офицером гвардейской кавалерии. И если, например, постройка моста через Волгу совпадала по времени с чрезвычайной миссией в Париже и кто-нибудь из слушателей лукаво замечал это, дядя Вася отвечал, нимало не смущаясь:

— Ну да... что же тут особенного? Я так и делал: неделю строю мост,— потом еду в Париж; там проведу неделю,— и опять на Волгу. Все на экстренных поездках... По сто семидесяти верст в час!..

Ему ничего не стоило рассказать хотя бы о том, как он по желанию императора Николая I читал лекции инженерного искусства и небесной механики его сыну Александру. При этом дядю Васю вовсе не стесняло то обстоятельство, что он был приблизительно лет на десять моложе своего ученика.

Любовью гимназистов дядя Вася не пользовался, так же как не пользовался ею ни один воспитатель. Но так как дядя Вася большого вреда не делал, не устраивал «курилам» ловушек и, зная гимназические нравы, не жаловал фискалов, то и вражды к нему возраст не питал. А вранье его даже привлекало всегда многочисленных слушателей.

Обыкновенно после обеда, когда до вечерних занятий давалось два часа свободного времени, кто-нибудь из второклассников «собирал компанию» слушать дядю Васю. Охотники сейчас же находились. Они разыскивали дядю Васю в дежурной или в одном из классов, окружали его и просили:

— Василь Василич, расскажите что-нибудь из вашей прежней жизни.

Дядя Вася сначала, для виду, отнекивался, говорил, что ему некогда, что он все давно и забыл и, наконец (уже начиная сдаваться), что «не знает, о чем бы это рассказать»... Тогда его понемногу наталкивали на тему:

— Ну, расскажите что-нибудь про дворец. Вы же ведь бывали во дворце, Василь Василич?

И он принимался рассказывать, сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом закусывал удила и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой. Тем временем слушатели подбегали со всех сторон, и вскоре вокруг дяди Васи образовывалось густое сплошное кольцо. Некоторые шли по бокам дяди Васи, другие сзади, протискивая головы вперед, чтобы лучше слышать, третьи, обнявшись и образовав неразрывную цепь, пятились задом. Каждый раз, дойдя до одного из концов залы, дядя Вася медленно топтался на месте, чтобы дать время повернуться всему окружающему его живому ядру.

— Был однажды я приглашен на парадный бал во дворец,— говорил он, расправляя на обе стороны свою длинную бороду, придававшую ему вид библейского патриарха.— Ну, понятно, вся знать здесь: иностранные кронпринцы, дипломатический корпус, генералитет и все прочее... И уж, конечно, танцы танцуют не какие-нибудь, а, например, экосез, полонез и все в этом роде. Стою я на одном конце залы, а на другом сидит на бархатном малиновом диване маркграфиня Бранденбургская. Ну, прямо — писаная красавица... в белом атласном платье и шлейф аршин в девять... Только вдруг, вижу я, маркграфиня роняет веер... Тут сейчас же кидаются к ней князья там разные... графы, бароны... Понятно, каждому лестно услужить. А я и думаю себе: «Нет, думаю, хоть вы и бароны и графы, но вы еще не знаете Василь Василича Бинкевича...» А зала, надо вам сказать, шагов пятьсот имела в длину. Разбежался я, знаете ли, подпрыгнул этак вверх и через всю залу пролетел на одной шпоре. Пролетел, схватил раньше всех веер и уже несу маркграфине. А посланник американский... забыл его фамилию... страшный богач, миллионер... отводит меня в сторону и говорит тихонько: «Послушайте, передайте мне этот веер, мне необходимо для политических видов, а я вам за него тотчас же выдам чистоганом пятьсот тысяч долларов». Ну, уж я его и обрезал: «Нет, говорю, мистер...— эх, беда, забыл фамилию-то!.. ну, да у меня дома записано, потом припомню...— нет, мистер, русского гвардейского офицера не только за полмиллиона, а даже за все сокровища Нового Света нельзя купить...» После этого государь меня к себе

подзывает. «Здравствуй, Василь Василич, давно мы с тобой не видались» Я говорю: «Давненько, ваше величество». Ну, конечно, поговорили мы немного. Потом государь и говорит: «Знаешь, Василь Василич, я ведь тебя давно хотел видеть. Не желаешь ли ты занять пост министра путей сообщения?» А я отвечаю: «Нет, ваше величество, эта должность хлопотливая, и притом многие будут мне завидовать, дайте мне лучше место воспитателя в военной гимназии». — «Ну, хорошо, — говорит государь, — будь по-твоему. А за то, что ты американца сконфузил, объявляю тебе мое спасибо»...

На темы рассказов дяди Васи ходили между воспитанниками пародии, преувеличенные до абсурда. В одной из них говорилось, например, о том, как дядю Васю во время его путешествия со Стэнли выбросило на *необитаемый* остров. Тотчас же сбежались дикари, а дикари на этом необитаемом острове были поголовно людоеды. Сначала они кинулись было на дядю Васю с томагауками, но тотчас же опомнились. «Ах, это вы, Василь Василич! Извините, пожалуйста, а мы было вас совсем не узнали». — «То-то же, негодяи, смотрите у меня в другой раз, — заметил им строго дядя Вася. — А где же здесь пройти в Петербург?» — «А вот-с, сюда пожалуйста, сюда... Ступайте по этой дорожке, все прямо, прямо, так и дойдете до самого Петербурга», — отвечали дикари, падая на прощанье в ноги дяде Васе.

16 сентября, после обеда, дядя Вася ходил взад и вперед по зале, окруженный, по обыкновению, густой толпой воспитанников. Он рассказывал о том, как во время блокады Парижа прусской армией осажденные — в том числе, конечно, и дядя Вася — принуждены были питаться кониной и дохлыми крысами и как потом, по совету дяди Васи, его задушевный друг Гамбетта решился сделать путешествие на воздушном шаре.

Рассказ изобиловал комическими штрихами, и Бинкевич, поощряемый неумолкаемым дружным хохотом публики, врал особенно затейливо. Но он и не догадывался, что причиной смеха служили вовсе не комические места его импровизации, а те рожи, которые за его спиной строил второклассник Караулов (для чего-то перековерканный товарищами в Квадратулова).

Особенная прелесть шутки, откалываемых Квадратуло-

вым, заключалась в том, что он только что стащил в дежурной комнате со стола целый десяток блинчиков с вареньем, принесенных на обед дяде Васе в виде третьего блюда. (Дяде Васе постоянно приносили обед в возраст из дому, и это, между прочим, служило поводом некоторого уважения к нему со стороны воспитанников. Были и такие воспитатели, как, например, Утка, которые съедали казенный обед в удвоенной порции.) И теперь за спиной дяди Васи Квадратулов поедал эти блинчики, то отправляя в рот сразу по две штуки и делая вид, что давится ими, то улыбаясь, как будто бы от большого удовольствия, до ушей и поглаживая себя по животу, то, при поворотах, изображая лицом и всей фигурой страшнейший испуг.

Дядя Вася, набросив с живописными подробностями процедуру надувания шара, перешел уже к тем трогательным словам прощанья, которые он сказал отлетавшему Гамбетте. Но как раз на этом интересном месте его прервал дежурный воспитанник, подбежавший с докладом, что директор осматривает спальню младшего возраста. Дядя Вася поспешно выбрался из облепившей его толпы, обещав досказать воздушное путешествие Гамбетты как-нибудь в другой раз.

Буланин был в это время здесь же и видел, как второклассники со смехом окружили Квадратулова, поспешно доедавшего последний блин, и вместе с ним шумной гурьбой вошли в отделение. Но минуту или две спустя этот смех как-то вдруг оборвался, потом послышался сердитый голос Квадратулова, закричавшего на весь возраст: «А тебе что за дело, свинья?!» — затем, после короткой паузы, раздался бешеный взрыв общей руготни, и из дверей стремительно выбежал второклассник Сысоев.

Этот Сысоев, ненавидимый товарищами за неисправимое фискальство и постоянно ими избиваемый, всегда и как-то мучительно тревожил любопытство Буланина. Гимназическая шлифовка не положила своего казенного отпечатка на его красивое, породистое и недетски серьезное лицо с нездоровым румянцем, выступавшим неровными розовыми пятнами на щеках и под бровями. Для Буланина не была новостью открытая, непримиримая вражда, шедшая между этим худым, нежным мальчиком и всем вторым классом. И в этой-то самой припадочной, безумной дерзости, с которой Сысоев восставал против «всех»,

и заключалось для Буланина то загадочное, страшное и притягивающее, что так часто привлекало его внимание.

Выбежав из класса, весь бледный, трясущийся, с разорванным чьими-то руками воротником пиджака, Сысоев остановился в дверях и выкрикнул, задыхаясь от злобы:

— А вот нарочно... и пойду, и пожалуюсь... Скажу, кто украл, скажу!.. Вот нарочно профискалю... Назло, назло, назло...

Из класса со свистом и гиканьем выскочило человек десять с Квадратуловым во главе. Сысоев бросился от них, точно заяц, преследуемый собаками, весь скорчившись, неровными скачками, спрятав голову между плеч и поминутно оглядываясь. За ним гнались через обе залы, и только тогда, когда он с разбегу влетел в «дежурную», преследователи так же быстро рассыпались в разные стороны.

В этот вечер среди второклассников было замечено странное, необычное, но глухое оживление. В те свободные полчаса, что давались до вечернего чая, они ходили кучками, по-четверо и по-пятеро, обнявшись. Говорили о чем-то чрезвычайно горячо, но вполголоса, наклоняясь один к другому и боязливо озираясь по сторонам: при приближении новичка они замолкали с враждебным видом. Другие в одиночку шныряли между этими кучками, подходили к ним поочередно, бросали на лету какие-то слова, производившие еще большее волнение, и торопливо, с таинственным лицом, спешили к следующим кучкам. Новички с боязливым любопытством наблюдали за этой загадочной суетой. Чувствовалось, что готовится что-то большое, серьезное и нехорошее.

Буланин зазвал за классную доску Сельского, всегда благоволившего к нему, и стал просить умоляющим тоном:

— Послушай, Сельский, голубчик, что такое во втором классе делается? Ну, миленький, ну, расскажи, пожалуйста...

— Много будешь знать — скоро состаришься, — сухо ответил Сельский.

— Сельский, душечка, ей-богу, никому не скажу. Прошу тебя... пожалуйста...

Сельский отрицательно покачал головой и хотел уйти из-за доски. Но Буланин ухватился за его рукав и еще настойчивее пристал к нему. В конце концов твердость

Сельского не выдержала, тем более что у него самого, по-видимому, чесался язык поделиться секретом.

— Ну, так и быть... ладно,— сказал он, сдавшись окончательно.— Только смотри, помнить уговор: чур, никому ни полсловечка.

И, обернувшись во все стороны с недоверчивым видом, Сельский добавил, понижая голос:

— Сегодня ночью старички хотят «накрыть» Сысоева.

Буланин не понял всего смысла, заключавшегося в словах Сельского, но тон, каким они были произнесены, и этот незнакомый термин сразу произвели на него впечатление чего-то сверхъестественного и ужасного, подобно тем простым словам, которые иногда в лихорадочных снах принимают такое злое, потрясающее значение.

— Накрыть? Ты сказал — накрыть? — повторил Буланин, широко раскрывая глаза.— Что это значит?

Доброе, миловидное лицо Сельского нахмурилось, и он отвечал с напускной суровостью:

— А очень просто. Накроют голову одеялом или подушкой, чтоб не кричал, и отдают по чем попало... И так и нужно,— добавил он, нарочно разогревая в себе злое чувство.— Так и нужно. В другой раз пусть не фискалит, каналья.

Буланин вдруг почувствовал странный, раздражающий холод в груди, и кисти его рук, мгновенно похолодев, сделались влажными и слабыми. Ему представилось, что на его собственное лицо наложили мягкую подушку и что он задыхается под ней.

— Про кого ж он... профискалил? — спросил, справившись, наконец, со своим воображением, Буланин.

— Про Караулова. Караулов спер у дяди Васи какие-то там блинчики, что ли, а этот пошел и профискалил.

— Зачем же он это сделал? Ему-то что?

— Ну, вот, поди же!.. Одно слово — *псих!* — решил Сельский, выговаривая это определение с невыразимым презрением.— Еще куда бы ни шло, если б он самому дяде Васе сказал,— дядя Вася не обратил бы внимания,— а то он в дежурной прямо на директора наткнулся, да и бухнул при нем. А директор взял да и оставил Караулова до рождества без отпуска. Может быть, даже погоны снимут...

Сельский повернулся, чтобы выйти из-за доски, но Буланин еще 'раз остановил его:

— Сельский, подожди... А очень больно ему будет, когда его... накроют? — спросил он с выражением страдания в глазах.

— Н-да-а... Уж в другой раз позабудет, как и фискалить... Наверно, в лазарет завтра пойдет. А ты, Буланка, вот что: если будешь болтать, плохо тебе придется. Понимаешь?

За вечерним чаем все отделения возраста сидели обыкновенно на разных столах. Буланин со своего места видел лицо Сысоева и его длинные, тонкие пальцы, крошившие нервными движениями булку. Пятна румянца выступили резче на его щеках, глаза были опущены вниз, правый угол рта по временам судорожно подергивался. «Знает ли он? Предчувствует ли он что-нибудь? — думает Буланин, не отводя испуганных глаз от этого лица. — Что он будет чувствовать всю эту ночь? Что он будет чувствовать завтра утром?» И нестерпимое, жадное любопытство овладело Буланиным. Ему вдруг до мучения, до боли захотелось узнать *все*, решительно все, что теперь делается в душе Сысоева, ставшего в его глазах каким-то необыкновенным, удивительным существом; захотелось отождествиться с ним, проникнуть в его сердце, слиться с ним мыслями и ощущениями.

Под влиянием пристального взгляда Сысоев медленно поднял ресницы и повернул голову. Глаза его в упор встретились с глазами Буланина и остановились, и в ту же секунду Буланин совершенно ясно понял, что Сысоев уже *знает*, что будет с ним сегодня вечером, знает даже, что и Буланину это известно, знает даже и то, что теперь происходит в душе самого Буланина. Как бы в ответ на долгий взгляд Буланина какая-то чудная улыбка, слабая, грустная и ласковая, чуть-чуть тронула губы Сысоева, а ресницы его опять медленно опустились вниз с болезненным и усталым выражением.

После молитвы в спальне младшего возраста не было обычной возни, хохота и беготни. К одиннадцати часам все стихло. Дядя Вася в последний раз обошел все проходы спальни и ушел в дежурную. Следом за ним по коридору прокрался кто-то босой, в одной рубашке, с головой, закутанной тужуркой. Буланин догадался, что это «сторож». Действительно, через пять минут «сторож» вернулся и, не открывая головы, протяжно свистнул. Тотчас

же в том отделении, где спал второй класс, слышался звук, в значении которого Буланин не мог ошибиться: кто-то опустил висячую лампу вниз и затем быстро толкнул ее вверх, чтобы она потухла. Вслед за первой потушили и вторую лампу. В спальне стало темнее.

Буланин лежал, чутко прислушиваясь, но ничего не мог разобрать, кроме дыхания спящих соседей и частых, сильных ударов своего сердца. Минутами ему казалось, что где-то недалеко слышатся медленные крадущиеся шаги босых ног. Тогда он задерживал дыхание и напрягал слух. От волнения ему начинало представляться, что на самом деле и слева, и справа, и из-за стен крадутся эти осторожные босые ноги, а сердце еще громче, еще тревожнее стучало в его груди.

И вдруг среди этого жуткого безмолвия раздался громкий, прерывающийся голос Сысоева, в котором слились вместе и страх, и тоска, и ненависть:

— Кто там? Я вижу... Я вижу тебя! Зачем ты прячешься?..

Буланин приподнялся и сел на кровати, со страхом глядя в темноту. Нижняя челюсть его, против воли, часто и сильно стучала о верхнюю.

— Оставь! — закричал пронзительно Сысоев. — Оставь меня!.. Ос...

Крик внезапно оборвался, окончившись глухим стоном. «Они подушкой его... подушкой», — мелькнуло в голове Буланина, охваченного жалостью и ужасом. Потом слышался сдержанный шум молчаливой, ожесточенной возни, тяжелое дыхание, шлепанье босых ног и частые, как град, тупые удары.

Сколько времени это продолжалось, Буланин не мог определить: может быть, минуту, может быть, полчаса. Вдруг «сторож» опять свистнул. Десятки босых ног беспорядочно, быстро и звонко зашлепали по паркету, где-то повалили табуретку, кто-то задел за кровать, и тотчас же все опять стихло.

До слуха Буланина долетели слабые протяжные стоны... Сысоев уже не мог кричать.

Сельский был прав: на другой же день фискала отправили в лазарет, а через месяц родные вовсе взяли его из гимназии. Непонятным, поразительным казалось Буланину, почему, покидая навек гимназию, Сысоев не вос-

пользовался последней мстью, оставшейся у него в руках, почему он ни слова никому не сказал о том, что с ним делали в ту страшную ночь: без сомнения, зачинщиков по меньшей мере сильно высекли бы. И в этом умолчании Буланину чудилось присутствие того же загадочного, таинственного, что так тянуло его к Сысоеву за вечерним чаем.

Довольно сильным утеснениям с разных сторон подвергались и «зубрилы-мученики».

В то время когда форсилы и отчаянные не без хвастливой гордости декламировали:

Единицы да нули —
Вот и все мои баллы,
Двоек, троек очень мало,
А пятерок и «шеперок»
Совершенно не бывало,—

для зубрилы единица казалась самым страшным предметом в мире. Чтобы избежать «кола», зубрила каждый вечер так старался, что на него и жалко и забавно было смотреть. Заткнув оба уха большими пальцами, а остальными плотно придавив зажмуренные глаза и качаясь взад и вперед, зубрила иногда в продолжение целого часа повторял одну и ту же фразу: «Для того чтобы найти общее наименьшее кратное двух или нескольких чисел... для того чтоб найти... чтоб найти... чтоб найти...» Но смысл этих слов оставался для него темен и далек, а если, наконец, и запечатлевалась в уме его целая фраза, то стоило резвому товарищу подбежать и вырвать книгу из-под носа зубрилы или стукнуть его мимоходом по затылку, как все зазубренное с таким великим трудом мгновенно выскакивало из его слабой головы. Несмотря на все старания зубрилы избежать единицы, он все-таки на другой день получал ее и каждый раз неизменно, садясь на место, заливался горькими слезами, вызывавшими дружный хохот отделения.

Из числа угнетаемых больше всего могли бы вызывать сожаление «рыбаки», или «мореплаватели». Так назывались несчастные мальчики, страдавшие весьма нередким в детском возрасте недостатком, заключавшимся лишь в неумении во-время просыпаться ночью. Нет сомнения, что

каждый из этих робких, запуганных, нервных детей,— будь поменьше за ним надзора и побольше снисхождения к нему,— без труда выучился бы сдерживать свои невольные отправления. Но по отношению к ним и начальство и товарищи делали все от них зависящее, чтобы рыбаки ни на минуту не забывали о своем недостатке...

Прежде всего начальство распорядилось отделить рыбаков от товарищей и отвести им отдельное место, поближе к умывалке. Затем обыкновенные волосяные матрацы у рыбаков были заменены соломенными тюфяками, конечно, ввиду экономии. Тюфяки эти не обновлялись в течение целого года (и даже чуть ли не переходили из поколения в поколение), так что солома в них окончательно сгнивала, обращаясь в зловонную густую массу. Проходя мимо «рыбацкой слободки», каждый воспитанник непременно зажимал крепко нос и на несколько секунд затаивал дыхание. Нервных субъектов прямо-таки тошнило от этого ужасного запаха.

Нечего и говорить о том, как «травили» и «изводили» бедных мореплавателей товарищи. Каждый проходивший вечером около их кроватей считал своим долгом бросить по адресу рыбаков несколько обидных слов, а рыбаки только молчали, глубоко сознавая свою вину перед обществом. Иногда кому-нибудь вдруг приходила в голову остроумная мысль — заняться лечением рыбаков. Почему-то существовало убеждение, что от этой болезни очень хорошо помогает, если пациента высечь ночью на пороге дверей сапожным голенищем. И вот, часов в двенадцать, целая орда хватала спящего рыбака за руки и за ноги, влекла его к дверям, распластывала поперек порога и начинала под общий хохот, свист и гиканье симпатическое лечение.

Товарищи все-таки обращали на рыбаков больше внимания, чем начальство. Они, хотя и в дикой форме, но проявляли своеобразную заботливость об их здоровье. Начальство же и медицинский персонал глядели на этот вопрос с невозмутимым равнодушием.

«Тихони» и «слабенькие» были в гимназии такими же, как и во всех учебных заведениях. На «подлиз» смотрели несколько строже. Если замечали, что воспитанник чересчур часто суется к преподавателям с предложением ножичка и карандашика или лезет к ним с просьбами

объяснить непонятное место, или постоянно подымает кверху руку, говоря: «Позвольте мне, господин преподаватель, я знаю...», в то время когда спрошенный товарищ только хлопает в недоумении глазами,— когда замечали за кем-нибудь такое поведение, его считали подлизой...

Но «подлизываться» слишком долго и слишком откровенно было и невыгодно и невозможно, потому что в конце концов весь класс ожесточался против подлизы. Тогда стоило ему только встать с предложением услуг или поднять кверху руку, как весь класс начинал топтать ногами и кричать: «Садись!.. На место, на место...» В то же время бесцеремонные руки хватались за фалды его пиджака и тянули его обратно на скамейку. С целым классом шутить было опасно, и если преподаватель в этих случаях спрашивал подлизу, что он хотел сказать или сделать, подлиза, поспешно садясь на место, бормотал:

— Нет, нет, ничего, господин преподаватель. Я ошибся... я так...

Так сортировала эта бесшабашная своеобразная мальчишеская республика своих членов, закаляя их в физическом отношении и калеча в нравственном. И много-много выпало на долю Буланина колотушек, голодных дней, невыплаканных слез и невысказанных огорчений, пока он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире. Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная, родственная связь. Так это или не так — это покажет будущее. Настоящее ничего не показало.

VII

Военные гимназии.— Кадетские корпуса.— Фиников.— Иван Иванович.— Труханов.— Рябков.— Дни рабства.— Катастрофа.

Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто: воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и

с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах.

Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распушенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений, время столкновения гуманного милютинского, штатского начала с суровым солдатским режимом.

Большая неразбериха господствовала в отношениях. Штатские преподаватели еще продолжали учить фронту, произнося командные слова на дьяконский распев. Между ними были большие чудачки, которым оставалось год-два до полной пенсии; на этих воспитанники чуть не ездили верхом. И состав преподавателей все еще был каким-то допотопным. Чего, например, стоил один Фиников, учитель арифметики в младших классах. Приходил он в класс оборванный, нечесаный, принося с собою возмутительный запах грязного белья и никогда не мытого тела. Должно быть, он был вечно голоден. Однажды кадеты положили ему в выдвижной ящик около кафедры, куда обыкновенно клали мел и губку, кусок крупяника, оставшегося от завтрака. Фиников, как будто по рассеянности, съел его. С тех пор его прозвали «крупяником», но зато мальчишки никогда уж впоследствии не забывали Финикова: если на завтрак давали какое-нибудь нелюбимое блюдо, например кулебяки с рисом или зразы, то из числа тех кусков, которые уделялись дядькам, один или два шли непременно в пользу Финикова.

Ставя отметки, он терпеть не мог середины — любимыми его баллами было двенадцать с четырьмя плюсами или ноль с несколькими минусами. Иногда же, вписав в журнал круглый ноль, он окружал его со всех сторон минусами, как щетиной, — это у него называлось «ноль с сиянием». И при этом он ржал, раскрывая свою огромную грязную пасть с черными зубами.

Про него между кадетами ходил слух, что он, производя какой-то физический опыт, посадил свою маленькую дочь в спирт и уморил ее. Это, конечно, было мальчишеским враньем, но в Финикове и вправду чувствовалось что-то ненормальное; жизнь свою он кончил в сумасшедшем доме.

Многие из учителей «зашибали». Этим пороком страдал добрейший в мире человек — Иван Иванович, учитель истории. Но он никогда не терял внешнего приличного вида. В синем форменном фраке с золотыми пуговицами, в безукоризненном белье, он, бывало, ходит-ходит по классу от окон к дверям и вдруг, точно мимоходом, юркнет за доску. Вынет из бокового кармана склянку, глотнет из нее несколько раз и опять выходит наружу, пожеывая какую-то лепешечку. По классу проносится струя спиртного запаха, кадеты гогочут, а Иван Иванович говорит жалобным тоненьким голоском, прижимая пальцы к вискам:

— Не смейтесь, господа, нехорошо смеяться. Я человек больной, у меня порок сердца. Если я не буду принимать лекарства, я могу каждую минуту умереть.

Ставил он исключительно высшие баллы, а в старших классах перед экзаменами предлагал кадетам написать ему на общей бумажке, кто что хочет отвечать. На уроках его каждый делал, что хотел: читали романы, играли в пуговки, курили в отдушник, ходили с места на место. Он только нервно потирал свои виски пальцами и упрасивал:

— Господа, господа, потише... Пожалуйста, потише... Инспектор услышит...

У него было два прозвища: «Фан Фаныч» и — почему-то — «Елена с ушами». Он был маленький, белокурый, лысенький, в пелену, которое у него поминутно спадало. Но у этого кроткого, забитого человека водилось одно редкое и симпатичное пристрастие — любовь к истории Петра Великого. На ее прохождение он тратил почти весь год в седьмом классе и читал ее, конечно, не по Иловайскому, а по серьезным научным источникам. Когда кадет, отвечая урок о Полтавской битве, приводил знаменитый петровский указ, кончающийся словами: «а о Петре ведайте, что Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие», Иван Иванович неизменно останавливал его и, потирая виски, со слезами на глазах восклицал тоненьким, восторженным голосом:

— Ах, какие слова! Повторите, пожалуйста, еще раз это прекрасное место. Господа, господа, прислушайтесь, прошу вас.

И уж, конечно, ставил отвечавшему двенадцать баллов.

Иногда, прерывая свою лекцию о Петре, он вдруг восклицал мечтательно:

— Ах, господа! Всегда самая моя заветная мысль была — это приобрести хорошую английскую гравюру с портрета Петра Великого. Но я человек бедный. Я бедный человек, господа...

На почве этой его необузданной любви к памяти великого царя произошел однажды смешной и трогательный эпизод. Кадет Трофимов — рыжий длинный балбес со ртом до ушей и в веснушках — встал, науськанный кем-то, и спросил:

— Иван Иванович, а правда, что Петра называли великим за то, что он был большого роста?

— Болван! — вдруг завизжал Иван Иванович и побегрел, и затопал ногами. — Негодяй! Шут!

И, схвативши с тумбочки губку, он запустил ею в Трофимова. Но этого ему показалось мало. Он быстро взбежал на кафедру, развернул журнал и одним движением пера вклеил Трофимову такую единицу — первую единицу за всю свою учительскую деятельность, — которая растянулась по крайней мере на шесть чужих клеток вверх и вниз.

Пил и другой учитель — русского языка — Михаил Иванович Труханов, и пил, должно быть, преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно художественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы, слушали его чтение, как зачарованные, боясь пошевелинуться, боясь пропустить хоть одно слово. Какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе.

Учителя немецкого языка, все как на подбор, были педантичны, строги и до смешного скупы на хорошие отметки. Их ненавидели и травили. Зато с живыми, веселыми французами жили по-дружески, смеялись, остряли на их уроках, хлопали их по плечу. Если французский язык был в начале и в конце классных занятий, то особенным шиком считалось вместо молитвы до и после

ученья прочитать, например, «Чижика» или «Эндер бэн-дер козу дра!»

Однако были и свирепые преподаватели, например учитель географии, подполковник Лев Васильевич Рябков. Сухой, желчный, вспыльчивый человек. Он решительно всем воспитанникам, даже в старших классах, говорил «ты», младших дергал за уши и вытягивал линейкой между плеч, а иногда даже лягался шпорой. Но любимым для него развлечением было вытащить к карте кадета с польской фамилией и непременно католика. В течение целого часа изощрялся над ним Рябков, зло и грубо карикатуря его язык, национальность и религию. Тут бывало и «жечь посполита», и «от можа и до можа», и «крулевство польске», и «матка боска Ченстоховска, змилуйся над нами, над поляками, а над москалями, як собе хцешь».

Этот Рябков удивительно красиво и точно чертил на доске мелом географические карты — прямо точно печатал.

Но бедному Буланину было в этот год не до науки. Над ним стряслась жестокая и позорная катастрофа.

Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна, по своему властному, придирчивому и чувствительному характеру, во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса. Что ей за дело до того, что она навеки погубит товарищескую репутацию Буланина в его тесном, замкнутом кадетском мирке. Конечно, она считает все эти железные внутренние законы просто мальчишескими выдумками, которые разлетятся прахом, стоит только открыть глаза начальству. Так думал за нее Буланин, и не ошибался, и был в данном случае мудрее и проницательнее своей матери.

И он не открывался ей. Он предпочитал приходить в корпус с пустыми руками и получать жестокие побои от Грузова. Иногда ему удавалось внести в счет долга гривенник, или пару яблоков, или пяток украденных у матери папирос. Но долг от этого уменьшался едва заметно, потому что Грузов запутал своего должника сложной системой ростовщичьих процентов.

Наконец однажды, зимним утром, в понедельник, после чаю, когда во всех классах и залах горели лампы, а кадеты уныло дрожали от холода, Грузов ткнул Буланина кулаком в зубы и сказал:

— Слушай меня, ты, жулябия! Вижу, что деньги мои ты зажил. Начнем счет снова. Ну, вот я тебе говорю: утренняя булка две копейки, вечерняя — копейка, завтрак — три копейки, второе блюдо за обедом — две, третье — три. Когда хочу — тогда спрашиваю. Согласен? И это пусть будет за проценты. А два рубля отдашь потом.

— Хорошо, — сказал Буланин, не поднимая глаз.

— Кроме того, будешь мне каждый день чистить сапоги. Это тоже за проценты... Да?

— Хорошо.

Наступило для Буланина жуткое, тяжелое время. Грузов отбирал у него все утренние булки, все вкусные завтраки и непременно третье блюдо за обедом, а иногда и третье и второе. Сапоги он должен был чистить Грузову до совершеннейшего глянца, иначе тот бил его и прогонял чистить вторично. Все это, вместе с недоверием к матери, с невозможностью объясниться с нею и попросить помощи, сильно угнетало мальчика. Он опустился, стал рассеян, сделался неряхой, перестал учиться. Его постоянно наказывали, то ставя под лампу, то лишая пищи. И случалось нередко, что за целый день он питался только тарелкой супа и двумя кусками черного хлеба — остальное шло Грузову и школьному правосудию.

Он побледнел, погрубел, обозлился и, сам не желая этого, очутился на счету отчаянного. Его все чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы эта воспитательная мера помогала его расстроеной душе. Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики, о пользе труда и науки, о мудрости опыта, в которую надо слепо верить, а впоследствии благодарить за преподанные уроки, и о прочем. Все это были золотые, но ужасно скучные и неубедительные истины.

Буланин и сам уж не так охотно ходил в отпуск в те редкие недели, когда это ему разрешалось. Он изнервничался, стал шутовать перед товарищами, терял мало-

помалу вкус к жизни и детское самоуважение. Тут-то над ним и разразилась катастрофа.

В воскресенье он был без отпуска. После обеда устраивали «слона», играли «в горки», переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали себе лица сажей из печки. Буланиным овладела какая-то пьяная, истерическая скука. Стали ездить верхом друг на друге. Буланин сел на плечи рослому Конисскому и долго носился на нем по залам, пуская бумажные стрелы.

В арке, между залами, стоял штатский воспитатель Кикин, — так, безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчишками, так и перед начальством. Буланину бросились в глаза пряди его маслянистых, бурых, разноцветных волос, спускавшихся с затылка на воротник. Он велел своей «лошади» остановиться и взял осторожно двумя пальцами одну косичку. Для чего он это сделал, он и сам не знал. Против Кикина он не имел злобы. Молодечествовать тоже было не перед кем, потому что кругом не было зрителей. Просто он это сделал от темной, острой тоски, которая переполняла его душу.

Но Кикин вдруг обернулся, побледнел, крикнул: «Что вы делаете!» — и поспешно побежал в дежурную. Через полчаса Буланина отвели в карцер, где продержали сутки.

А в четверг, после утреннего чая, всех кадет младшей роты, вместо того чтобы распустить по классам, построили в рекреационной зале. Собрались воспитатели всех четырех отделений, первого и второго класса, и наконец — и это было уж совсем необыкновенным явлением — пришел директор. Было еще не светло, и в классах горели лампы.

Директор вынул из-за обшлага какую-то бумагу, и Буланин вдруг задрожал мелкой, противной, безнадежной дрожью.

— По постановлению педагогического комитета, кадет Буланин, позволивший себе такого-то числа возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в размере десяти ударов розгами.

Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было сто мальчиков, ничем друг от друга не отличавшихся, и

между ними равный всем Буланин,— и вот он выделился, далеко отошел ото всех, заклеянный исключительным позором. Тяжесть навалилась на него, пригнула его к земле, приплюснула.

— Кадет Буланин, выйдите вперед! — приказал директор.

Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни. Так же его вели, и он даже не помышлял о бегстве или о сопротивлении, так же он рассчитывал на чудо, на ангела божия с неба, так же он на своем длинном пути в спальню цеплялся душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделанный шаг, и так же он думал о том, что вот сто человек остались счастливыми, радостными, прежними мальчиками, а я *один, один* буду казнен.

В спальне, в чистилке, стояла скамейка, покрытая простыней. Войдя, он видел и не видел дядьку Балдея, державшего руки за спиной. Двое других дядек — Четуха и Куняев — спустили с него панталоны, сели Буланину на ноги и на голову. Он услышал затхлый запах солдатских штанов. Было ужасное чувство, самое ужасное в этом истязании ребенка,— это сознание неотвратимости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль...

Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да, полно, зажила ли?

ТАПЕР

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не мое дело... У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой везилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голу-бушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых,— большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного,— круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе

с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно» и «брютально», и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угод-

ника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакла-дывал то одно, то другое недвижимое имущество, не за-глядывая в будущее с беспечностью избалованного судь-бой грансенъора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюр-призом устроить для своей молодежи неожиданное раз-влечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смот-ревшей брезгливо на эти «эскапады дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Нико-лаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Ни-кто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году¹ с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра; Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, перетрав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука в свою очередь оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и

¹ Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З — вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. (Прим. автора.)

ловкая, как обезьяна, кокетка и болтуня, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запущенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного... А потом я ее сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно,— насмешливо возразила Лидия.— Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйста-с. Извольте-с посмотреть сами,— уклончиво ответил Лука.— Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйста.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, размазывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

— Только, барышня, не браните меня,— зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны.— Разрази меня бог — в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по

обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать — двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

— Да... я играл,— ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости.— Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

— Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и униженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кадрили?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— *Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible*¹, — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

¹ Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (франц.).

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, *mademoiselle*,— резко повернулся он к Лидии,— то, кроме полек и кадрилией, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

— Воображаю!— деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет,— упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагреня нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

— Угодно вам «*Rapsodie Hongroise*»¹ номер два Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как

¹ «Венгерская рапсодия».

этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапер, папа,— ответила тихо Татьяна Аркадьевна.— Правда, отлично играет?

— Тапер? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев.— Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

— Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили,— ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку.— Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно-

изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, изпод которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как, в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборозжен суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную

волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием,— продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер два.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его паль-

дам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров,— заговорил почти шопотом Аркадий Николаевич,— возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте,— в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть,— возразил было мальчик.

— Тсс!..— закрыл глаза Руднев.— Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

ПОХОД

Пехотный Инсарский полк выступает в ночной поход после дневки в большой деревне Погребищах. В темноте ненастного осеннего вечера идет странная, кипучая и осторожная суতোлка. Слышно, как вдоль всей широкой и грязной деревенской улицы сотни ног тяжело, торопливо, вразброд, шлепают по лужам, раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгает и звенит железо о железо. Кое-где мелькают фонари; их желтые, расплывающиеся в тумане пятна точно сами собой держатся высоко в воздухе, раскачиваясь и вздрагивая.

Солдаты собираются быстро и с охотой. Утомленные длинными переходами, оборвавшиеся, исхудалые, они рады тому, что завтра с последним корпусным маневром кончится давно надоевший лагерный сбор и полк повезут по железной дороге на зимние квартиры. Хотя днем никто не ложился, но все чувствуют себя бодро. Той озлобленной, вычурно скверной ругани, которую только и можно услышать между матросами, солдатами и арестантами, — сегодня совсем не слышно.

Подпоручик Борис Владимирович Яхонтов, младший офицер седьмой роты, в первый раз участвует на больших маневрах, и они еще не утратили для него своеобразной прелести кочевой жизни. Все ему продолжает нравиться: ежедневная перемена местности, деревень, лиц и оттенков в наречиях; дневки в опрятных малорусских хатах, наполненных душистым запахом чебреца и полыни, стоящих

пучками за иконами; ночлеги на голой земле, под низкой, в форме карточного домика, палаткой, сквозь полотно которой нежно и неясно серебрятся звезды; здоровый аппетит на привалах под затяжным дождем, освежающим тело и заставляющим щеки приятно и сильно гореть... Предстоящий сегодня ночной переход заранее возбуждает Яхонтова своей необычностью. Итти бог знает куда, по незнакомым местам, глухой дождливой ночью, ничего не видя ни впереди, ни рядом; итти таким образом не одному, а вместе с тысячью других людей, представляется ему чем-то серьезным, немного таинственным, даже жутким и в то же время привлекательным.

Вечером он провозился над отправкой своих вещей, опоздал в строй и теперь торопится поспеть к роте раньше, чем его отсутствие заметит ротный командир. Но найти свою роту ночью гораздо труднее, чем это казалось днем, во время пробного сбора. На пути то и дело попадают какие-то заборы и канавы, которых днем не было; а ночь так темна, что невольно хочется закрыть глаза и итти ощупью, протянув вперед руки, как ходят слепые.

Седьмая рота раньше других подтянулась к сборному пункту. Последние, запоздавшие люди, подоткнув полы шинелей под пояса, сбегаются к строю и протискиваются в свои ряды, задевая товарищей ранцами и гремя медными баклагами о ружейные стволы. Голоса звучат глухо, безжизненно и однообразно, точно они выцвели, потеряли силу в этом осеннем дожде.

— Куда прешь? Нешто не видишь, что в чужой взвод втесался? Экой какой ты, братец, право, косопузый!.. — Да ну, ворочайся, что ли, орясина. — О, щоб тобі лысого батька, трясца твоей матери!..

— И чего ты крутишься, Сероштан? — укоризненно тонким голоском замечает унтер-офицер Соловьев неуклюжему солдатику, который никак не попадет в свое место. — Чего ты все крутишься? Вертит тебя, словно навоз в проруби, а чего — неизвестно. Да обуи глаза-то, чо-орт!

Некоторые солдаты движениями плеч и локтей подкидывают на себе и поправляют удобнее ранцы, уминают складки шинелей и туже подпоясывают ремни, помогая друг другу.

— А ну-ка, земляк, стани мне сзади шинель! Потуже, потуже, не бойсь, не лопну. Да ты коленкой-то, коленкой

в спину упрись. О-о-о, так, так! Ну, вот теперь ладно. Спасибо вам, землячок!

Старый солдат, «дядька» Веденяпин, запевала и общий увеселитель, балагурит вполголоса.

— Ну, ребяташки, завтра сабаш маневрам. По-оскала седьмая рота по чугунке. У-у-ух! — протягивает он, подражая паровозу. — А какая у меня, братцы, в городе баба осталась, — сахар! Сейчас она мне это пирогов напекет, за водочкой сбегает, самоварчик взбодрит. «Пожалуйте, мол, батюшка, Фрол Иваныч, господин Сквородин, по прозванью Веденяпин... откушайте, сделайте милость!..»

— А казаль хлопцы, що завтра горилку будут давать, — неожиданно произносит хриплым голосом ленивый и тупой рядовой Легкоконец.

— Горилку? — язвительно подхватывает Веденяпин. — Это, братец, у нас в Туле называется: захотела кобыла укусу...

Немного в стороне от роты, на пригорочке стоит ротный командир, штабс-капитан Скибин. Около него горнист держит на высокой палке фонарь, который бросает на землю неровное, мутное, движущееся пятно. Василий Васильевич Скибин, мужчина высокий, костлявый, сутуловатый, длиннорукий и весь какой-то неловкий. От его наружности, от нерешительного, близорукого взгляда, от беглой улыбки, даже от шаткой, приседающей походки веет чем-то слабым, удрученным, недоброжелательным и жалким. В нем есть что-то бабье, старушечье. Говорит он тихо, мягким и сиплым, точно усталым голосом, но почти всегда вещи неприятные и злые. Всею полку известно, что его жена — худая, гибкая дама, похожая на ящерицу, — вот уже четыре года как влюблена в поручика Вержбицкого, влюблена открыто, ревниво и бестолково. Вероятно, благодаря этому обстоятельству Василий Васильевич с особенной нелюбовью относится к молодым офицерам.

Яхонтов подошел к фонарю и, остановившись в двух шагах от Скибина, приложил руку к фуражке. Ротный командир заметил его и, глядя ему в кокарду, сказал своим вялым, утомленным голосом:

— Если вам угодно опаздывать, подпоручик, переводитесь в другую роту. Здесь у меня не танцевальный

вечер, а служба-с. Иначе я подам командиру полка рапорт, чтобы вас из моей роты убрали. Да-с! Мне эти мазуристы и дамские хвосты не нужны.

Он помолчал немного, затем повернул к двум другим офицерам свое унылое, худое лицо с дряблой кожей и толстыми усами и продолжал только что прерванную речь:

— Господ офицеров прошу на походе мест своих не оставлять. Поручика Тумковского прошу... Где вы, поручик, я вас не вижу?.. Ага!.. Так вы, поручик, пожалуйста, обращайте внимание на фонарь в хвосте шестой роты и держите от него дистанцию. Да наблюдайте, господа, за тем, чтобы солдаты не спали на ходу. А то, знаете, задремлет, подлец, и полетит вместе с ружьем. Впрочем, я сам... Грегораши! — кидает он куда-то в темноту.

Это восклицание услужливо подхватывается в ближних рядах и быстро перекачивается из взвода во взвод.

— Фельдфебеля к ротному! Фельдфебеля к командиру! Тарас Гаврилыч, пожалуйста к ротному!..

Фельдфебель Грегораши, преувеличенно спеша и разбрасывая далеко вокруг себя грязь, подбегает на согнутых ногах, точно подплывает к фонарю.

— Я, ваше благородие!

— Чтобы люди на ходу не спали! От строя чтобы никто не отлучался. Скажешь унтер-офицерам, чтобы смотрели. Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! Так что я уж объяснял им...

— Молчи! Затем прошу вас, господа, наблюдать, чтобы люди не курили, не зажигали спичек, не разговаривали и вообще не шумели... А то нас может заметить неприятель,— прибавляет Скибин с едва заметной насмешкой.— Грегораши, ты у меня за это отвечаешь. Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! Так что я...

— Молчи! Главное, господа, чтобы люди не спали. Выколят каналы друг другу глаза, а ты потом за них отдувайся. Подпрапорщик Москвин, вы будете замыкать роту. Смотрите, чтобы не было отсталых. Да, вот еще что. Сзади роты пойдет вот этот болван (Скибин показывает через плечо большим пальцем на горниста), так, пожалуйста, поглядывайте, чтобы он нес фонарь светом назад,

к восьмой роте. Это тоже... от неприятеля. Затем-с... Впрочем, кажется, все. Прошу вас, господа офицеры, по местам!

Офицеры расходятся. Скибину подводят его лошадь, старую гнедую одноглазую кобылу, купленную нарочно для маневров из кавалерийского брака. Зовут ее «Настасьей». На ходу она держит шею гусакom, высоко подымает разбитые шпaтom ноги и так задирaет назад голову, точно что-то разглядывает на небе (таких лошадей зовут в кавалерии звездочетaми). Скибин долго прыгает вокруг нее на одной ноге, осыпая руганью и лошадь и горниста, и, наконец, грузно вваливается в седло.

Рота готова к выступлению. Но проходит десять, двадцать минут, полчаса, а стоящая впереди шестая рота не трогается с места. Это беспричинное, вынужденное бездействие в темноте, под дождем, начинает тяготить и беспокоить людей. Они нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, вздыхают и молчат.

— Чорт их знает, чего они там застряли?! — говорит вслух, но точно сам с собою, Скибин, проезжая медленно вдоль роты и поталкивая каблуками упирающуюся лошадь.— Вечное безобразие!

Стоящий неподалеку фельдфебель вежливо откашливается и тоже, как будто бы размышляя вслух, говорит:

— Должно быть, мы первую бригаду вперед пропускаем. А то чего же стоять!..

— Первую бригаду! — сердито возражает Скибин, останавливая лошадь.— Так на то есть расписание, кому когда выступать, чтобы потом не выходило ерунды. Вообще постоянно эти «моменты»¹ что-нибудь напутают.

В его голосе Яхонтову слышится всегдашняя зависть пехотного строевика к штабным офицерам, а также и доля уверенности в том, что если бы ему, Скибину, было поручено это дело, то все устроилось бы очень скоро, просто и хорошо.

Проходит еще несколько томительных минут. Шестая рота вдруг зашевелилась, зашлепала ногами и как будто бы затопталась, не сходя с места. Только по движению фонаря, заколебавшегося вверх и вниз, можно было судить, что она не стоит на месте, а тронулась вперед.

¹ Офицеры главного штаба. (Прим. автора.)

Скибин поворачивается к строю и произносит вполголоса, небрежно сливая слова:

— Ружья-вольно, шагом-марш!

Через четверть часа весь полк медленно вытягивается вдоль широкой почтовой дороги. Ни людей, ни лошадей не видно в ночном мраке; только еле-еле мерцает впереди длинная цепь фонарей, которыми каждая рота показывает дорогу следующей за ней части.

Неудобства ночного похода скоро дают себя знать. Через каждые двести — триста шагов происходят задержки. Передние ряды то и дело останавливаются, а задние не видят этого и напирают на них. Потом вдруг между взводами образуются слишком большие расстояния. Тогда заднему взводу приходится догонять передний, и люди бегут тяжело, с усилиями, громяхая на бегу баклагами, лопатами и патронными сумками, бегут, ничего не различая в темноте, наугад, до тех пор, пока не навалятся на передних. Отделения давно уже перемешались, но никому не приходит в голову восстановить порядок. Все сильнее и сильнее сказываются утомление, тревога, скука и насильственная бессонница. Люди молчат, но в этом молчании чувствуется нервная напряженность. Слышно только, как множество сапог месит грязь, влезая в нее и вылезая с жирным чавканьем, сопеньем и чмоканьем. И Яхонтов думается, что, должно быть, точно таким же образом пятьсот, и тысячу, и пять тысяч лет тому назад водили по ночам своих пленников суровые и равнодушные победители. Вероятно, так же угрюмо и тревожно молчали усталые люди, так же беспорядочно и озлобленно надвигались они друг на друга при остановках, так же чмокала под их ногами размякшая земля и так же падал на них частый осенний дождь.

— Эх, братики, покурить бы теперь! — вырывается со вздохом у «дядьки» Веденяпина.

— Я тебе покурю, каналья! — неожиданно отвечает откуда-то из темноты суровый бас фельдфебеля. — Ты у меня покуришь, прохвост!

Ровная до сих пор дорога начинает опускаться. Яхонтов замечает это потому, что его ноги теряют устойчивость и скользят вперед, так что поневоле приходится выворачивать ступню боком. Потянуло острой и холодной сыростью, точно из глубокого подвала, и тотчас же под

ногами заходил и задрожал деревянный мост. Где-то внизу, в черной воде без берегов, отразился на мгновение длинным волнистым хвостом свет фонаря.

— Подпоручик Яхонтов, это вы? — слышит Яхонтов над собой голос ротного командира. — Не хотите ли сесть на лошадь, а я покамест пешком пройдуся. Что-то ноги затекли.

Яхонтову кажется подозрительной эта внезапная любезность, но он охотно соглашается. Когда он опускается в седло, то внутри лошади что-то глубоко и глухо крикает. Потом «Настасья» медленно вздыхает, широко разводя боками, точно и ей сообщилось тоскливое беспокойство, нависшее над людьми. Яхонтов трогает ее каблуками, и она начинает осторожно перебирать ногами, вытаскивая их из вязкой глины с такими звуками, какие бывают, когда откупоривают бутылки.

Вдалеке, на самом краю темного горизонта, вдруг показывается маленький огонек, который все разрастается по мере того, как рота подвигается вперед. Наконец можно ясно разобрать, что это — большой двухэтажный дом. Весь низ его освещен изнутри очень ясно, по-праздничному, а в верхнем этаже светятся, — но гораздо бледнее, — только два крайних левых окна. Яхонтов глядит на эти светлые, веселые пятна и думает о тепле, свете и довольстве, которое испытывают живущие в этом доме люди. Воображается ему большая и дружная помещичья семья, сытая, веселая жизнь, танцы, смех, общество нарядных и красивых женщин. И его собственная жизнь кажется ему в эти минуты такой же тяжелой, скучной и однообразной, как эта дождливая ночь, как эта бесконечная незнакомая дорога.

Впереди опять останавливаются. Слышно, что в рядах шестой роты происходит какая-то странная возня. Несколько голосов говорят быстро, громко и разом. Слов нельзя разобрать, но заметно, что кто-то бранится и кто-то оправдывается. Яхонтов продвигается вперед и по отблеску фонаря, скользнувшему по офицерским погонам, узнает Тумковского.

— Что там такое, Иван Мартиньянович? — спрашивает он, наклоняясь с лошади.

— А, дуся моя, это вы? — говорит сладко, как всегда, Тумковский, и по звуку его голоса видно, что он поднял

голову вверх.— Не знаю, золото мое! Какой-то олух на штык напоролся. Да вот его тащат в линейку.

Фонарь на секунду освещает двух солдат, ведущих подмышки третьего, который отрывисто, точно с натугой, стонет и держится руками за лицо.

— В глаз, что ли? — вяло спрашивает Скибин.— Чего же ты молчишь, дурак?

Трое солдат останавливаются.

— Слышишь, тебя спрашивают, в глаз, что ли? — громко, как к глухому, обращается к раненому один из провожатых.

— Так что... не могу знать,— тусклым, надсаженным голосом с запинками отвечает тот и отнимает ладони от лица.— Дуже больно, ваше благородие, не можно вытерпеть...

— Чего же ты лез на штык, идиот? — так же вяло замечает Скибин.— Сам и виноват, дурень. Ну, проходи, проходи!

И он прибавляет поучительным тоном, обращаясь к Тумковскому:

— Вот теперь из-за такого ротозея влетит ротному командиру. А чем, спрашивается, ротный виноват?.. Порядки!..

Яхонтов низко нагибается к раненому и вглядывается в его лицо. В темноте нельзя даже разобрать отдельных черт, но молодому офицеру кажется, что у солдата вместо правого глаза — огромное, с кулак величиною, черное отверстие. И, вместе с чувством брезгливой жалости, Яхонтов ощущает у себя в пальцах ног и внизу живота какую-то противную, щекочущую и раздражающую боль.

Солдата уводят, и опять возобновляется тягостное, молчаливое движение. Из всей роты эмергию сохранил только один фельдфебель. Время от времени Яхонтов слышит, как он пробирает в середине роты задремавшего солдатика:

— Заснул? Деревню бачил во сне? Может, подушку тебе принести?

И затем приговаривает шипящим голосом сквозь стиснутые зубы:

— А вот не спи, не спи, не спи, не спи!

Между тем Яхонтов уже давно начинает испытывать странное и чрезвычайно неприятное ощущение, Ему все

кажется, что лошадь не идет под ним, а только качает взад и вперед спиной и топчется ногами на одном и том же месте. Напрасно он старается уверить себя в ложности этого удивительного ощущения, наклоняясь вниз и напрягая зрение, чтобы увидеть дорогу,— лошадь продолжает раскачиваться и вытаскивать ноги из грязи, не сходя с места и не делая ни одного шага вперед.

— Чорт! Да мы идем или стоим? — воскликнул Яхонтов и вдруг сам похолодел от своего испуганного голоса.

Из рядов кто-то ответил ему коротко и угрюмо:

— Ползем!

В этом грубом, совсем несолдатском ответе Яхонтову послышалось что-то новое и зловещее, какая-то покорная и безнадежная усталость, какой-то общий упадок духа, который точно окончательно уничтожил всякую разницу между солдатом и офицером. И Яхонтов, вместо того чтобы сделать выговор, только растерянно обернулся в ту сторону, откуда послышался этот ответ.

А лошадь все так же бесцельно качала спиной и тыкала в одно место ногами. Яхонтову стало жутко. Это ощущение так походило на один из нелепых, изнуряющих лихорадочных снов, в которых торопишься куда-нибудь и с отчаянием чувствуешь, что не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой. И едва только Яхонтову пришло в голову это сравнение, как все вдруг стало похожим на сон. Весь этот ночной переход и безмолвно покорные солдаты, и уходящая далеко-далеко цепь фонарей, и давешний раненый солдат, и вялая озлобленность Скибина, и тоскливая дорога с ее тьмой, сыростью и холодом,— все это представилось ему каким-то грозным, давно забытым бредом, который повторяется теперь с прежней силой и прежним ужасом.

— Ах, ведь все это было, было...— прошетал Яхонтов.— Господи, что же это такое!

Он слез с лошади, отдал ее горнисту и, перегоня солдат, прошел на правый фланг. Там, в промежутке между ротами, где было светлее от фонаря и просторнее, шли рядом, разговаривая вполголоса, Скибин и Тумковский.

— Я отдал лошадь горнисту,— сказал Яхонтов.

— Отлично,— бросил ему рассеянно Скибин.— А я вам скажу, поручик,— повернулся он торопливо к Тумковскому,— что эти маневры — один только разврат и

антимония. Может быть, для генерального штаба оно и нужно, а солдаты только распускаются и теряют выправку. Да и для офицеров лишнее. Какой к чорту это неприятель, когда вы отлично видите, что это поручик Сидоров, у которого вы вчера заняли три рубля? Вы командуете: «Прямо, по колонне, пальба взводом», а вам решительно наплевать, как солдаты целются, и укрыты ли они от огня, и все такое...

— Совершенно верно, дорогой Василий Васильевич, — согласился Тумковский. — А я вот читал где-то или, кажется, слышал, что один генерал предложил раздавать во время маневров в числе холостых патронов какой-то там процент боевых. Что-то такое, один на десять тысяч, не помню хорошенько...

— Ах, глупости! — досадливо протянул Скибин. — Никакие тут патроны не нужны. Какие тут к чорту патроны, когда теперь солдаты вроде институток стали: пальцем его тронуть не смей. А по-моему, бить их, подлецов, нужно, вот что нужно! Прежде у нас и Суворовы были, и Севастополь, а почему? Потому что десятерых засекали, а из одиннадцатого делали солдата. Прежде, батенька, солдат пять лет служил, а все еще молодым солдатом считался. Вот это была служба-с!.. А теперь... Эх!

— Теперь прямо — пансион благородных девиц, — услужливо подхватил Тумковский, — гуманисты какие-то пошли, либералы. Попробовали бы эти либералы с нашими скотами повозиться, небось у самих руки бы опухли от битья. А то, извольте ли видеть: ударишь какую-нибудь сволочь, да и ударишь-то не больно, почти в шутку, а он сейчас: «Ох!» — «Что такое?» — «Ничего не слышу на правое ухо...» И сейчас тебя под суд. За истязание нижнего чина, имевшее последствием и так далее. А он, мерзавец, лучше нашего слышит.

— Потому что дураки! — возразил презрительно Скибин. — Кто же так делает, при свидетелях? Нет, ты его сначала позови в цейхгауз или к себе на квартиру, да там и поговори как следует. Поверьте, потом сам всю жизнь благодарить будет, что под суд не отдали. Суд-то его куда законопатит, а ты начистил ему морду, и все тут. А что ему морда?..

Они еще долго тянут этот разговор, точно стараясь не уступить друг другу в равнодушной жестокости к сол-

дату, в презрительном отношении к своему делу, в пренебрежительной насмешке над высшим начальством. В этих пошлых, холодных и злых фразах Яхонтову опять слышится что-то похожее на тот страшный бред, который он испытал несколько минут тому назад, и на душе у него делается пусто и противно до тошноты. Тем же тусклым, утомительным, давно-давно знакомым бредом представляется ему и вся его военная карьера, и безрадостное детство, прошедшее в больших казенных домах, и ждущая впереди серенькая жизнь, и его собственные, теперешние мысли — такие бледные, бессильные и тоскливые.

А рота все идет и идет по грязной почтовой дороге, и кажется, что никогда не будет конца этому движению, что какая-то чудовищная сила овладела тысячами взрослых, здоровых людей, оторвала их от родных углов, от привычного, любимого дела и гонит — бог весть куда и зачем — среди этой ненастной ночи...

Недалеко до рассвета. Понемногу вырисовываются из темноты серые, измятые, глянцевиые от тумана и от бессонницы солдатские лица. Все они похожи одно на другое и выглядят еще суровее и покорнее в слабом и неверном утреннем полусвете.

.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сочинения в трех томах печатаются по текстам Полного собрания сочинений А. И. Куприна в издании А. Ф. Маркса (1912—1915), с исправлением опечаток по первопечатным и последующим изданиям. Произведения, не вошедшие в это издание, печатаются по тексту собрания сочинений А. И. Куприна в издании «Московского книгоиздательства» (1908—1917), а также по прижизненным сборникам и газетно-журнальным публикациям.

Ссылки на архивы и печатные источники, материалы которых использованы в тексте примечаний, даны сокращенно: *АГ* — Архив А. М. Горького; *ИРЛИ* — Институт русской литературы (Пушкинский дом); *ЛБ* — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина; *ЦГЛА* — Центральный государственный литературный архив; *ЧПС* — А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, Гослитиздат, 1944—1951.

ДОЗНАНИЕ

Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1894, № 8, август, под названием «Из отдаленного прошлого».

Окончив Третье Александровское военное училище, Куприн с 16 сентября 1890 по 1894 год служил в 46-м пехотном Днепровском полку, расквартированном в городе Проскурове Подольской губернии, в местечках Гусятин, Волочиск и других. Впечатления армейской жизни использованы им в нескольких рассказах, из которых первым было «Дознание», и в повести «Поединок».

Написан рассказ в 1893 году, первоначальное название его — «Экзекуция». Отправив рукопись редактору журнала «Русское богатство» Н. К. Михайловскому, Куприн 2 января 1894 года в письме

из Волочинска просил его сообщить свое мнение о ней (ИРЛИ). В ответе Михайловского (письмо не сохранилось), говорилось, очевидно, о цензурных осложнениях, которые может вызвать рассказ. В январе 1894 года Куприн снова писал Михайловскому: «Если бы была, уважаемый Николай Константинович, какая-нибудь возможность напечатать мою «Экзекуцию», смягчив несколько тон или смысл, то это доставило бы мне много приятного. Понятное дело, если только это не будет сопряжено ни с каким риском для журнала, чего бы я во всяком случае не хотел» (ИРЛИ). Михайловский сообщил Куприну, что рассказ «Экзекуция», озаглавленный «Из прошлого», пойдет в августовской книжке. В журнале он появился под еще более смягчающим названием: «Из отдаленного прошлого».

Под названием «Дознание» рассказ вошел в первый том произведений Куприна, вышедший в издательстве «Знание» в 1903 году.

В 1906 году издательство «Знание» выпустило его отдельной книжкой в массовой «Дешевой библиотеке».

КУСТ СИРЕНИ

Впервые напечатано в газете «Жизнь и искусство», Киев, 1894, № 305, 17 октября.

НЕГЛАСНАЯ РЕВИЗИЯ

Впервые напечатано в газете «Жизнь и искусство», 1894, № 315, 27 октября; № 316, 28 октября; № 319, 31 октября, с подзаголовком «Эскиз».

Написав рассказ в 1894 году, Куприн послал его в журнал «Русское богатство» вместе с рассказом «Лидочка». В письме из Киева к секретарю редакции А. И. Иванчину-Писареву он просил узнать у Н. К. Михайловского о судьбе этих произведений: «Нужны ли они ему будут или нет» (ИРЛИ). Ответ редакции в переписке не сохранился. В «Русском богатстве» был напечатан только рассказ «Лидочка».

К СЛАВЕ

Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1894, № 12, декабрь, под названием «Лидочка», с подзаголовком «Рассказ бывшего человека».

В собрании сочинений А. И. Куприна в издании А. Ф. Маркса рассказ напечатан под названием «К славе».

Стр. 37 ...*свои Монтекки и Капулетти* — два враждующих между собою рода из пьесы В. Шекспира (1564—1616) «Ромео и Джульетта».

Стр. 64 ...*в российские Кины*. — Эдмунд Кин (1787—1833) — английский актер, создавший образы героев шекспировских трагедий (Гамлета, Отелло и других). Изображен в пьесе А. Дюма-старшего «Кин, или гений и беспутство» (1835).

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Впервые напечатано в газете «Киевское слово», 1895, № 2733, 22 августа и № 2736, 25 августа, под названием «В окно».

В собраниях сочинений А. И. Куприна, изданных «Московским книгоиздательством» и А. Ф. Марксом, рассказ напечатан под названием «Без заглавия» и в новой редакции. Отбросив сентиментальную концовку первого варианта (жалость к учителю, которого бросила жена, и вернулась только на следующий год, его переживания в разлуке с нею и т. д.), Куприн заново написал конец рассказа, начиная со слов «вдруг остановилась» (см. 78 стр. наст. тома).

НОЧЛЕГ

Впервые напечатано в газете «Киевское слово», 1895, № 2764, 22 сентября и № 2765, 23 сентября, с подзаголовком «Очерк».

МИЛЛИОНЕР

Впервые напечатано в газете «Волинь», Житомир, 1895, № 181, 26 сентября и № 182, 28 сентября.

ПИРАТКА

Впервые напечатано в газете «Волинь», 1895, № 201, 20 октября и № 202, 21 октября.

ПОЛУБОГ

Впервые напечатано в газете «Киевлянин», 1896, № 120, 1 мая; № 122, 3 мая и № 125, 6 мая, под заглавием «Пережитая слава».

В собрании сочинений А. И. Куприна, изданном А. Ф. Марксом, рассказ напечатан с авторскими исправлениями и под заглавием «Полубог».

Стр. 119. ...*Кто видел в «Гамлете» Мочалова.*— П. С. Мочалов (1800—1848) — знаменитый русский актер.

СОВАЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Впервые напечатано в газете «Волянь», 1896, № 192, 1 сентября.

КЛЯЧА

Впервые напечатано в газете «Киевское слово», 1896, № 3161, 29 октября, за подписью «Алеко».

В декабре 1909 года Куприн писал Ф. Д. Батюшкову (*ИРЛИ*), что хочет «совершенно переработать» рассказ и дать ему другое название. Однако в Полном собрании сочинений А. И. Куприна, изданном А. Ф. Марксом, перепечатан газетный текст рассказа с небольшими стилистическими исправлениями.

МОЛОХ

Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1896, № 12, декабрь, с подзаголовком «Повесть».

В 1896 году Куприн в качестве корреспондента киевских газет побывал в Донецком бассейне, посетил заводы Русско-Бельгийской акционерной компании и несколько месяцев проработал «заведующим учетом кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве» (Автобиография, «Огонек», 1913, № 20). По донбасским материалам были написаны очерки: «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод» («Киевлянин», 1896, май, сентябрь), а также повесть «Молох».

Повесть «Молох» Куприн закончил осенью 1896 года.

Боязнь цензурных осложнений и требования редакции журнала заставили писателя сильно смягчить первый вариант повести. Сохранились два недатированных письма Куприна к Н. К. Михайловскому, свидетельствующих об этом. В первом — в ответ на несо-

хранившееся письмо редакции, он писал Михайловскому: «У меня есть черновая «Молоха», и я по ней могу переделать одиннадцатую главу (так что рукопись может остаться в редакции). Если же Вы находите, что надо переделать кое-что и в середине, тогда будьте добры — пришлите рукопись. Но я думаю, это не необходимо. Я сделаю так (об этом я и раньше думал): слова десятника, кончающие десятую главу, — о буйте, вспыхнувшем на заводе, — я оставлю. Затем предоставив Боброва своим размышлениям, я подведу его к паровым котлам. Здесь «Молох» у него отождествляется с Квашниным... Заключительные строки я оставляю те же, что и раньше, только доктор, который произнесет слово «Молох», будет совершенно здоров. О буйте ни слова. Он будет только чувствоваться. Хорошо ли это?.. Я не знаю; может быть, Вы находите взрыв котла (умышленный) мелодраматическим эффектом? Но мне рассказывали о совершенно аналогичном случае» (ИРЛИ).

Написав новый вариант последней главы, в другом письме Куприн сообщал Михайловскому: «Я ее сильно переделал согласно Вашим указаниям. Теперь покорно и убедительно прошу Вас: если что-нибудь введет Вас в смущение в цензурном или ином отношении, пройдитесь по ней Вашим пером» (ИРЛИ).

В 1902 году, готовя для издательства «Знание» первый том рассказов, Куприн не только стилистически правил «Молох», но и сделал в нем существенные дополнения, ввел в девятую главу абзац, в котором дал более резкую характеристику Квашнину (разговор с Шелковниковым, «нужно уметь объясняться с этим народом», стр. 197), в десятой главе определенно указал на беспорядки на заводе, — тогда как в журнальном тексте Квашнин прерывал пикник всего лишь сообщением о том, что на заводе «несчастье» (стр. 211). Для «Знания» дополнена и одиннадцатая глава, начиная со слов «Красное зарево» до конца абзаца (стр. 215). Введенный отрывок значительно усилил сцену пожара. В Полном собрании сочинений А. И. Куприна, изданном А. Ф. Марксом, эта глава была дополнена еще фразой кучера Митрофана, подчеркивающей, что пожар не случаен: «Барин! Подожгли!» (стр. 215).

ПЕРВЕНЕЦ

Впервые напечатано в иллюстрированном приложении к газете «Жизнь и искусство», 1897, № 5, март, за подписью А. К.

Рассказ автобиографичен. Куприн впервые выступил в печати с рассказом «Последний дебют», когда учился на втором курсе Александровского военного училища. Опубликование рассказа («Рус-

ский сатирический листок», 1889, № 48, 3 декабря) повлекло за собою арест, так как юнкера не имели права печатать свои произведения без разрешения начальства.

П РА П О Р Ш И К А Р М Е Й С К И Й

Впервые напечатано в газете «Жизнь и искусство», 1897, №№ 113, 116, 121, 123, 126, 127, 128, апрель—май, под названием «Кэт».

Под названием «Барышня» повесть была напечатана в журнале «Север» (1906, №№ 1—7).

В четвертом томе собрания сочинений А. И. Куприна, вышедшем в «Московском книгоиздательстве» в 1908 году, она напечатана в новой редакции. В текст повести введена песня «Юный прапорщик армейский», давшая произведению новое название «Прапорщик армейский».

Стр. 233. *...похож на того Фальстафа...*— Фальстаф, ловкий предпримчивый плут,— персонаж из пьес В. Шекспира «Король Генрих IV» и «Виндзорские кумушки».

Стр. 241. «Разведчик» — военный и литературный журнал, выходивший в Петербурге в конце XIX века.

Стр. 245. *...как говорит Прево* — французский писатель А. Ф. Прево (1697—1763), автор романа «Манон Леско»

Стр. 250. «Московские ведомости» — газета реакционного направления, издавалась с 1756 по 1917 год.

Д Е Т С К И Й С А Д

Впервые напечатано в газете «Волынь», 1897, № 147, 24 августа, за подписью А. К.

A L L E Z I

Впервые напечатано в газете «Волынь», 1897, № 173, 28 сентября.

В том же году рассказ был перепечатан в сборнике Куприна «Миниатюры», вышедшем в Киеве. Первая редакция «Allez!» подверглась большой авторской переработке при подготовке первого тома рассказов Куприна для «Знания». В Архиве А. М. Горького сохранились страницы из сборника «Миниатюры» с исправлениями Куприна. Перерабатывая рассказ, Куприн предполагал дать ему и новое заглавие. Вместо «Allez!» он написал и зачеркнул «Мишура», перечеркнул и два других варианта названия рассказа: «В цирке», «Гимнастка». Оригинал для первого тома был послан К. П. Пятниц-

кому под названием «Акробатка». В письме от 23 ноября 1902 года Куприн писал Пятницкому, что в тексте рассказа слово «Allez!» он «заменял словом «Вперед», что равнозначаше и, кажется, кое-где употребляется на манежах». «Но заглавие,— продолжал он,— никак не могу придумать. Остановился на заглавии «Акробатка». Может быть, лучше «Акробаты»? Не возьмет ли на себя труд Алексей Максимович дать заглавие? Но во всяком случае не «Вперед». Впрочем, я ведь и не стою особенно сильно за этот рассказ. Если есть хоть какое-нибудь показание к тому, что он будет минусом в сборнике, можно его и не включать в сборник» (АГ).

В первый том, вышедший в издательстве «Знание», рассказ не вошел. В 1905 году он появился в «Нижегородском сборнике», изданном «Знанием», в первой редакции, под заглавием «Вперед», причем слово «Allez» было заменено также и в тексте. Рассказ был включен в третий том сочинений Куприна, выпущенный издательством «Мир божий» в 1906 году. Для этого тома, не имея исправленного текста «Allez!», оставшегося у Пятницкого, Куприн заново исправлял первый вариант рассказа, напечатанный в «Миниатюрах», но в меньшей степени. Он отказался от замены слова «Allez!» в тексте словом «Вперед», как не характерным для цирка, и оставил прежнее заглавие рассказа. Этот текст и был напечатан в издании А. Ф. Маркса.

Об «Allez!» сохранилось высказывание Л. Н. Толстого: «Allez» прелестный рассказ... Как все у него (Куприна.— *Ред.*) сжато. И прекрасно. И как он не забывает, что и мостовая блестела и все подробности... Интересно было бы знать, какое первое «allez!» дало ему тему... У него настоящий, прекрасный, настоящий талант». (Запись П. А. Сергеенко от 28 декабря 1906 года, «Литературное наследство», 1939, № 37—38, стр. 563).

БРЕГЕТ

Впервые напечатано в газете «Волянь», 1897, № 178, 5 октября.

Стр. 281.*истрепанный том «Северной пчелы».*— «Северная пчела» — реакционная газета, издавалась в Петербурге с 1825 по 1864 год.

ПУТАНИЦА

Впервые напечатано в газете «Жизнь и искусство», 1897, № 356, 25 декабря, под заголовком «Недоразумение», за подписью А. К-рин.

На эту же тему Куприн написал новый рассказ «Ошибка» для газеты «Одесские новости» (1900, № 5155, 13 декабря). В собрание

сочинений А. И. Куприна «Московского книгоиздательства» и А. Ф. Маркса вошел первый вариант рассказа с большими исправлениями и под новым названием — «Путаница». В новой редакции переработан абзац: «Это случилось 24 декабря» (добавлено о ссоре с директором, 291 стр.), а также сделано добавление в конце рассказа от слов «он сказал даже больше», кончая «Я думаю, он сделал это из мести» (стр. 297).

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Впервые напечатано в газете «Киевское слово», 1897, № 3578, 25 декабря, с подзаголовком «Истинное происшествие», за подписью А. К.

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1898, № 9, сентябрь, под названием «В лесной глуши», с подзаголовком: «I. Довиток».

Журнальный текст «Лесной глуши» сопровождался следующими примечаниями автора, объясняющими непонятные полесские слова:

<i>пыка</i> — лицо, в том же смысле,	<i>жменями</i> — горстями;
как на севере говорят	<i>жартовал</i> — шутил;
«рожа» или «морда»;	<i>частуют</i> — угощают;
<i>суша</i> — засуха;	<i>затрусился</i> — задрожал;
<i>ривчака</i> — ручейка;	<i>злякался</i> — испугался;
<i>став</i> — пруд;	<i>захолол</i> — похолодел;
<i>трапляется</i> — случается;	<i>коло</i> — около;
<i>окоче</i> — когда;	<i>мара</i> — тень, привидение;
<i>хустка</i> — платок;	<i>ледве</i> — едва;
<i>шворный</i> — проворный;	<i>спидница</i> — юбка;
<i>опушный</i> — последний;	<i>камизелька</i> — кофта;
<i>каже</i> — говорит;	<i>за комир</i> — за шиворот.

О ЛЕСЯ

Впервые напечатано в газете «Киевлянин», 1898, №№ 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 318, 30 октября — 17 ноября, с подзаголовком «Из воспоминаний о Воляни, повесть А. И. Куприна».

Повесть была закончена в 1898 году и отослана в «Русское богатство». В письме к секретарю редакции Ал. Иваичину-Писареву Куприн просил выслать в Киев гонорар за рассказ «Лесная глушь» и «кстати уведомить... пойдет ли «Олеся» (письмо без даты, *ИРЛИ*). Судя по подзаголовку к рассказу «Лесная глушь»: «I. Досвиток», «Олеся» должна была появиться в журнале вторым произведением цикла, написанного по волынским впечатлениям. Ответ на запрос Куприна о судьбе повести в переписке не сохранился. «Олеся» в «Русском богатстве» не была напечатана.

Вскоре после запроса Куприн передал ее в газету «Киевлянин», где повесть появилась со следующим вступлением:

«Целыми днями мы бродили по болотам, увязая по пояс в тине, то перепрыгивая с кочки на кочку, то пробираясь сквозь густую чашу аира и лозняка. «Господа, да идемте же домой,— говорил время от времени кто-нибудь из нас.— Ведь нельзя же, ей-богу, до ночи в болоте торчать». Мы соглашались уже с этим голосом благоразумия, но тут, как на зло, чья-нибудь собака нападала на след бекаса или подымался невдалеке целый утиный выводок... И опять нами овладевал неугасимый охотничий пыл.

В усадьбу мы возвращались обыкновенно после солнечного заката, едва держась на ногах от усталости, той хорошей, веселой усталости, которую дает только целый день, проведенный на охоте, нагуленный аппетит и ощущение полного ягдташа, оттягивающего плечо. Часто нас довозил до дому попутный мазур, возвращавшийся порожняком со своей пашни. Собаки наши еле тянулись за волами, свесив набок длинные розовые языки и останавливаясь около каждой лужи, чтобы торопливо лакнуть несколько капель грязной воды.

Зато какое наслаждение было, надев сухое белье и заменив болотные сапоги теплыми мягкими валенками, сидеть после обеда в ярко освещенной столовой перед рюмкой домашней наливки, крепкой и густой, как самый лучший ликер. Какую прелесть получали тогда все мелочные события этого дня! Их повторяли бесконечно, и все-таки каждый раз они вызывали снова: и веселый смех, и удивление, и досаду... У одного ружье затянуло: щелкнул сначала только пистон, а потом вдруг — бах! и весь заряд полетел в небо... Другой великолепнейшим дуплетом убил пару уток. Третий... впрочем, кому же из охотников не знакомы эти волнующие, всегда немного неправдоподобные воспоминания?..

В один из таких вечеров наш милейший хозяин, Иван Тимофеевич Порошин, лежа, по своему обыкновению, на широком турецком

диване, рассказал нам несколько довольно любопытных местных преданий. Польщенный нашим вниманием, он в конце концов признался, что у него самого «произошел в жизни не совсем обыкновенный эпизод, в котором главную роль играла настоящая полесская колдунья».

— Боюсь я, что вы меня, старика, насмех поднимете,— добродушно прибавил Иван Тимофеевич,— а то бы я вам прочитал эту историю. Если уж говорить откровенно, то ведь и я когда-то пописывал... Вот и этот случай записал... Вышло что-то вроде маленькой повестушки, так, страничек в пятьдесят... Думал я сначала обработать ее, да, так, как-то она завалилась. Только вот что, господа... (он поглядел на нас поверх очков с доброю нерешительной улыбкой). Я должен раньше сказать маленькое и довольно шекотливого свойства предисловие. Дело в том, что я вовсе не хочу поступать подобно тому автору, который, затащив приятеля прослушать... «маленький рассказец» и угостив его предварительно стаканом жидкого чая, устранивает ему самую коварную ловушку. Он припирает злополучного приятеля, для большей верности, в угол тяжелым письменным столом и затем без отдыха, без пощады, залпом прочитывает ему «рассказец», этак... в пятнадцать печатных листов. Поэтому, господа, убедительно прошу, если кого из вас устрашает перспектива полуторачасового чтения, то идите без стеснения в мой кабинет. Вам туда перенесут ваши стаканы. И, уверяю вас, я ни капельки на это не обижусь: у меня никогда не было жилки авторского самолюбия.

Но никто после этого предисловия не тронулся с места, наоборот, все мы единодушно заинтересовались «повестушкой».

Иван Тимофеевич долго рылся в письменном столе и, наконец, вытащил тоненькую тетрадку, в обыкновенную четвертушку формата, с пожелтевшими страницами и выцветшими чернилами.

Вот что он прочел».

В тексте газеты «Киевлянин» были даны авторские примечания:

грубка — печка;

веселье — свадьба;

вышницы — ворота при въезде в деревню;

закрутки — по народному суевию, для того чтобы причинить кому-нибудь зло, надо только сделать у него в хлебе закрутку, то есть известным образом закрутить несколько колосьев;

зоря — зоря, зирька — звезда;

Стр. 386. *Оберона и Титании* — персонажи из оперы «Оберон» немецкого композитора К. Вебера (1786—1826).

НОЧНАЯ СМЕНА

Впервые напечатано в журнале «Мир божий», 1899, № 2, февраль, с подзаголовком «Очерк».

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Впервые напечатано в газете «Приазовский край» (Ростов-на-Дону), 1899, № 309, 25 ноября, под названием «В недрах земных».

ПОГИВШАЯ СИЛА

Впервые напечатано в газете «Донская речь» (Новочеркасск), 1900, № 41, 13 февраля и № 42, 14 февраля.

НА ПЕРЕЛОМЕ

(Кадеты)

Впервые напечатано в газете «Жизнь и искусство», 1900, №№ 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 74, февраль — март, под заглавием «На первых порах», с подзаголовком «Очерки военно-гимназического быта» и с авторским примечанием: «Вся гимназия делилась на три возраста: «младший—I—II классы, средний—III, IV, V и старший—VI—VII».

Очерки охватывают период учения Куприна в «младшем возрасте». На автобиографичность их указывал Куприн в беседе с сотрудником газеты «Комсомольская правда»: «В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести — Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...» («Москва родная» — «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября).

В 1906 году очерки перепечатывались, со стилистическими исправлениями, под названием «Кадеты» и с подзаголовком «повесть» в журнале «Нива» (№№ 49—52). Подготавливая пятый том

собрания сочинений для «Московского книгоиздательства», Куприн еще раз редактирует повесть, дополняет пятую главу (пять последних абзацев — о «силачах»), добавляет к ранее публиковавшимся шести главам — седьмую, дает новое заглавие — «На переломе (Кадеты)», под которым повесть позднее вошла и в собрание сочинений, изданное А. Ф. Марксом.

Стр. 498. ...*томами Брема* — А. Е. Брем (1829—1884) — немецкий зоолог, автор книги «Жизнь животных».

ТА П Е Р

Впервые напечатано в газете — «Одесские новости», 1900, № 5167, 25 декабря.

П О Х О Д

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 7, июль, под заглавием «В походе».

СОДЕРЖАНИЕ

А. И. Куприн.	<i>Критико-биографический очерк</i>	III
Дознание		1
<u>Куст сирени</u>		15
Негласная ревизия		21
К славе		37
Без заглавия		69
Ночлег		80
Миллионер		94
Пиратка		103
3 Полубог		112
Собачье счастье		128
Кляча		137
2 <u>Молох</u>		142
Первенец		221
Прапорщик армейский		226
Детский сад		269
4 <u>Allez!</u>		275
Берег		281
Путаница		289
<u>Чудесный доктор</u>		299
Лесная глушь		308
7 <u>Олеся</u>		335
<u>Ночная смена</u>		410
В недрах земли		434
Погибшая сила		447
На переломе. (Кадеты)		462
<u>Тапер</u>		531
Поход		544
Примечания		555

Редактор *В. Титова*
Художник *Н. Мухин*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *В. Знаменская*

*

Подписано к печати с матриц 27/IX 1934 г. А-05984.
Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 38 печ. л. = 31,16 усл. печ. л.
31 уч.-издат. л. + 1 вкл. = 31,05 л. Тираж 150 000 экз.
Заказ № 1661. Цена 10 р. 90 к.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности.

С готовых матриц первой Образцовой типографии
им. А. А. Жданова отпечатано во 2-й типографии
„Печатный Двор“ им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.



